

В 2(55) С ВРАТА СИБИРИ



ВРАТА СИБИРИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ВЫХОДИТ С ДЕКАБРЯ 1999 года
два раза в год

учредитель
и издатель:
АНО

«Тюменская область сегодня»

Редактор, автор проекта
ИВАНОВ Л.К.

РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ:

№ 2 (55)

БЕЛКИН С.В.
ГАРДУБЕЙ М.М.
ЕГОРОВ С.И.
ЕФРЕМОВА Л.Г.
КОЗЛОВ С.С.
СТРОГАЛЬЩИКОВ В.Л.
ФЕДОСЕЕНКОВ М.А.
ШЕСТАКОВ С.А.
ШИРМАНОВ И.А.
ЯРКОВ А.П.



Тюмень
2020

Содержание

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей БЕЛКИН Исповедь.....	3-8
Анатолий КОНДАУРОВ Гений	9-12
Михаил ФЕДОСЕЕНКОВ То да потому	13-18
Татьяна СТРАХОВА Март	19-20
Анна ПАНКОВА Иоанн	21-29
Владимир ТРЕТЬЯКОВ Откровение.....	30-33

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

Наталья ЛУЧКИНА Порода	34-42
Рамазан ШАЙХУЛОВ Зеркало	43-50
Ольга МИЛОВАНОВА Господи, помилуй!	51-55
Владимир КВАШНИН Портсигар	56-64
Елена КАПИТАНОВА Жизнь	65-68
Александр МАТАЕВ Речной медведь	69-73
Ксения ЯКИМОВА Лунный свет	74-77

ПУБЛИЦИСТИКА

Валерий МУРЗИН Пограничники	78-82
Александр МИЩЕНКО Хозяева земли	126-136

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Светлана РАДАЕВА Я-Кошка, или Ищу друга	83-85
---	-------

КРАЕВЕДЕНИЕ

Евгений БОНДАРЕВ	
Сибирские корни авиаконструктора Туполева	86-95
Аркадий ЗАХАРОВ Воровские фамилии	96-99
Вячеслав СОФРОНОВ Хроника семьи Менделеевых	100-112
Татьяна СОЛОДОВА	
Жизненный круг Александра Гилевича (1922 – 2005)	113-121

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Эдуард АНАШКИН Мелодия лунного света	122-125
--	---------

ДЕСЯТАЯ МУЗА

Наталья СЕЗЕВА Юрий Юдин. Город детства	137-139
---	---------

НАШИ ГОСТИ. ЖУРНАЛ «ТОВОЛ»

Александр ВИНОГРАДОВ В День Победы	141-143
Виктор ПОТАНИН Мои пророки	144-154
Николай КЛИМКИН Поэзия	155-157
Владимир ФИЛИМОНОВ Однокласснику Пете Емельянову ...	158-162
Сергей КОКОРИН Блаженный Юм	163-168
Виктор ВОИНКОВ Поэзия	169-171
Иван ЯГАН Кочерга-Кочергин	172-177
Николай АКСЕНОВ Падение	178-179
Владимир БРОЗИНСКИЙ Поэзия	180-181

ТРИУМВИРАТ

Сергей НИКОЛАЕВ История одной любви	183-190
Владимир МИТЮК Ворона и Лисицын	191-192

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

Январь-ноябрь	193-194
Коротко об авторах	195-199

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей Белкин

Исповедь

По утрам Егор Кузьмич Потапов обычно поил-кормил скотину, чистил в стайках. Иногда ладил чего-нибудь в сарае. После в огороде возился: поливал, полол, окучивал. Летом траву косил, подсохшую кошенину сгребал, в копны складывал. Приходила пора – копал картошку, затаривал в мешки и сетки: среднюю на сдачу, мелкую скотине, крупную в подпол. С весны до осени изо дня в день, случалось, до позднего вечера спины не разгибал. Зимой полегче было – огород и сенокос отпадали. Но дрова опять приходилось заготавливать: дом большой – если не саму печь, то печной камин дважды в сутки надо протопить. Так что и дров не вдруг напасешься. А одного молодого бычка и двух боровков оставлять в каждую зиму уж с давних пор в привычку вошло.

Да все бы ладно, и работа не в тягость – на пенсию недавно вышел (совхозную начислили, не такую копеечную, как колхозникам раньше назначали) – и в достатке всего, и дом добротный, и хозяйство справное. Разве только в этом дело...

В работе забывался. Зато к вечеру, как в дом идти, на душе муторно так делается, тоскливо. А куда больше пойдешь? С людьми Потапов трудно сходился. Да и поздно, думал, новых-то друзей заводить. Старых знакомых в обезлюдевшей в последние годы «неперспективной» деревне почти никого не осталось. Жена Надежда в райцентр переселилась, к сыну. На старости лет все хотела с пользой пожить, внуков понянчить.

Так вот и поправлялся Егор Кузьмич со своим хозяйством в одиночку, отгонял тоску-кручину работой. Сам с собой разговаривать научился, привык вроде к одиночеству, а все же иногда хотелось чего-то. Живого слова, участия, что ли... В такие минуты Егор тешил себя мыслью, что не для себя живет, тоже кому-то нужен еще.

Что правда, то правда – жил он не для себя. Раз в год, осенью, приезжает на казенном «уазике» сын, грузит мешки с картошкой, оставляет неизменные двадцать пять одной бумажкой... А мясо им в райцентр Егор зимой сам на рейсовом автобусе увозит – сначала к ноябрьским праздникам, когда первого кабанчика заколет, потом к Новому году.

На одну только ночь в гостях-то и хватало его. Не приучен был Егор Кузьмич ходить по одной половине, а у них – тут не кури, там не сядь, здесь не задень. Ночует разок в заставленной новой мебелью «городской» квартире – и восвосяи.

Ну а в последнюю свою поездку из-за разгулявшейся падеры пришлось ему у сына подзадержаться. И до того нервы у него в думах об оставленной без надзора домашней животине повымотались, что даже рейсового автобуса не стал дожидаться – до возврата вышедших спозаранку на расчистку трассы двух дорожных бульдозеров выезд несколько раз откладывался. Не вытерпел, пробурчал только провожавшей его Надежде: «Хуже нет ждать да догонять», и не оглядываясь, крупно зашагал от автостанции в сторону пока только наполовину расчищенного Тобольского тракта.

Повезло ему: на попутном грузовом «Урале» доехал до поворота к своей деревне. Егору прежде чем по свертку от тракта домой попасть, надо было миновать большое село Алымку и еще километра три топтать – до своей малой деревни Трошиной. Свертком, видать, совсем недавно прошел совхозный «Кировец» с навесной лопатой, прорезавший в наметенных сугробах узкий коридор, по которому легко шагалось. Вдали утопала в снегу Алымка. На крышах сидели добротные белые шапки, кое-где дымок курился. Все это успокаивающе действовало на Егора Кузьмича.

На время забывшись, он запоздало вздрогнул, когда совсем близко за спиной мощно рыкнул тракторный мотор. Егор метнулся было в сторону, споткнулся и неловко повалился на снежный вал. Огромные колеса резко остановившегося трактора нависли совсем рядом над ним. Егор, поднявшись, отряхивался. Тракторист, выйдя из кабины, ловко спрыгнул на снег:

– Здорово, дядя Егор!

– Но, – только и сказал Потапов, хотя про себя отметил, что парень-то хотя и молодой, а назвал его по имени. Он был местный, алымский, фамилия его вертелась на языке.

– Домой ковыляешь?

– Но, – опять сказал Егор.

– Залазь! Мне так и так до твоей Трошиной чистить!

Подсадив старика в высокую кабину, тракторист втиснулся следом, и «Кировец», рывкнув мощным дизелем, так же резко дернулся с места.

– Дядя Егор, – недолго молчал парень, – а ты чего смурной такой? Слова не скажешь. Не признаешь меня? Федька я, Назаров!

– Зубоскал ты, – буркнул Потапов. Он все еще слегка злился.

В кабине было тепло, стойко пахло соляжкой и еще чем-то вроде разогретого железа. Сквозь полущубок Егор Кузьмич чувствовал жесткий Федькин бок и мало-помалу отходил, осваивался.

– Ты смотри, – сказал, кивая на разрезаемые бульдозерной лопатой забои, – ровно на пароходе едешь!

– Чего? – не сразу понял Федор. – А! Ага. На крейсере! – и хохотнул.

Потапов молча наблюдал за Федором – была в Назарове какая-то располагающая открытость.

Вскоре заехали на сельскую улицу.

– Вон, дядя Егор, здесь я живу, – показал Назаров на высокий дом с голубыми наличниками, залепленными от стены снегом. Под окнами из сугроба ровным пунктиром проступал штакетник.

– Заходи когда в гости, дядя Егор.

– Да не знаю... Че, поди, за гость из меня...

– Заходи-заходи, по пути будет дак! Мы ведь с твоим Васькой вместе в школе учились.

Признание Федора многое прояснило.

В Алымке не останавливались. Оставляя по краям дороги высоченные валы, пробуровили до самой Трошиной.

Возле своих ворот Егор Кузьмич, попрощавшись, как будто уже и нехотя, вылез из трактора на мороз, с тревогой посматривая на затянутые ледяной коркой окна дома. Проваливаясь в глубоком снегу, прошел под навес, заглянул в обе стайки – проверил, все ли в порядке. У бычка еще оставалось немного недоеденного сена, а вот орущая голодная свино-

та была готова и стены раскатать, и полы выворотить. Под навесом Егор вооружился широкой самодельной лопатой, сгреб с крыльца снег и с некоторой тревогой вошел в застуженный дом.

Дома, не раздеваясь, нащепал лучины, стал растапливать печку. Когда огонь в топке загудел, Егор взял ведро, разбил ковшиком ледок в кадке, начерпал воды – надо было первым делом согреть и замешать бадью с комбикормом. Под кухонным столом в домашнем зимнем курятнике загоношились куры – мимоходом сыпнул им несколько горстей зерна. Услышав, как вновь вразнобой застучали клювы, принялся мыть и чистить картошку...

Пока Потапов управлялся с хозяйством, боровков кормил, сена бычку с сеновала сбрасывал, воздух в доме постепенно прогрелся. Стены, обмеленные по углам инеем, потемнели – нижние бревна покрылись мутными бусинками, с подтаявших окон вода побежала на пол. Егор Кузьмич взял кастрюлю и тряпку, стал собирать воду с подоконников.

Окна оттаяли. В комнату проникали серые сумерки. Свет Потапов не включал. В темноте чудилось, будто сидит кто-то в дальнем углу на диване, смотрит на Егора Кузьмича и вот-вот подойдет, присядет рядом.

Но никто не подходил. Егору надоедало держать себя под надзором, и он, стряхивая наваждение, начинал что-то себе под нос мурлыкать. Ужинать не хотелось. Он снял с каминной плиты чугунок с вареной картошкой, поставил на жестяное покрытие перед топкой. Пойти, подумал, прилечь, что ли. Все вроде переделал.

В курятнике опять суматошно закудахтали куры. Егор, присев на корточки, приоткрыл дверцу куриной клетки, нашарил в гнезде теплое яичко. И тут же отдернул руку – кто-то больно долбанул его в палец. Потапов включил свет и заглянул в щель. Куры сидели на шестке плотно, одна к одной. Только петух Петька, поджав ногу, сидел на отшибе и косил глазом на хозяина. Гребень Петькин как-то странно потемнел, распух. Егор Кузьмич заторопился, достал упиравшегося Петьку из клетки и оцупал набрякший гребень. Петуху, видно, было больно – норовил клюнуть хозяйскую руку.

– Вот несчастье-то, вот несчастье, – морщился Егор, пытаясь разогнуть поджатую Петькину лапу. – Ну за что? – неведомо кого вопрошал он. – За что?..

Глаза его повлажнели. Оттого ли, что петух Петька обморозился или другие тому причины были, а только так ему вдруг сделалось тошно... Пошел было лег, на диване покрутился – сон не берет, и совсем что-то невозможного становится.

Встал, открыл буфет, плеснул из початой бутылки в стакан. Выпил, постоял, скривив рот, и стал одеваться. Засунул бутылку с водкой в карман «выходного» темно-синего полупальто с потертым каракулевым воротником (эту лет двадцать служившую ему одежду называли тогда «москвичкой» – очевидно, по наименованию швейной фабрики), и уже собравшись, решил: «В Алымку схожу, к Федору».

Снег под валенками повизгивал. Над некоторыми крышами на темном фоне неба струились ватными столбами прямые дымы, освещенные полной луной. Единственный на всю улицу фонарь возле закрытого на амбарный замок клуба почти не добавлял света: плавно выгнутая дорога, расчищенные от дороги к немногочисленным обитаемым избам тропки,

заснеженные огороды за домами, поля за огородами – все было залито лунным молоком.

Через полчаса бодрой ходьбы Егор Кузьмич стоял уже возле ограды дома Федора Назарова в соседней деревне и обдумывал, как бы попроще да поубедительнее объяснить свой приход – неизвестно, мол, как еще хозяйка отнесется к незваному-то гостю.

«А-а, да ладно, авось не выгонят». Потапов прошел во двор, поднялся на крыльцо и позвякал для порядку щеколдой. Наружная дверь была не заперта. В темных сенях он с трудом нашарил скобу на обитой дерматином внутренней двери и с холодными белыми клубами ввалился в тепло.

Федор словно и не удивился гостю, но и, как показалось Потапову, не особо обрадовался. Хотя и предложил раздеться, пригласил пройти и присесть. Двоих пацанов, которые сидели на полу у печки (оба без штанов, но в валенках, поочередно примеряли самодельные лыжи), хозяин выпроводил в соседнюю комнату.

Егор Кузьмич, уже без «москвички», но также пока не снимая валенок, несмело шагнул к столу и осторожно поинтересовался:

– Где сама-то?

– Кто, Галина? – переспросил с кухни Федор. – А нету ее. В роддом позавчера отвез.

– Но! Да ты че! А давеча-то ни словом, ни полсловом... Как же... – Егор Кузьмич засуетился, скованность как рукой сняло: так-то, без женского надзору, оно лучше, спокойнее. Окончательно осмелев, вернулся к порогу, вытащил из кармана «москвички» бутылку, выставил на середину стола.

– Вот, – сказал, – за здоровье и... это... благополучный исход!

Федор поморщился, хмыкнул неопределенно, прошел снова на кухню. Вынес оттуда электрический самовар, выставил тарелки с закуской, достал из мебельной стенки две граненых стопки, сел напротив. Потапов молча налил по стопке.

– А у меня горе, – сообщил он вдруг. – Петух ознобился.

– Как, в избе, что ли? – без явного интереса отозвался Федор.

– Но, прямо на кухне, в курятнике... – Егор Кузьмич похрустел после первой соленым огурцом. Тут же налил по второй. – Да сам виноват. Думал одним днем обернуться, соседям не наказал избу протопить, а оно вон как вышло – двое суток прогуживал.

– К Ваське ездил?

– Но! К нему, к Василию. Ты знал его?

– Учились же вместе. Как он?

Потапов посопел, усмехнулся криво:

– Живет-то? Ничего... Хорошо живет. Мда... Ничего, хорошо...

Была какая-то недоговоренность в этом его «мда».

– Но! А ты че?! – с неестественным оживлением заговорил он снова. – Невеселый вроде. Давай-ка тяпнем по второй!

Федор, мотнув головой, отставил стакан в сторону:

– Ты уж давай, дядя Егор, один тяпни, лады?

– А-а, ну да, ну да, понимаю – о супруге тревожишься, – Потапов поднял стопку, выпил, снова похрустел закуской. – Сам такой был. Как Надежда Ваську рожала, места себе не находил, думал, помешаюсь... Но как мне-то было об чем беспокоиться: на четвертом десятке Бог наследничка послал – да не убережь!..

Он замялся опять, потом медленно, с какой-то горечью в голосе протянул:

– Уберег с Божьей помощью, уберег...

Опрокинув третью стопку уже без закуски, Егор расслабленно покряхтел, помолчал, а затем, как бы утешая собеседника, бодро заключил:

– А у тебя уж и так двое гавриков! Бог даст – третьим разродится...

– Да при чем тут это, дядя Егор! – неожиданно резко оборвал Назаров. – Что ты завелся: Бог да Бог?!

– Ой, Федор, орешь-то как, – покругил головой Егор Кузьмич, обиженно нахмурившись.

– А что ты... заладил? – Федор постарался сгладить невольно вырвавшуюся резкость. – Галина – это одно... Там все нормально будет. Другое тут...

– Нет, Федя, вот днем ты другой был, это точно. Я к тебе к тому шел, к прежнему... А где он, тот? Нету, а?.. Федор!.. – с надрывом позвал Егор. Захмелел он, раскис.

В комнате за стенкой что-то сбрыкало, покатилося, позвякивая. И стало подозрительно тихо. Назаров поднялся, вышел за перегородку. Какое-то время Потапов сидел один. Собирался с мыслями. Когда появился Федор, Егор протянул навстречу руку:

– Федор! Федька... Я чего пришел-то...

– Будешь тут... дерганым! – словно не слыша старика, Федор уселся на свое место.

– Но? – выжидающе смолк Егор Кузьмич.

– Да на работе тут... Сцепиться пришлось с начальством, – Назаров махнул рукой, откинулся на спинку стула.

– Федька... Я к тебе с открытой душой... – еле слышно прохрипел Егор.

Федор опять не услышал:

– Надумали циркулярку ставить, а толком-то ни черта нету. Лепят на сопли... Сэкономить надо крайне!.. Откопали где-то движок допотопный – видно, что маломощный, а механик с энергетиком одно твердят: потянет и все! А где он потянет? Да ему дай нагрузку...

– Дай нагрузку! – Егор Кузьмич вызывающе глянул в дальний угол комнаты. – Дай нагрузку! – сжав кулак, с еще большим напором потребовал он не то от воображаемого механика, не то от неизвестного глупого энергетика.

– Закусывай, дядя Егор, закусывай... Управляющему сказал, так он и слушать не стал. Найди, говорит, лучше того, что есть. Ладно, говорю, кто потеряет, дак найду, преподнесу вам. Ну и так вот, шире-дале, словом по слову, хреном по столу... Поцапались, короче!

– Федя! – снова начал Егор Кузьмич. – Жизнь моя нелегкая была... Я тебе все как есть поведаю.

– Вообще-то по-глупому все вышло, – продолжал Назаров, не глядя на Потапова. – Надо было спокойно ему выложить. Чтобы замашки свои... Х-эх... С вами, говорит, хрен что построишь. Ему бы, деловому, лишь бы отрапортовать – сделано, мол. А людям потом маяться с этим хламом! Грехи старые, что ли, заставляют его выпячиваться? Он же раньше в Увате работал, шишкой там какой-то на ровном месте. Недолго, правда, задержался, моментом выбрыкал.

– Я так скажу: нет толку – не подымай холку! – отрезал Егор. – Слышь, Федор, слушай сюда. Значит, сошелся я с Надеждой в пятьдесят втором...

– Она у Васьки теперь живет?

– У Васьки, – скороговоркой ответил старик и, болезненно сморщившись, повторил:

– Сошелся я с ней в пятьдесят втором году.

– А сам-то как он? Где теперь работает?

– В хорошем месте. Ага. В хорошем месте... Он и сам хороший! Ох и хороший! Отца родного... йык... Отца-а! Ты, грит, папаня, держался бы при посторонних-то... в этих... в рамках... – Егор Кузьмич попытался встать. – Отца-а родного учить!.. Йык.

– Тихо-тихо, дядя Егор. Сядь, не шебуршись. Посиди, сейчас я. Видал, что делают – на головах пошли, не иначе. Успокоить, пока заборку не снесли.

Федор снова ушел в соседнюю комнату. Потапов посидел, глотнул остывшего чаю – икота не проходила.

– Это че же... йык... такое, – бормотал Егор, глядя мутными глазами в запотевший бок самовара. Встав со стула, с трудом снял с гвоздя свою выдавшую виды «москвичку». Надеть долго не мог, что-то не получалось – рука упорно не хотела попадать в рукав.

– Ты пошел уже, дядя Егор? – рассеянно спросил вернувшийся из соседней комнаты Федор. Потапов молча икал.

– Что ж ты мало посидел, а, дядя Егор?

– Да не по себе пошто-то стало, Федя...

– Проводить тебя или сам дойдешь? – нахлобучивая на старика ушанку, спросил Назаров.

– Дойду, Федор, дойду. Просто заклыкталось че-то... йык... и все. Это че же та... йык... такое делается? Пойду я, Федя, домой пойду. Домой!.. К петуху Петьке... йык... к ему-у, родимому! Только он меня и...

На ночном морозном воздухе Егору Кузьмичу Потапову сделалось полегче.

Анатолий КОНДАУРОВ

Гений

Что за окном? Быть может, ночь?..
Там, за пределами пространства,
 сочилось время и текло.
В пустой бутылке муха тщетно
 долбилась глухо о стекло.
Щекой небритой ощущая
 сиротство сплющенной подушки,
Не ждал он чуда ниоткуда!
 Здесь, в однокомнатной клетушке,
В углах подрамники валялись,
 этюды древнего кремля,
А на мольбертах запыленных
 ссыхалась красок размазня.
Вот – ей оставленный платок
 крылом испуганной жар-птицы
В дверном проеме зацепился...
 А в помутневшей роговице
Зеленый бес волчком крутился...
 Она... Платок на шее тонкой,
Глаза – паленая трава.
 Что он запомнил под хитоном?
И враз взлетела голова!
 Рывок! – от штор одни лохмотья!
И вспышкой – свет!..
 Квадрата холст.
Воспрял душой преображенной!
 Не прост художник наш, не прост!
...Мужским началом разбавляя,
 стекал в палитру горький пот...
Мазок! – и холст ответил дрожью!
 Мазок, еще мазок! И вот –
Взлетала кисть округло, плавно –
 И высветлялась нагота;
То томно, нежно, чуть касаясь, –
 И так рождались глаза...
Под колокольный звон Софии
 Являлась дивная краса
С лицом Марии Магдалины...

Налей, любимая моя,
В бокал игристого вина,
И не грусти, и не жалей,
Что ты одна, совсем одна...
Я стал березою седой –
В ней пульсом бьется горький сок,
Я стал тернистой тропой, –
Всем поперек, всем поперек.
Кривою веткой постучал
В твоё закрытое окно...
Ты – в отражении зеркал
Давным-давно, давным-давно.
Ты стала для меня Землей,
Опавшей до поры листвою.
Ты – как угасший с болью крик,
В морях пропавший материк.
Мы стали именем одним,
Свечой, что тает без огня,
Одним билетом в никуда.
И для тебя, и для меня
За гранью дня, где меркнет свет,
За гранью дня, где много лет
И много дней – так суждено:
Искрится терпкое вино...

Не каждому любить дано.
Пусть в безответьи есть укор
Твоим взлелеянным надеждам.
Судьбе своей наперекор –
Любить безбрежно
Не грешно.
Не каждому любить дано.
Пусть сладострастье нежных грез –
Как дым дешевых папирос;
Без торга – низкая цена!
Пусть лавой вспенятся слова,
В душе – разбитое стекло.
Не каждому любить дано.
И коль разлюбят – ну и что ж?
И прицелованная ложь меня отринет –
Все равно!
Не каждому любить дано.
Войду, распрямясь, в берега,
Где животворная река
Иным приносит вещей дар –
От бога вспыхнувший пожар.
Об этом знают все давно –
Не каждому любить дано!

Сомкнулись кругом
в декабре
Седые дни,
потупив взоры.
На отогретом
вздохами стекле
Мороз фатально
вяжется в узоры.
В них завитки
забытых дней,
Причудность линий
и смещений.
В разводах –
таинство судьбы,
В изгибах –
пагубность сомнений.
Мне мнятся
образы берез,
Стволы,
как смерзшиеся слезы.
Там, в белокружьи
белых роз,
Есть мной
оставленные розы.

Лебеди в выси – белые.
Листья у ног – желтые.
Кто мне ответит, верно ли?
Где мне узнать, не поздно ли?
А осень несет забвение...
В памяти перекошенной,
В кликах неумолкаемых
Стаи, тоской исполненной,
Песня моя заплетена
Тонкой струной,
Да не рвется,
Не расплетается нитями,
С посвистом,
походя, льется.
Может, пройти незамеченным,
Тихо смешаться с листьями?
Может, уйти смиренным,
с птицами раствориться?

Михаил ФЕДОСЕЕНКОВ

То да потому

Рассказ

Усоевы обитали на параллельной от нас, Зарубиных, улице. Их долговязого, неузкого в плечах и действительно усатого деда все в округе звали Усоем. То же прозвище сызмальства приросло и к его внуку.

Женьку я помню еще младенцем. Такой румяный, веселый карапуз, но стоило только подойти к нему близко – он тут же превращался в эдакого сморщенного гримасистого звереныша, изо всех сил пытаюсь тебя щипнуть, царапнуть, укусить или хотя бы плюнуть тебе в лицо!

Где-то через год-полтора после рождения сына у его матери, тети Нади, отказали ноги, и всю оставшуюся жизнь она уже ни разу самостоятельно не вставала с постели. Едва могла только сидеть. От такого несчастья дед Усой вскоре спился и помер. А внук невероятно быстро повзрослел и поневоле стал опорой немощной матери, напрочь переродившись из зверька в не по годам ответственного человека.

Соседи смотрели на этого маленького насупленного мужичка и умилялись. И сочувствуя, чем могли, помогали им с Надеждой. Особенно сердобольная Серафима Никандровна, бывшая физручка, которую знал весь околоток, многие у нее в разные годы учились... Она жила через дом на той же улице. Да еще частенько захаживала подсобить матери с сыном баба Шура, божий одуванчик, с нашей улицы. У них с Усоевыми стояли встык огороды и была общая калитка.

Отец же родной бросил Женьку, едва тот родился. Потому-то в отместку сын и носил фамилию деда. А младший брат Нади, Володя, высокий и нескладный, как столб, после армии так и не вернулся на родину да запропастился где-то, по-моему, на Дальнем Востоке...

Недолго после этого жива была и их бабка; так что в конце концов они оказались вдвоем с матерью в некогда многолюдной избе...

Несмотря на тяжелое детство, деловой и серьезный Евгений не унывал и после восьмого класса без малейших колебаний пошел в ПТУ на сварщика, где, проявив недюжинную тягу к учебе, в совершенстве освоил эту востребованную в индустриальном советском городе специальность. Получил по окончании сразу же наивысший шестой разряд, при этом успевая еще и активно, как тогда говорилось, заниматься художественной самодеятельностью, да по-прежнему ухаживать за матерью, да содержать в порядке и чистоте избу, да впахивать на их немаленьком огороде...

К тому времени он стал высоким, худым и ярко-ярко-рыжим – все в молодого деда – завидным женихом. У него под густой и зачесанной назад шевелюры обозначился высокий белый лоб, выразительные красно-бурые крылья бровей, правильный крупный нос, большие и приветливые светло-карие, чуть иззелена глаза, окаймленные густыми же бурыми ресницами, слегка веснушчатые подглазья, немного румяные щеки, широкий растяг полных губ и, как говорится, волевой, даже упрямый, увесистый подбородок. В общем, красавец и кровь с молоком.

Увидишь такого – не позабудешь!

А поскольку их пэтэушная команда, где он неплохо пел и довольно сносно научился «пукать», как он сам это называл, на бас-гитаре, то снискал – уже после нескольких концертов и отыгранных танцулек там и сям по городу – и немалое количество почитательниц из числа юных леди нашего захолустья...

Ведь тогда появление молодых людей на сцене с невиданно сверкающими электрогитарами уже само по себе вызывало неопишуемый восторг и восхищение, а уж если ребята открывали рты и начинали что-то более или менее смело, а главное громко петь, то это вообще производило в обществе девушек полный фурор, смятение, шок и даже экстаз!

Понятное дело, мировое нашествие битломании не миновало и наших сибирских трущоб... Сколько появилось одержимых сим новомодным поветрием! Хорошо ли, плохо ли, но это очевидный факт. Сколько досок и кусков толстой фанеры было пущено на выпиливание всевозможных рогатых и безрогих музыкальных орудий. Сколько людей без слуха и духа, но отравив вихры, надев расклешенные штаны и вельветовые пиджаки, кинулись бляеть в микрофоны, рвать струны, давить на клавиши и стучать в барабаны. Да просто ужас!

Но в училище номер семь города N новоиспеченным самодеятельным ансамблем стал руководить один местный, надо сказать, изрядно образованный по части музыки энтузиаст движения ВИА, некто Артем Варакин – он-то и подобрал четверку парней отнюдь небесталанных. Среди них оказался и наш герой Усой, взаправду обладавший неплохими природными данными для музицирования подобного уровня. Может быть, и здесь опять же проявилась корневая дедовская закваска – тот по молодости лихо наяривал на гармошке и здорово распевал казачьи песни под праздничную чарку самогонки...

А между тем молодого спеца взяли на работу сварщиком в хорошую организацию – на городскую ТЭЦ. От армии освободили по уходу за матерью-инвалидом. Сын же в долгу не остался и вкалывал на благо родного угла на ура. И все лучше и лучше. И все пуще пел и играл.

А дальше – больше: при ТЭЦ открылся свой клуб, и уже немало прославившийся «Эдельвейс», а именно так – псевдоромантично, смешно и напыщенно, на мой слух, – именовался Женькин ансамбль, всем составом во главе с Варакиным был приглашен в штат клуба.

Мама Надя не могла нарадоваться на сына. И хотя теперь он стал гораздо меньше бывать с ней рядом, она прощала ему все. И не поднесенный вовремя стакан воды, и порою по две недели не стиранное белье, и давненько не проветренные, запущенные комнаты, сама же при этом неостановимо таяла. Когда-то поначалу даже в постели она не выглядела больной и несчастной. Наоборот, казалась дородной и цветущей... Даже не верилось, что она калека. В свою Усоевскую породу она тоже была крупнолица и когда-то по-своему миловидна, стройна и высока, а чуть позже стала лишь длинна и огрузла всем своим большим неуправляемым телом...

Затем как-то незаметно стала вся усыхать и уменьшаться. Выражение бесконечного страдания уже не покидало ее лица. Женя все видел, но ни он, ни врачи уже ничего поделать с этим не могли. Быстро угасая, она и говорить стала уже совсем тихим, словно бы нездешним голосом...

Однако неизменно всякий раз гордясь и радуясь за сына перед той же бабой Шурой или Никандровной, другими соседями, – а вот, мол,

Женечка-то, сыночек мой, – и швец, и жнец, и на дуде игрец... Ан девки-то за ним каки бегать стали, чисто принцессы... Глядишь, и невесту-красу скоро к матери на смотрины приведет...

Соседки ей кивали, едва сдерживая слезы.

– А денех-то зарабатывают, што Рохфеллер, даж поболе!.. – и беззвучно смеялась, едва растягивая свои тонкие, почти синие губы.

Вскоре Надежды не стало.

По-мужски скупо оплакав матушку, сын, словно со всего размаху, еще выше, еще круче и нахрапистей полез в гору жизни! Упертый, твердый, жилистый, с длинными пальцами, схватывая все на лету, он так быстро освоил свою четырехструнную лопату, что через год-другой его стали уже приглашать и в более солидные клубные коллективы города. Например, в старейший в Н ДК Строителей. В знаменитый «Дилижанс»... К слову сказать, всем по той поре надо было кровь из носу назваться повычурней, поиностраннее – и плодились повсюду «Геликоны», «Каскады», «Аргонавты» и уж совсем какие-то непонятные «Флогистоны»...

Добавим, что уже к тому времени упираясь как вол на всех своих работах и многочисленных халтурах, а сварщик-то он был классный, Усой заработал себе на приличный инструмент. Сгонял в цивилизованный Новосибирск, купил у тамошних фарцовщиков какого-то настоящего «японца», чем резко повысил свой уже и без того немалый авторитет в музыкальных и околomuзыкальных кругах нашей заскорузлой провинции... И решил-таки в конце концов стать настоящим профессионалом, звездой – ни больше, ни меньше – всей советской эстрады.

– А не все же мантулить по железякам да глядеть мир через черное стекло маски сварного, правда, Витек? – как-то бросил он мне, слегка разомлев после пары кружек «Бархатного» в буфете строительского ДК. – Надо бы вот только срочно освоить слэп да и заткнуть весь Н за пояс! Потом область, а там...

– Че еще за слэп?

– Э... темнота... Послушай фирмачей!

И впрямь, уже к концу семидесятых годов по всей планете широко распространилось – вдобавок к прочему – и небывалое увлечение вот этим особым стилем игры на бас-гитаре. Можно долго гадать, кто первым из тех самых «фирмачей» запустил в оборот эту новомодную фишку (или то всего лишь старый контрабасовый прием из области джаза?) – извлечение резких, а благодаря ладам – с металлическим призвуком – нот, но вот уже вскоре многие попсовые басисты стали вворачивать в свои партии этот характерный бякающий звук, производимый размашистым акцентным ударом по толстой струне большим пальцем, а порою выделявая это и всей пятерней, звонко цепляя и тонкие струны, лихо синкопируя в крупных и мелких долях.

Появилось даже целое новое направление в легкой музыке – фанк, которое было полностью основано на игре слэпом. В наших же пенатах первым невероятно быстро преуспел в новой технике как раз Женька Усой. Он так бойко гарцевал по сцене со своим новым орехово-лаковым «японцем» и так куражисто бякал, стегая с подвывертом в тему и не в тему по серебряным струнам своими длинными, как клешни, пальцами, что люди аж диву давались! Кому нравилось, кому не нравилось, но это было нечто новое, необычное... И действительно, до поры до времени равных ему в том не было.

Через год Женька бросает сварное дело, бякает уже в престижном оркестре при N-ском радио и телевидении. И уже светят места в цирке и филармонии. А на частых концертах наш виртуозный герой выходит на авансцену и под ритмичные аплодисменты громко и смачно стегает почем зря струны. И ножкою притопывает в такт, и глазками по залу залихватски поводит, словно бы говоря: мол, вот как я могу! смотрите! слушайте! Ажно шуба заворачивается! А сам купается и купается в лучах своей славы и бесконечном обожании своих еще более многочисленных поклонниц и фанов.

Купался-купался и докупался. Как-то вошел в раж своего нескончаемого соло – да и затормозился вдруг посреди дороги. Зажалась мышца. Снова было начал – тык-мык и ничего! Кисть точно одеревенела и лишь нервно и безразборно задребезжала по струнам...

Конфуз вышел.

Правую руку он потом, конечно, размял. Но навсегда пропал его залихватский кураж и притягательный образ. Стал он играть свой слэп, хоть и громко, но уже совсем без азарта и гораздо медленнее... И уж совсем однообразно – то да потому, то да потому. И появилась при этом какая-то очевидная натужность, необязательность, а оттого бросилась в глаза и явная раздраженность исполнителя, да неблагородный лязг металла струн по металлу ладов стал вдруг резко саднить слух многих окружающих... И в одночасье стал безразличен его сценический вояж бывшим почитателям. Да-да. И коллегам тоже.

А тут через каких-то полгода-год в городе уже появились и другие, еще более рьяные и хлесткие «бякуны». Наросли, словно грибы после дождя! Еще более молодые и активные. И у них-то ни правая, ни левая рука ничуть не стопорились.

В итоге сделался наш Женя обычным средней руки «лабухом». Опустился с высоких подмостков на кабацкий приступок и стал потихоньку, сидя на нем, сопеть в тряпочку – «пукать», как когда-то, от одиночества и безысходности совсем зарастая рыжей бородой и все более косматясь огненной шевелюрой, да еще в перерывах между отделениями прикладываясь теперь к регулярному стакашку с портвейном... Некогда лелеемый и любовно протираемый бархоткой инструмент был отныне весь в жирных пятнах, царапинах и ссадинах...

А сколько же у Евгения невест-то восторженных пред очи прошло!.. Но ни с одной он как-то вовремя не сошелся, ни одной так и не выбрал достойной для себя. Ну а теперь только редкие одиноко-тоскующие взгляды чьих-то бывших подвыпивших «мадамов» ловил на себе.

Еще через некоторый недолгий срок Усой продал старый дедовский дом и исчез в неизвестном направлении.

Потом и я переехал в другой город. Затем у меня была учеба в третьем городе, потом...

И вот уже лет эдак через восемнадцать я приехал в командировку в N. Поселился тут в центральной гостинице, поскольку близких родственников в городе уже не осталось. И между командировочными делами как-то вечером встретился с немногими старыми друзьями. Вспомнили про Усою.

Оказывается, уехав, он прочно завязал с музыкой и все-таки женился где-то не то в Барнауле, не то в Бийске, работал опять сварщиком, электромонтером. Затем, по слухам, внезапно оставив жену с ребенком, сам

вернулся опять сюда, в N, и живет вроде бы где-то в новом микрорайоне уже с другой женщиной.

Однако тут наша беседа перескочила на какой-то следующий предмет, и на том, собственно, в тот вечер мы и забыли про Усоева. Признаться, я не настаивал продолжать разговор о нем, ведь большими друзьями мы с ним никогда не были, а так – соседи с детства... Ну может, приятели в лучшем случае.

И вот прошло еще два дня моего пребывания в той командировке. Все дела были завершены, и назавтра у меня в кармане уже лежал обратный билет. До дома, до семьи.

Вдруг поздно вечером, где-то после одиннадцати, раздается настойчивый стук в дверь. Открываю.

– Ну здорово, Витюха! – рыжая борода с проседью и косая сажень заслонили дверной проем, а в дюжих ручищах по литровой бутылке водки. – Ты меня узнаешь ли, очкарик? Вот, принимай фуфыри, встречу обмывать будем! – Женька сильно заматерел, голос его звучал сипло и басовито. Волосы на голове поредели, но торчали в разные стороны непослушными ржавыми проволоками.

Конечно же, мы обнялись, ведь столько годков не видались.

Но беседа с порога пошла бурно-сумбурная, Усой уже был косою.

Оказалось, что ему после наших дружеских посиделок накануне кто-то, через третьи руки, сообщил, что Витька, мол, Зарубин здесь и остановился там-то... И вот – он, Усой, тут. Но однако же! в последнюю очередь; а как же я-то, мол, зараза, сам-то сразу не мог его пригласить?! А еще земляк. Сосед! А он-то, мол, меня часто вспоминал добрым словом. А я-то был просто прилипалой к чужой славе, да?! Ну давай-де, старик, заруб, разруливай, отвечай!

И он простецки, но как бы испытующе (!) осклабясь, глядел сверху вниз и тут же лез лобызаться, обдавая меня термоядерным перегаром.

Я, отстранясь, пытался оправдаться тем, что не знал ни телефона, ни адреса. Между делом мы уже выпили, да не по маленькой, гость порывисто разлил по стаканам еще.

Смотрю, он уже меня абсолютно не слышит. И ему этого и не надо! Глаза на красном одутловатом лице характерно остекленели двумя бесцветными пуговицами, речь свелась к одному и тому же обороту из пяти-шести подковыристых слов, не считая щедрых связок между.

Тут я невольно вспомнил его громкое пустопорожнее бяканье на одном и том же месте и понял, что дальше выслушивать все это не стоит. Закрутил пробкой початую бутылку, вторую поставил ему в нутряной карман куртки и хотел было по-хорошему, вызвав такси за свой счет, вежливым тоном попрощаться с неожиданным пришельцем, сославшись на «утреннюю лошадь»...

Но не тут-то было!

Стеклянные пуговицы мгновенно налились кровью, ноздри вздулись, как перепончатые «заушья» у потревоженной кобры – и он ни с того ни с сего, даже не озверев, но буквально зомбически обезумев, набросился на меня с диким многоярусным матюгом и кулаками. Кстати, и кулаки-то у него стали точно такими же как у деда, пудовыми кувалдами. Я невольно защищался, уворачиваясь и стараясь лишь повалить его дебелую фигуру куда-нибудь на кресло или кровать, тщетно надеясь, что, может, хотя бы приземлившись, гость уgomонится до утра.

Благо моя комната находилась неподалеку от холла и стола консьержки – на полночный шум и возню быстро прибежали люди. И все улеглось. Евгений тут же потух и, молча сгребя в охапку – при этом не выронив булькающий груз – свою выдавшую виды кожанку, торопливо покинул номер.

В мое открытое окно на шестом этаже, расположенное почти над парадным крыльцом, донеслось снизу, как он, яростно хлобыстнув массивной входной дверью, гулко ругнулся в пространство. В резком свете фонарей я увидел одинокий и долговязо-надломленный силуэт вышедшего в слякоть октябрьской ночи.

Нестойко зашлепав огромными некультяпистыми шагами, он бесследно растворился во мраке.

Татьяна СТРАХОВА

Март

Растаял снег. Дорога лентой черной
Сугробов оттенила белизну,
Намокнув под дождем, она покорно
Напоминала слабую струну.

Дождинки бились в окна и по крыше
Катились, заплетаясь в ручейки,
А ветер их срывал с железной ниши,
Безжалостно кромсая на куски.

Погасли окна. Явственнее стали
И ветра шум, и перестук дождя,
То март свои оттачивал детали,
Так необычно дерзко приходя.

Весенняя метель

Как миллионы белых мотыльков,
Летят снежинки прямо на окно
И серпантинном тонких ручейков
Петляют хаотично и смешно.

Они, как плач обманутой весны,
Что жаждет наступления тепла,
Порхающего холода полны
Их ледяные перышки крыла.

Укрыв всю землю нежной кисеей
Упавших в беспорядке мотыльков,
Весна опять повержена зимой
И плачет серпантинном ручейков.

Мартовское утро

Разлился мартовский мороз
Весенней, солнечной прохладой,
Слепит безудержно, до слез,
Но как-то скучно, без отрады.

Сосулек тонкое стекло
Развесил день на каждой крыше,
Капель от холода свело –
Ее напев почти не слышен.
Под снегом лед, там где вчера
Была вода под сапогами,
А нынче все мороз с утра
Сковал железными снегами.

Рассвет

Вслед за дождливым ненастьем
Солнечный вышел рассвет,
Словно забытого счастья,
Утро раскрыло секрет.

Ветер сдувает пылинки
С лапы еловой в саду,
Плавают молча снежинки –
Тают у всех на виду.

Греет стеклянные шоры
Мудрый, сияющий спец,
Из-за скворечника споры
Громко затеял скворец.

Наперекор заморозку
В почках набухли листы,
В красках апреля неброских
Видятся лета черты.

На голубом небосводе
Нет ни печали, ни слез,
Только на лужи поводья
Лихо накиннул мороз.

Их ледяные глазницы
Смотрят с надеждою ввысь,
В них отражаются птицы,
Что второпях пронеслись.

Утро никак не отгадет:
Улицы – твердый гранит,
Все же весна наступает –
Путь ей сегодня открыт.

Свеча и подсвечник

Свеча стояла на окне
У самой кромки,
Тень отражалась на стене
Рельефом тонким.

Она не видела огня,
Что плавит душу,
И вниз смотрела из окна
Так равнодушно.

Но как-то раз в весенний день
Резной Подсвечник,
Ее зажав поверх колен,
Зажег сердечник.

И запылала, испытав
Тепло и радость,
Так неожиданно узнав
Горенья сладость.

Ей счастье грезилось сейчас
В огне неброском,
Лишь слезы падали из глаз
Горячим воском...

Казалось ей, пылать могла
Она бы вечно,
Когда бы крепко так держал
Ее Подсвечник...

Вставало утро за окном
И, глядя смело,
Стоял Подсвечник над столом –
Весь в каплях белых.

Она растаяла дотла,
Всю ночь сгорая...
Он знал заранее – ждала
Его другая...

Анна ПАНКОВА

Иоанн

Из серии рассказов «Приметны пути Господни»

Этот десятилетний, теперь детдомовский мальчишка, еще совсем недавно жил в цветущем украинском селе. У него были работающие и улыбочивые отец и мать, пятилетняя сестренка, веселая Марианка, на соседней улице – домовитые и ласковые до внуков дедуна с бабулей.

Почему началась война, бомбежки, стрельба, почему в их селе, где жили русские и украинцы, появился батальон карателей, он не успел понять. Да и ничего уже не способен был понять, кроме того, что взорвана и убита оказалась вся его семья. Взорвана и убита оказалась вся привычная жизнь. А он, хотя и остался в живых, чувствовал себя изнутри тоже взорванным и убитым.

Как он попал в Россию, он не помнил. Но картину разрушенного села, безжизненных, искалеченных тел родных своих память упорно сохраняла...

В этот день он шел один по коридору детдома. Взгляд его остановился на небольшой иконе над дверьми одной из комнат. Рядом – табличка с надписью «Домовой храм в честь Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна». Его сюда уже несколько раз приводила воспитательница, но мальчик никак не реагировал на обстановку храма, не видно было, чтобы он как-то воспринимал и слова священника – иеромонаха Алексея: молчал, опустив голову, или смотрел на него совершенно равнодушно. Но сейчас ему захотелось одному возвратиться в эту комнату. Заходить в нее без сопровождения взрослых можно было только по разрешению воспитателя, о чем и сообщалось на листке, помещенном в файл и пристроенном тут же на видном месте.

Из-за плотно закрытых дверей слышалось еле различимое, необычное пение – записанный на диск глубокий и низкий мужской голос без музыкального сопровождения. Мальчик постоял, прислушиваясь. Затем, повернувшись спиной к строгим словам так и не замеченного им файла, аккуратно открыл дверь, вошел внутрь и также аккуратно, без спешки прикрыл ее за собой.

Голос здесь раздавался слышнее, но звучал он все-таки тихо и как бы приглушенно, хотя вполне отчетливо: «Богопротивное веление беззаконного детоубийцы Ирода изгна тя из дому отча в непроходную пустыню, носима материю, Предтече Господень, идеже и пребывал еси до дне явления твоего ко Израилю, ядый акриды и мед дивий и Богу вопия: Аллилуиа».

«...детоубийцы Ирода изгна тя из дому», – врезалось в память мальчишки и звучало в ней. Мужской голос продолжал молитвенное славословие, но слов он в нем больше не различал. Благозвучное, слаженное, малопонятное, но трогательное пение и чтение стало просто фоном для этих услышанных и понятых им пронзительных слов, пролившихся, словно вода на сухую землю: «...детоубийцы Ирода изгна тя из дому»...

Он оглянулся – и никого в храме не заметил, прошел, словно притягиваемый магнитом, на его середину к необычному высокому столику-

подставке с иконой. На ней был изображен необычного вида подросток с глазами такими же пронзительными, как запомнившиеся слова молитвы. Один среди пустыни, узнаваемой по иллюстрациям из учебника. Ландшафт ее был необычен, как-то пустынное даже, чем на реальном, хорошо отснятом фото. Но удивительным образом пустынное пространство иконы было пространством не столько одиночества, сколько жилищем безбрежного покоя и света. Мальчик не мог оторвать взгляда и от этого завораживающего потока какой-то нездешней жизни, и от лица своего необычного сверстника, помещенного в центр этой физически ощутимой тишины. У него был не по-детски твердый, решительный и безбоязненный взгляд. И смотрел он прямо в глаза мальчишке.

Одинокое и ставшее словно бы окаменелым сердце ребенка вдруг встрепенулось навстречу этому взгляду, признав в его обладателе того, кто может стать другом, кто может помочь стать таким же сильным, независимым и спокойным. Несколько минут он молча смотрел в необычные глаза своего сверстника с иконы, продолжая слышать не столько слова, сколько звуки и интонацию молитвенного голоса. И вдруг стал говорить, глядя в эти глаза на иконе, говорить все, что не мог до сих пор сказать никому! Он не заботился ни о словах, ни о связности своей речи. И чувствовал, что этот подросток слышит его, понимает и разделяет с ним обрушившееся на его голову страдание...

Иногда его не очень складная речь звучала громче, иногда он почти шептал, плакал, сморкался и вытирал рукавом рубашки мокрые щеки и нос. Молчал, словно слушал обращенный к нему ответ, всхлипывал и снова шептал все понимающему другу про свое, самое потаенное и страшное, о чем не скажешь никому. Времени он не чувствовал. Потом, как-то обессилев, сел на пол тут же у иконы, прикрыл глаза и сразу же уснул.

Ему снилась глубокая и узкая долина, окруженная горами с той и другой стороны. Вся она и склоны гор утопают в садах. Но деревья и плоды непривычны его глазам. Даже виноградные и абрикосовые он не сразу различил. А на возникший в его сознании вопрос о других растениях ответ возникал словно бы в нем самом – вот он прикасается впервые к вечнозеленым масличным ветвям и узнает на них оливки; вот рука его тянется к фиговым шаровидным соплодиям – и радуется встрече с красавцем инжиром. На душе его мир и покой. Он поднимается от садов в объятиях этих душистых ароматов к городу на возвышенном месте. В нем возникает незнакомое название этого незнакомого города: «Хеврон». И сразу рождается известная звуковая ассоциация: «Херсон». Цветущий морской порт в устье Днепра, куда они ездили всей семьей прошлым летом...

И вдруг все эти сады и сказочно красивый ландшафт словно исчезают в благоухающей дымке. Он видит необычный двор в чужом селении в окрестностях Хеврона, дом с плоской крышей, слышит крики, шум от падающих предметов, плач, ругательства. Разъяренные воины чего-то требуют от плачущих и истошно кричащих женщин, опрокидывая большие кувшины с водой. В ярости толкая одну из них, самый распаленный потрясает в воздухе страшной плеткой и потом со злобным ожесточением начинает хлестать ею всех подряд...

Эта картина снова сменяется видом гор. Но теперь уже понятно, что точкой обозрения является высокая гора. Вокруг нее желто-коричневая каменная пустыня. Старая женщина с младенцем, которому не более двух

лет, сидит на земле, привалившись к теплому большому камню, тяжело и часто дышит, испуганно глядя в сторону склона горы. Вдруг глаза ее различают воинов, поднимающихся по той же тропинке, по которой совсем недавно бежала, задыхаясь со своей драгоценной ношей, и она сама. В смятении оглядывается по сторонам и видит только неприступную каменную скалу. И тогда, упав на колени и прижимая к себе дитя, она буквально кричит в исступлении:

– Гора Божия! Укрой от убийц! Прими мать с чадом!

И тотчас гора расступается, принимает беглецов и скрывает их от размахивающих мечами воинов. Непостижимым образом сознание спящего понимает, что этот младенец, в страхе и ужасе прижавшийся к матери, – тот мальчик с иконы с твердым взглядом спокойных глаз. Что он остался жив. Что он жив и теперь. Что он хочет стать ему другом.

– Давай-ка, дорогой, ляжем удобнее, – чьи-то сильные руки бережно обхватили его и перенесли на небольшой мягкий диванчик, стоявший недалеко от входных дверей.

– А где гора и мать с чадом? – медленно спросил он отца Алексея, все еще находясь во власти сна.

Священник внимательно посмотрел на мальчика. «Слава Тебе, Господи», – вздохнул он в мыслях своих от всей души, услышав обращенный к нему голос ребенка, о котором молился уже месяц, называя его Богу просто страждущим чадом.

– Гора все на том же месте, около города Иерусалима. А мать с чадом давно у Бога в раю, живут в радости, покое и любви.

– Это вот тот хлопец? – он протянул руку в сторону иконы на аналое.

– Да, тот хлопец, – улыбнулся глазами отец Алексей.

– А вы что-нибудь знаете про него?

– Не так много, как хотелось бы, но кое-что знаю.

– Расскажите!

– Ну давай расскажу, – священник смотрит на часы, – да ты лежи пока.

Мальчишка вдруг перевернулся, положил голову на колени отцу Алексею и, свернувшись в клубочек, прижался к нему. Отец Алексей обнял его правой рукой, а левую устроил под головой подростка.

– Тебя как зовут-то?

– Ваня.

– Значит, тоже Иоанн. А день рождения у тебя когда?

– 7 июля.

– Бывает же такое! Дивны дела Твои, Господи! Вы с тем хлопцем, который на иконе, в один день родились и наречены одним именем.

Глаза Вани сверкнули радостью. Он сразу прикрыл их. Но знал, что тот, Иоанн, все равно видит их, даже за опущенными веками.

– Ну слушай, Иоанн. Хоть вы и родились в один день с Иоанном Крестителем, но разделяет вас две с лишним тысячи лет. Именно столько лет назад происходило то, о чем ты хочешь узнать, в далекой от нас земле Палестине, где издавна жил еврейский народ, или иудеи. Знаешь, где находится Палестина?

Мальчик отрицательно помотал головой.

– А слышал про Африку?

Он согласно кивнул головой:

– Там еще есть Египет с пирамидами и пустыня Сахара.

– Ты молодец, Ваня! Так вот Палестина находится рядом с Африкой, у берегов всегда теплого Средиземного моря. И вот там-то в окрестностях городка Хеврона, – мальчик насторожился, вспомнив, что именно об этом самом Хевроне ему и снилось, – да-да, в окрестностях Хеврона, – словно отвечая на его мысли, сказал отец Алексей, – жили уже состарившиеся священник Захария и его жена Елизавета. Жили они зажиточно, дом у них был, что называется, полная чаша. Сами они были людьми добрыми, жили, во всем слушаясь Бога. Это значит как? – неожиданно спросил он мальчика.

Он ответил не сразу, но без колебания:

– Значит, никому не причиняли зла.

– Верно. Никому не творить зла – значит слушаться Бога, жить по правде Божией, быть праведными. Только несмотря на их праведность, детей им Бог не посылал. А без детей жизнь, как день без солнечных лучей. Вон видишь, как солнышко нам в окошко светит? Хорошо, правда? Так вот, Захария и Елизавета мечтали о ребенке, о таком вот солнечном лучике в своем доме, молили о нем Господа, часто и со слезами. Но год проходил за годом, а они оставались бездетными.

И вот пришло время их старости. А в преклонные годы у людей дети уже не рождаются, потому что, чтобы родить и воспитать ребенка, нужно положить очень много сил и трудов! А у старости какие силы? И они перестали надеяться на то, что станут отцом и матерью.

Но однажды, когда Захария служил в храме, у жертвенника, а он был священником, ему явился ангел и сказал: «Бог услышал ваши с Елизаветой молитвы. Жена твоя родит тебе сына. Назовете его Иоанном. Он будет велик пред Богом. Сердце его не будет страшиться зла и не убоится он никакого злодея и врага! И почтят его богатые и бедные, сильные и слабые за его праведную жизнь. Будет ему от Бога дана великая сила и власть над сердцами людей. Даже самые испорченные, упрямые и злобные из них захотят слышать твоего сына и исправиться. Он будет готовить людей к принятию Бога. И назовется самым великим пророком, который рожден женщиною на земле».

Необычность события, возвещенная ангелом, и обрадовала, и смутила пожилого священника Захарию. Он вдруг засомневался, от Бога ли это известие? Может быть, это просто злая дьявольская шутка над ним и его женою? И он спросил: «Как же я узнаю, что ты говоришь правду? Стары мы для такой радостной вести. О небывалом между людьми сообщаемь ты мне». Тогда ангел отвечал: «Я архангел Гавриил, послан к тебе Самим Богом! И вот тебе доказательство – за свою недоверчивость ты онемеешь и будешь молчать до тех пор, пока не сбудется то, о чем я тебе сказал». И ангел исчез.

Давно уже должен был выйти священник к собравшемуся в храме народу, а его все не было. Верующие поняли, что с Захарией в алтаре произошло что-то необычное. И правда, когда священник вышел к людям, он не мог сказать им ни слова. Лишь с помощью знаков поведал он о чудесном видении ангела и обещании от Бога.

И вскоре Елизавета утешила мужа новостью: в их семье родится долгожданное чадо! Ребенку отец с матерью всегда радуются. А представь, как ликовали сердца Захария и Елизаветы по случаю рождения их единственного сына, которого они ждали так долго! Можно сказать,

всю жизнь. Собрались многочисленные родственники, соседи, чтобы поздравить их. И конечно, самое первое, о чем думают люди при рождении человека, какое дать ему имя.

У евреев был обычай давать ребенку, а особенно первенцу, не всякое имя, а лишь то, которое передавалось в этой семье из рода в род. И родные предложили назвать мальчика Захарией, по отцу. Но отец, все еще немой, потребовал дощечку для письма и на ней написал имя, которого доселе в их роду не было: «Иоанн имя ему». И в тот же миг ему возвращен был дар речи!

Захария был на седьмом небе от радости и не чувствовал земли под своими ногами! Святой Дух сошел на него, и счастливый отец с особым вдохновением говорил о Боге, благодарил Его и передавал своим близким Божие откровение о необыкновенном жизненном подвиге, предназначенном его младенцу. И вскоре все в Хевроне и окрестных селениях рассказывали друг другу и проходившим мимо городка пешим путникам и караванам о чудесном рождении у престарелых Елизаветы и Захария необычного ребенка. Слух об этом прошел по всей иудейской земле. Все удивлялись, благодарили Бога и рассуждали: «Интересно, каким вырастет этот ребенок? Уж не родился ли тот самый пророк, обещанный Богом, Спаситель наш?».

– А кто это – пророк?

– Это, Ваня, особый человек, который с самого детства ведет святую жизнь. Бог его выбирает от рождения от очень хороших, праведных родителей. И помогает ему устраивать свою жизнь так, чтобы все грязное, нечестивое, вызывающее стыд и позор, не касалось его сердца.

Чтобы крепче привязаться к Богу и не тратить время и силы на ничтожные земные удовольствия, он отказывается от вкусной сытной еды, красивых удобных одежд, устроенного дома, богатства и почестей людских, вообще от обычной жизни среди людей. Всего себя он с радостью отдает на служение Богу, Создателю всего мира и Отцу нашему. И Бог через такого пророка как верного Своего сына возвещает народам Свою волю и указывает им на зло и неправду в их сердце и поступках. Будешь слушать дальше про Иоанна Крестителя или устал?

– Нет, не устал. Буду слушать.

– Недолго длилось счастье родителей и младенца Иоанна. Прознал о чудесном ребенке злой царь Ирод, который незаконно занимал трон царя иудеев. Прознал и насторожился: а не родился ли тот, кто впоследствии лишит власти его род? Ваня, а ты слышал про Рождество Христово, про волхвов и про чудесную звезду?

– Да, слышал. Бабуля... – он не договорил про то, как бабушка с дедушкой показывали ему икону Рождества Христова, рассказывали о рождении Младенца Христа. Только сильнее прижал голову к руке отца Алексея. Тот ответил на это движение ребенка к нему встречным движением, спокойным и добрым. И, немного помолчав, продолжил:

– Так вот Ирод, узнав от волхвов о рождении будущего Царя народа, которым он правил, очень испугался. И приказал в том городе, где родился Иисус Христос, в Вифлееме, убить всех мальчиков до двух лет. А заодно убить и того необычного ребенка из города Хеврона.

Ваня вздрогнул. Но отец Алексей держал его в своих руках, как птенца в гнезде, и продолжал говорить просто и ровно:

– Сначала жестокие воины, исполняя приказ, нагрянули в дом Елизаветы и Захарии, все в нем перевернули вверх дном, перепугали всех домочадцев и слуг, но хозяев с ребенком не нашли. Потом они убили священника Захарию прямо в храме за то, что он не сказал им, где его сын.

А Елизавета, узнав о вифлеемской расправе с младенцами, решила скрыться в горах с маленьким Иоанном. По повелению Божию одна из гор расступилась на крик Елизаветы о помощи, и это спасло их от неминуемой расправы. Бог позаботился о них: внутри горы образовалось для них жилище в виде пещеры. Вблизи забил источник чистой воды и выросла финиковая пальма, полная необычайно вкусных плодов. Всякий раз, как к матери и сыну подступал голод, дерево преклоняло к ним свои ветви. Когда же они насыщались, снова выпрямлялось.

Но через 40 дней мать Иоанна, праведная Елизавета, бывшая уже в преклонном возрасте и надорвавшая свое сердце, скрываясь с маленьким сыном от погони, преставилась. Земной путь ее окончился.

– Умерла?

– Да, Ваня. Но правильнее сказать, упокоилась, обрела вечный покой и радость с Богом в раю.

– И ее маленький сын остался один на белом свете? А как же он жил в пустыне?

– Бог никогда и никого не оставляет, Ваня. Тем более ребенка, чьи родители были такими добрыми людьми и так почитали Бога. По преданию, сначала о маленьком Иоанне заботился ангел, затем Бог послал людей, которые взяли на себя заботу о его воспитании.

Ученые, которые изучали все обстоятельства жизни и характера пророка, считают, что это были ессеи, община жителей пустыни того времени. Они отличались образцовой чистотой своей жизни и служения Богу. Были молчаливы, серьезны, трудолюбивы, самоотверженны. Жили, как братья. Строго воздерживались от всего лишнего: в еде, одежде, в условиях жизни. Отличались от своих современников большой силой духа, физической силой и крепостью, долголетием и миролюбием. Никогда не брали в руки оружия. Не только не воевали, но и не изготавливали его и не продавали.

– А сейчас они есть?

– Точно не могу сказать, но кажется, нет. Но сейчас есть монастыри, где тоже стараются так жить.

– И там есть такие, как этот Иоанн? – он показал рукой в сторону иконы на аналое.

Отец Алексей задумался. Потом внимательно посмотрел в глаза Вани. Они умоляли о надежде. И с этой надеждой была связана сейчас вся его жизнь!

– Да, такие, как Иоанн, есть и были во все времена. Только надо уметь увидеть и узнать их в ином, современном облики.

– Возьмите меня с собой в монастырь! Жить! Я хочу найти такого, как этот Иоанн из пустыни. И сам хочу стать таким! Получится у меня? Поможет мне Бог, как ему? – и проглатывая подступивший к горлу ком, тихо добавил: – Мои папа с мамой и дедуля с бабулей тоже были очень добрыми...

– Бог каждому человеку помогает, Ванечка! Но не каждый человек чтит и любит Бога, как Иоанн Креститель.

– Я буду как он! Только научите меня! И будьте со мной рядом...

Славик

Занятия в воскресной школе закончились, и дети, младшие школьники, расходились с родителями по домам. Но некоторые не спешили покидать ухоженную и спокойную территорию храма, а направились с детьми к веселому детскому городку с горкой, качелями, разными домиками, петушком-качалкой, вместительным грузовичком с нарисованными по бортам ромашками. Начало октября, а погода стоит теплая и нежная какой-то особенной осенней нежностью.

Семилетний кареглазый Тимофей сразу взял курс на горку, старательно преодолевая 10 крутых ступенек. Но на верхней площадке его уже встречал девятилетний Коля, ловко взобравшийся по металлическому скользкому полотну и явно довольный своим проворством.

Первоклассница Катюша с помощью бабушки уютненько устроилась на качелях и даже не пыталась раскачиваться, для вида подавшись спиной назад и вперед и просительно глядя на бабушку. Коля уже успел два раза взбежать на горку и скатиться вниз и теперь, подлетев к качелям, предложил Катюше: «А хотите, я ее покачаю?»

И получив согласие, мигом оказался стоящим за спинкой качелей: «Ну держись! – наклонился он к девочке. – Только не визжать, как в прошлый раз!». Из песочницы на них посмотрели две подружки Лена и Наташа, и снова продолжили «выпечку» аккуратных пирожных.

А Тимофей уже перебрался в грузовик и довольно крутил баранку, нажимал на рычаги и приглашал подружек: «Поехали со мной!», указывая на места рядом с водительским. «Еще три пироженки сделаем и придем», – ответила ему старавшаяся всегда быть примерной Наташа, аккуратно поправляя и перевязывая по-новому сбившийся на головке свой любимый незабудковый платочек. Тимофей в ответ еще громче зафырчал, изображая мотор под всеми возможными для его легких парами.

Третий год ходили эти ребята в воскресную школу при храме. Она и была задумана не для всех, а только для детей постоянных прихожан, так что дух семейный и дух церковный ничем не различались. Все дети были из верующих семей, крещены от рождения, причащались практически еженедельно, а то и чаще, если большой праздник приходился на будни.

Славик в этой дружной семье воскресной школы появился месяц назад. Он не был замкнутым ребенком, стремился к общению, но дети после первого естественного любопытства к новичку как-то быстро охладели к нему. Все у него получалось неловко, некстати, неинтересно. То рассказывает про какого-то червячка, как он полз по земле, а потом захотел заползти на листок подорожника и упал, свернувшись в клубочек. То про рыбалку, как рыба в реке плавает, а на удочку его не ловится.

Но ребятам все эти истории уже при первых его словах наскучивали. Может, потому еще, что говорил он для своих семи лет не очень четко, не все звуки правильно выговаривал. Был болезненным, каким-то неуверенным в себе и готовым, как дворовая собачка, бежать за каждым, кто его поманит. Только бы поманили! Но для детей ничего в нем такого не было, что бы могло привлечь не только их симпатию, но хотя бы внимание. И никто его к себе не манил.

Мама с болью сердечной наблюдала за неумелыми попытками сына приспособиться к этому дружному сообществу.

– Что, милая, страдаешь? – присела рядом с ней бабушка во всем темном, но с очень светлым добрым лицом, испещренным вдоль и поперек,

словно дорогами и тропинками, складками и морщинками. И что удивительно – ясно освещали эту истоптанную временем территорию синие участливые глаза.

– Страдаю, – неожиданно для самой себя с доверием выдохнула мама Славика. И словно ком в горле, стесняющий грудь, растворился от этого вздоха. Сгорбленной бабушке этой ничего объяснять не надо было. Да молодая женщина и не очень расположена была к объяснениям. Но мягкосердечность неизвестно откуда появившейся рядом с ней старушки словно освободила душу из безнадежного плена.

– А ты, касатка моя, читала про мальчика Варфоломеюшку, который вырос в преподобного Сергия?

– Конечно. Но Славик-то тут при чем? Преподобный отроком сторонился детских игр, все его мысли были только о Боге. Теперь таких детей-то и нет, наверное.

– Да таких детей никогда и не было. И Варфоломеюшко играл бы с мальчишками, если б они с ним играли, а не смеялись над ним, не дразнили. Ему, я так думаю, хотелось быть вместе с ними. Да и какому самому смирному отроку не хочется иметь друзей, сама рассуди? А учиться-то как твое чадо?

– Тяжело, матушка. Ни памяти хорошей, ни усидчивости. Полгода уже не работаю, к школе готовились, семь лет в июле исполнилось, но школу отложили до следующего года. И сами видим, и психолог посоветовала. И добрый Славик, и ласковый, но какой-то бестолковый. Да и характера у него нет. Всем все прощает и на любой зов летит сломя голову, даже если его ребята только что обидели или проигнорировали.

Вот даже в воскресной школе он как отщепенец. И папа с мамой у него, и бабушки, и дедушка, все его любим, мы все люди нормальные. Не знаю, в кого он такой? Прямо душа болит, все готова сделать для него, а сделать ничего не могу, как ни стараюсь. И преподобному Сергию молюсь, прошу помочь Славика, наставить его на ум, но пока все как есть, ни с места!

Его ровесники-то и читают свободно, и стихи без всякого напряжения учат, а мы умаемся оба, а результата почти никакого. И не скажешь, что глупый. У меня целый блокнот его высказываний записан. Вот вчера вечернее правило с мужем читаем, а Славик недалеко от нас сидит. Иногда встанет, перекрестится, поклонится, постоит, потом снова сядет, листает тихонько книжку с картинками «Золотой ключик». А когда мы закончили правило, он и говорит: «Кто не молится, тот будет как Карабас-Барабас».

– А ты задумывалась, душенька, почему грамоту так долго не мог преподобный постичь?

– Способностей, наверное, не было.

– А почему?

– Таким родился, так Бог пожелал.

– А переживали отец-мать?

– Конечно, переживали, я их очень хорошо понимаю!

– А почему все-таки сначала не было у него разума, а потом, он уж больно маленький был, Бог ему все дал.

– Не знаю, пожалел, наверное.

– А что же, до этого, выходит, не жалел что ли? Отец-мать жалели, а Бог не жалел?

– Нет, так не бывает, я читала, что Бог любит каждого из нас больше всех на свете. Что-то я, матушка, запуталась в ваших вопросах.

– Прости меня, касатушка, что неловко у меня вышло с вопросами. Я просто хотела, чтобы ты сама поняла, что способности к учению – дело хорошее, но научиться держать себя скромно – лучше. А если все всегда ладно получается да гладко складывается, сердце-то и загорится, начнет человек высоко себя держать, думать, что это он сам собою такой молодец. Бог сильно любил преподобного, вот и смирял его бестолковостью от молодых ногтей, готовил к поприщу великому, чтобы вместил много да не возгордился. Потому что с детства привык знать, что его место – последнее.

– И как же нам теперь со Славиком быть?

– Не терзаться, что не обидчив, не горд, звезд с неба не хватает. Да и чего их хватать? Пусть на своем месте пребудут до положенного времени. Молитесь, от Церкви не отходите, любите дитя и заботьтесь о нем. И будете добрые помощники Богу в его воспитании.

– Мама! Посмотри, какой я красивый лист нашел! И как он красиво лежит на траве!

– Извините, матушка, сейчас я посмотрю, что там Славик мне хочет показать.

Когда через пять минут молодая женщина направилась вместе с сыном к скамейке, где она оставила старушку, она никого там не обнаружила.

– Славик, ты видел бабушку, с которой я сидела на скамейке?

– Нет. Я видел, что ты сидела одна. Но губы у тебя иногда тихонечко шевелились, и я думал, что ты молишься, не хотел тебе мешать. Но все-таки помешал, да? Прости, я не хотел, мамочка! А ты за кого молилась?

– За тебя, сынок.

– А за нашего батюшку?

– За батюшку сейчас нет.

– Мама-мама, у нас же полно батюшек! Надо за всех молиться!

Владимир ТРЕТЬЯКОВ

Если небо такое синее,
Если звезды сияют пламенно,
Птицы чертят прямые линии,
Значит, в жизни пока все правильно.

И душа не расстанется с телом,
Будут вместе в вечной гармонии.
И по черному белым-белым
Растекаются пусть мелодии.

Ну, а если не так что чуточку,
Выйду я тогда за околицу,
Ну, и ты приходи на минуточку,
Удивительная невольница.

Апрель 2000 г.

Откровение

Здравствуй, милая, хорошая,
Вот пишу издалека.
Все давно одежды сброшены,
И в моей – твоя рука.

Чуть сожму – до боли чувствую,
Чтоб тебя не взбередить,
Я твою ладошку узкую
Так боюсь не остудить.

За глазами с поволокою
Расстилается туман.
Врозь мы были одинокими,
Вместе – шанс на счастье нам.

Не сбылось что раньше – сбудется.
Мы с тобой пред алтарем.
Пусть себе планета кружится,
Вспять вращению пойдём.

Помнишь, милая, хорошая,
Над Байкалом звездопад?
За окошком травы скошены,
Улеглись к рядочку ряд.

На тебя, такую русскую,
Я гляжу исподтишка,
И с твоей ладошкой узкою
Моя греется рука.

Слышишь, милая, хорошая,
Сердце вздыбилось в груди,
Обожгло нас, опорошило,
Что же ждет нас впереди?

Декабрь 1999 г.

В пурпурном шелковом объятье
Искрились будущего сны.
Такое искреннее платье
Впервые примеряли мы.

В глазах лучилось ожиданье.
Миг отражали зеркала.
Все – настороженность, страданья –
С лица, прищурясь, убрала.

Ко всей прислушалась Вселенной,
Излом души в углах бровей.
Такое чудное виденье
Запомню до исхода дней.

И ты, почувавши свободу,
Расправив складки по плечу,
Шепнула мне: «Ах, годы, годы...
Быть просто женщиной хочу».

Ноябрь 2003 г.

Если затаилась вдруг тревога
В полночной тревожной тишине,
Не спеши отправиться в дорогу –
Просто ты взгрустнула обо мне.

Это, как вода по перекатам, –
Пенится, сливаясь к берегам.
Были мы счастливыми когда-то,
То время памятное нам.

Октябрь 1999 г.

Нарым

Нарым – болота, Нарым – тайга,
Сплошные топи, снега, снега.
Нарым без края и тьма зверья.
Судьба лихая – не для ворья.

Любой расскажет вам старожил:
Иосиф Сталин здесь в ссылке был.
Хранит, как память, Нарымский край
Плен или волю – сам выбирай.

Август 1973 г.

В дороге

Сколь о жизни отпущено лет,
Столь зовут иерихонские трубы.
Много кануло в прошлое бед,
Сколько их еще в будущем будет?

Ветры, штормы – по мне. Стороной
Не изведать мне тихую заводь.
Так сложилось: лишь снится покой,
Должен я еще по морю плавать.

Вдалеке загорелась звезда,
Надо мне поспешить к полустанку.
Оставайся покуда одна,
Не забудь, разбуди спозаранку.

Километры и годы летят,
Не беда, лишь хватило бы силы.
За окошком твой вспыхнувший взгляд,
Слышу, тихо шепнула «Счастливо!»

Август 1997 г.

В разведке

В.В. Власову

Костер горит. Промерзли ноги.
От вьюжной северной пурги
Для отступленья нет дороги.
Ночь. Приполярные. Ни зги

Не видно берега, откуда
Не саквояж, а вещмешок,
Прижав к груди, навстречу чуду
Шагнул упорный паренек.

Слова не выкинешь из песни:
И в буднях, и в строю хорош.
Он мог бы быть на Красной Пресне
Или в Париже – как Гаврош.

Тайга. Палатка. Колокольца.
Олени тихо шевелят.
Геодезистом-добровольцем
Пришел в сейсмический отряд.

На Север шел путем небитым,
Тренога, рейки на горбу,
Чтоб отстрелять теодолитом
За ним идущему тропу.

Зима. Мороз. Самое дело:
Болота скованы в гранит,
Площадку выберешь умело,
И в ход пойдет теодолит.

Задача, что приказ солдату:
Реперу* дать координату.
Но высь таила тьма глухая,
Промерзли, случай ожидая.

Пришла награда за старанье –
Большой Медведицы сиянье.
Призывно Ковш во тьме мерцал,
Взят угол на звезду Мицар!*

...Весной отряд сыграет сбор,
Уйдет разведать Самотлор.
Геодезист ученым стал
И часто угол рисовал.

Февраль 2020 г.

**Репер – геодезический знак на местности.*

**Мицар – самая яркая звезда в созвездии Большой Медведицы.*

**Теодолит – геодезический угломерный инструмент.*

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

Наталья ЛУЧКИНА

Порода

«У породистой женщины в ямку около ключицы должно помещаться куриное яйцо!» – от нашего химика, искренне называвшего себя испанским летчиком, редко приходилось ждать связанных в предложения слов. Но это неожиданное знание накрепко засело в мою голову.

Быть породистой хотелось очень. Родословная моя – явно крестьянская со всех сторон, и прилюдно оголять плечи с целью похвастаться красивым рисунком резких ключиц, моим прапрабабкам вряд ли пришло бы в голову. Воображение подкинуло картинку, как суровый предок в Акмолинской области Российской империи кричит: «Жанааа, веди девок, тряси кур! Будем породу выбраковывать!»

Пристальный же взгляд на отражение в зеркале подмечал явные признаки еще и другой – татарской породы. Узкие глаза – чтобы степной ветер песок не задувал, когда несешься верхом на коне. Широковатые, но острые скулы – чтобы жевать отскакавшего коня. Нос с небольшой горбинкой, явно повторяющийся у всей родни, даже не знаю зачем (может, чтобы ноздри от песка спасать). Одна надежда на ямки у ключиц.

Вздыхнув, я пошла зажигать газ. В успехе эксперимента уверенности не было, а за разбитые, даже ради выявления иллюзорных признаков породы, яйца можно было схлопотать вполне реальные неприятности. Интересно, а дамам высшего света проверку проводили сырыми или вареными? И если вареными, то всмятку или вкрутую? Для надежности поварила подольше. Дуя на горячую скорлупу и сгорбив плечи, чтобы ямки проступили отчетливее, я с волнением встала на красное стяженное одеяло (если опытный материал потребуется для второй попытки) напротив зеркала. Была не была...

Год шел 91-й или 92-й, яйца были дефицитные и мелкие. Потому, думаю, и удержались. Через полчаса, гордо выпятив вперед плечи и вытянув шею, я доедала нехитрый бутерброд с майонезом и еще теплым яйцом. Запивая все это великолепие вкуса сладким черным чаем, я думала: «Вот не зря, не зря в школу хожу! Так бы жила и не знала, что я породистая!»

А через 25 лет в далекой стране Японии стихийно стала набирать популярность мода измерять размер ямок у ключиц количеством монет, которые могут туда поместиться. Неужели наш неугомонный химик смог преодолеть границу и теперь будоражит умы уже восточных женщин?

Сургут – Москва

Фамилию Коли я не помню. Знаю только, что заканчивалась она на ...ко, и это добавило нам приключений. Коля был моим коллегой, руководителем офиса в Ноябрьске. Отличался он большим размером головы и умением находить приключения на другую часть тела. И мы объединились в этой поездке.

Самолет не взлетал. Говорили, что проблемы с холодильниками. Я уговаривала Колю признаться, что холодильники ни при чем, а воня-

ет на весь салон его белка, которую он называл чучелом и вез в подарок корпоративному тренеру Руслану. После того, как Коля не смог мне ответить на вопрос, что такое таксидермия, я стала называть чучело просто – мертвая белка. Еще были два копченых муксуна. Видимо, бог Москвы не принимал Колю без приношений. Потом я поняла почему.

Вылетели на два часа позже. Народ принюхивался всю дорогу, рыбу везли многие, это помогло нашему чучелу спасти репутацию. В Москве, сделав провинциальный круг почета в другую сторону по кольцевой в метро, мы с глазами, как у муксуна, без пяти полночь влетели в гостиницу Измайлово. Бронь была до 24-х. Коля объяснял что-то про самолет, для убедительности поставив пакет с белкой на ресепшн. Убедил.

– А вы что, разве разного пола? – администратор выглядела растерянно.

– С кем? С белкой? – я решила, что пора шутить.

– Мы просто подумали, что фамилия с окончанием на ...ко женская и у вас один номер. С разными кроватями.

Коля мне был не страшен в одном номере с разными кроватями. Но ночь с воняющим трио «мертвая белка+муксун+муксун»... Боюсь, что утром я получу технический нокаут и не приду на ассесмент.

– Холодильник есть там? – с надеждой спросила я.

– Безусловно, наш гостиничный комплекс – самый крупный в Европе... – начала девушка.

– Белке уже не важно. Пойдем, Коля!

Холодильник не находился. Ребята со всех городов уже заждались в соседнем номере. Белка воняла.

– Давай ее привяжем и в пакете вывесим в окно!

Я жила в студенческом общежитии и навыки присутствовали разные. Пока я искала у себя в чемодане пояс, Коля решил действовать. Большая голова давала больше скорости, чем стратегии, он привязал пакет с подарочным набором к телевизионному шнуру. 18-й этаж. Окно открывается... Если бы пакет опускался плавно... Коля, видимо, тоже устал и просто выкинул гостинец за борт.

Телевизор, знавший о законах физики явно больше Коли, рывком полетел следом со стола, придвинутого к подоконнику.

– Держи!!! – я, кажется, для убедительности добавила пару слов из лексикона общежития. Быстрый Коля поймал телевизор. Окно закрыли, и теперь наш пакет болтался одиноко на 18-м этаже самого большого гостиничного комплекса Европы. Ночью я проснулась от дикого рева холодильника, спрятанного в тумбу, внутри шкафа. Белка обрела покой. Боюсь, что не в коллекции Руслана, а в ближайшем к офису контейнере с мусором. Коля не прошел ассесмент и спокойно руководил офисом до самого его закрытия.

Город

Город казался целым миром, где дома были огромными, улицы – бесконечными, а деревья – да, деревья были большими. Карта этого мира прорисовывалась постепенно. Из постоянных островков, редких местечек и неизведанных земель. В основном прокладывать все пути-дороги приходилось пешком. Не спеша, в одной руке бабушкина ладонь, а в другой палочка, которой можно проводить по низеньким заборам палисадников.

Тот мой мир был с настоящими палисадниками, разбитыми перед окнами домиков для красоты. Деревянные штакетники или плотная сетка-рабица рождали разный звук от соприкосновения с моей почти дирижерской палочкой. Д-р-р-р-р – быстро трещала сетка, т-к-т-к-т-к – отзывались штакетинки.

Вот и дошли до мясокомбината, следующий ориентир – городская больница. Потом – «Новый гастроном» с автоматом за две копейки, чтобы позвонить, и другим – с газировкой и стаканчиком. Гастроном и правда новый, большой, с двумя отдельными входами, в одном продают хлеб и булочки, все наше, городское. Второй вход для продажи остальных продуктов. Заходим по дороге, если нужно купить сметану на развес в свою баночку или молоко в треугольниках. И дальше, мимо поликлиники взрослой, потом детской.

В детской работает участковый врач Марья Ивановна, которой я, еще совсем маленькая, показала «кулачок» и пообещала принять меры, если будут вмешательства. Теперь она мне про это всегда напоминает, и мне становится немножко стыдно.

Два вокзала со своей отдельной жизнью, слишком суетливой для обычного ритма вокруг, но без них никак. Отсюда уезжают подросшие дети учиться, сюда приходят поезда из самой Москвы, а на автобусах в центр добираются жители всего района.

Вот и родительский дом. От него другие дороги – к универмагу и «Старому гастроному», а еще к горсаду с бесконечным источником радостей летом – аттракционами и комнатой смеха. Дальше ходим редко, только на праздничных демонстрациях или в Дом культуры.

Отдельная история – это бани. Их много, и они носят названия районов. Маленькая и не очень любимая железнодорожная – никаких дополнительных радостей, просто пришел, помылся и ушел. Ишимская с очередями в женском отделении, но зато круглогодично можно купить лимонад (тоже местный) и посмотреть, как работает парикмахер. Лесозаводская – чужая, там бываем редко, когда «наши» закрывают на ремонт. Там свои старожилы, но лимонад, кстати, тот же самый. И, наконец, МКК, самая желанная. После нее обязательно – в кафе-мороженое.

Любой человек, который не пробовал наше мороженое, просто не пробовал мороженое. И это не патриотизм, это абсолютная правда. Рассказать о нем невозможно, но такого больше никогда и нигде мне не встречалось. Свежайшее, оно красивыми бороздками тянется в железную креманку, и именно так получается детское счастье. А, да, еще сироп или тертый шоколад.

Кроме мороженого в списке удовольствий есть кинотеатры: «ЖД», «Юбилейный» и старенький в роще, куда водят всем детским садом. Любимый фильм «Этот безумный, безумный, безумный мир» просмотрен больше пяти раз. Боюсь сейчас пересматривать, вдруг уже не будет так смешно, и спугну те хрупкие воспоминания. Из «Юбилейного» путь через старое кладбище и единственную Успенско-Никольскую церковь, бело-голубую, очень красивую снаружи и особенно внутри. Не торопясь, опять подбираем палочку для заборов – и на Ватутина, в «архивные» дома. Там по высоким-высоким ступенькам карабкаюсь на второй этаж, где уже видны краешки большущих дяди Колиных резиновых сапог возле девятнадцатой квартиры. Стоят на коврик у двери, на своем месте, со

времен моих самых первых воспоминаний. Значит, все в порядке, и есть в мире стабильность. А палочку я припрятала за почтовым ящиком, чтобы завтра не искать новую...

Дворы

Дворов было два. Первый, где жили родители, на улице Вокзальной, крошечный, с тремя кустами нежно-лиловой сирени, лавочкой для бабушек и песочницей. Точнее, кучей песка, которую каждую весну привозил чей-то папа на небольшом грузовике и высыпал горкой на радость рыжего худущего кота Васьки. Да еще тонкая ленточка асфальта за домом. На ней рисовали неширокие квадраты классиков или прыгали «в резинку».

Бабушкин двор на Ватутина был раздольем. Самодельные, сваренные качели, карусель, большой домик-веранда с надписью «Теремок», даже предупреждающая огромная железная картинка «Не кури в постели!» на боковой стене общих сараев была с любимыми волком и зайцем из «Ну, погоди!». Имелся еще загадочный аттракцион в виде резинового колеса с железными опорами, на котором можно было бегать, не сходя с места, как на беговой дорожке, а внутри, для еще большей затеи, был помещен колокольчик. Нигде больше такого чуда я не видела.

Самое же главное дворовое преимущество было в количестве детей. Не сговариваясь, вечером жители начинали собираться группами по интересам. Бабульки рассаживались на лавочки возле второго подъезда, мужчины – возле гаражей, женщины реже и как-то стихийно, на бегу останавливались и так могли простоять уже долго. Мы же ребячьим ручейком стекались за дом на ровную площадку. Если встречались пораньше, то могли начаться «Казачи-разбойники», но чаще играли в «12 палочек».

На кирпич клали ровную доску, так, чтобы один край был наверху, а другой – внизу. Искали 12 примерно ровных палочек или разламывали средней толщины прутик. Складывали их на лежащий конец доски. Дальше – считалка. «Ехала машина темным лесом, за каким-то интересом...», если совсем много народа, то «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – царь решил меня повесить, я висел, висел, висел – ветер дунул – улетел», «На золотом крыльце сидели...», классика, без нее – никак. Тот, кому водить (галить по-нашему), чаще всего встречает свою судьбу недовольным: «У-у-у-у!» Попал на весь вечер.

Мощный удар по высокому краю доски – и палочки взлетают, чем сильнее – тем дальше будет собирать горемыка водящий, и дальше мы разбежимся, чтобы спрятаться. Самое страшное – за домом в высоких лопухах.

Зажимая себе рот ладошкой, чтобы не взвизгнуть от вида жуков или пауков и расчесывая другой рукой ужаленную крапивой ногу, сижу, стараясь не дышать громко. Краем глаза вижу еще двоих отчаянных, кто не побоялся обжечься. Вот и застучали первого, не побежал далеко, а втиснулся между гаражами. Места все известны, играем не первое лето, но сердце все равно бешено колотится, когда «галя» смотрит в твою сторону. Вот бы зеленую футболку, чтобы сливаться с травой, и брюки вместо платья – от крапивы. А еще лучше шапку-невидимку. Лет десять назад я прочитала про доказательство возможности создания эффекта невидимки за счет провала в световом потоке. Вот бы мне туда этот провал в мои лопухи и крапиву.

Выдыхаю – пошел в другую сторону, и уже несутся наперегонки до заветной доски ведущий и тот, кого нашли. Застукан. Не нашли только меня (все-таки провал?) и еще одного хитрющего мальчишку, который залез на крышу гаража и лежит спокойно почти на виду. Пора! Срываюсь и несусь, щелкая сандалиями по асфальту под одобряющие вопли найденных товарищей. Если разобью палки – все свободны и новый круг!

Навстречу летит «галя». Успеваю прыгнуть на край нашей конструкции, вижу, что вместе с двенадцатью легкими палочками взмывает вверх и сама доска и летит мне ровно в лицо, ударяя по губе. Стоп-игра. Я герой. Стараюсь не реветь, но слезы сами текут, все-таки хорошо, что платье, удобнее утираться. Кровь. «Шрамы украшают...» – кто-то недоговаривает фразу, пытаюсь меня успокоить.

Тридцатое августа. Мне семь лет. Послезавтра – первый класс. Пойду украшенная. Без нескольких зубов, потому что выпали, зато с огромной разбитой губой и ссадинами. Фотографии жалко нет. Не взяли на общее фото 1 «Б». Зато безоговорочно приняли в компанию мальчишек-одноклассников. Шрамов не осталось, но последнее дошкольное лето отпечталось в памяти крепко. И по-прежнему звонко щелкают стертые зеленые сандалики по теплому щербатому асфальту.

Вокзальная

Общежитие болгарского типа имело четыре этажа и стояло ровно напротив автовокзала. «Уважаемые пассажиры, рейс номер ... маршрут ... отправится через» – врезалось в мой мозг с младенчества вместе со стуком колес поезда и звоном посуды в серванте. И зимний запах железной дороги. Так вкусно! Я тогда еще не знала про креозотную пропитку, просто так пахло мое детство, и все.

Железнодорожный вокзал был тут же, немного правее. «Уважаемые пассажиры» я считала одним словом, почему-то оно мне казалось названием толстых и солидных людей, которых ждали самые разные города. Худых и тощих шкелетин, как я, туда не звали. Зато меня всегда звали и ждали мои соседи по большой площадке третьего этажа. Семь квартир и множество детей самого разного возраста. В долгие темные вечера зимой мы выходили в коридор и там устраивали игры в «вышибалу», «монах в красных штанах», жмурки и прятки. Самой адреналиновой задачей было постучать в семнадцатую квартиру к худой (тоже шкелетине) и сутулой бабе Маше мячом. Убежать быстро и спрятаться в проемах своих квартир.

Баба Маша умела говорить красиво, громко и убедительно. А главное, чистым матом, что мы особо ценили. После того, как ее зеленая дверь закрывалась, и оставался островатый запах перегара, мы хохотали до икоты. Думаю, что бабе Маше это тоже нравилось, потому что прятались мы не особо затейливо, а она неизменно в этой игре принимала участие.

Там же, в нашем коридоре, я получила первый шрам. На лбу. Врезалась в косяк и рассекла кожу. Крови было много. Мои сотоварищи постучались к нам и сдали меня молча и сопя маме. «Тимур, смотри, у нее нет глаза!» – мама убежала от страха. «Баскооо! Теперь я буду ходить в повязке!» – мне было не больно, а от образа в новых штанах-бананах из плащевки и в черной повязке на левом глазу перехватило дух. Глаз оказался на месте, зато появился шрам, вполне достаточный для авторитета в детском саду среди мальчишек.

Вред здоровью случался в нашем коридоре не единожды. Был и массовый случай. Когда Дания, очень взрослая и серьезная дочка учительницы истории из восемнадцатой квартиры, вышла выкинуть испорченный виноград. Виноград! В маленьком сибирском городке даже летом – это было чудо. Испорченный мы быстро определили как слегка несвежий. И съели. Как мы уговорили Данию нам его отдать, я не помню. Но помню, что домой разошлись в тот вечер быстро. Правильнее сказать – бегом. Радуюсь, что наше общежитие было квартирному типу, и туалет у каждого имелся свой.

Любимый дом по адресу: г. Ялуторовск, ул. Вокзальная, 3. Кто будет рядом, легко найдете, он стоит между двумя вокзалами. Проверьте, может там все еще живет оно... мое счастливое детство.

Теплица

Даша положила розы на переднее сиденье рядом со мной. Ее букет оказался рядом с моими лютиками (настоящее их название я никак не запомню). И мы поехали к подруге на день рождения. Лютики почти не пахли, а вот розы... Он были не неживыми, которые привозят самолетами и обрабатывают до состояния искусственных. Они были тепличными. И запах, который поплыл по салону, моментально отправил меня в детство.

Теплица стояла на окраине города. Район этот назывался Болото и славился своей березовой рощей, посаженной декабристами и превращавшейся в золотую сказку с началом осени. Наверное «на Болоте» эта сказка была единственной. Но у меня, маленькой девочки пяти лет, была еще одна, своя собственная. Дедушка устроился в теплицу сторожем и дежурил ночами и на выходных.

Первый раз, когда я зашла в это огромное стеклянное помещение, то замерла от запаха. Теплый, мягкий, бархатистый и влажный – так пахла плодородная земля, свежие и упругие листья растений и, конечно, розы. Их аромат лежал пластом над всеми остальными, был самым тонким и сильным одновременно, казалось, что его можно потрогать или даже откусить, как красный восковой помидор – украшение, недавно подаренный бабушке и уже отмеченный следами мелких детских зубов.

Помню, как от восторга я побежала. Это был мой основной способ передвижения в детстве, стоя я точно бы не смогла справиться с эмоциями. Сандалии, которые мы взяли на сменку, оказались слегка малы, пальцы задевали дорожки. Я же носилась и нюхала все вокруг, как обезумевший охотничий щенок, первый раз попавший в нагонку. Когда силы стали заканчиваться, я увидела, что цветы везде. Роз было так много, разноцветных и разноразмерных, что ощущение реальной зимы за стеклянными стенами и только что снятой шубы с ремешком и валенками пропало. Я представляла себя Гердой из волшебного сада доброй старушки, королевой роз, просто королевой и Алисой в стране чудес. Я поняла, про что пела Пугачева, и перестала жалеть бедного художника. Если он смог подарить такое – то он волшебник. Я танцевала, пела, нюхала бутоны, трогала листья и, что было уж совсем не по-королевски – съела молодой огурец размером с мизинец. О чем потом горько плакала и признавалась дедушке. Даже не знаю точно, была ли я в этом месте второй раз, если да, то все слилось в один самый яркий случай и навсегда запечаталось в моей памяти. И теперь, когда мне дарят мои любимые розы (лучше тепличные), я на секундочку закрываю глаза и бегу в свою сказку за самыми волшебными эмоциями.

Коньки

Катка в моем дворе не было. Одноклассники, которые жили в районе кинотеатра «Юбилейный», каждый день воодушевленно рассказывали о вечерних катаниях и хоккее. Складывалось ощущение, что праздник жизни проходит мимо меня. Такую мировую несправедливость я терпеть не собиралась никак. «Самое главное – найти коньки! Будут коньки – будет и катание. Лыжни ведь тоже нет рядом, а на лыжах я все равно хожу. Просто вокруг дома и по сугробам».

Детское мышление обладает магическим свойством. В первом-втором классе мне казалось, что я умею все. Просто не все хочу. Я искренне верила, что могу говорить хоть по-немецки, хоть по-татарски. А то, что меня не понимают – так это люди не умеют именно понимать на иностранном языке. Управлять автомобилем, быть изобретателем, ходить на руках и выступать в цирке, петь или танцевать – в моем представлении все определялось: хочу или не хочу. «Не могу» еще просто не выросло.

Коньки казались совсем легкой задачей, тем более стараниями бабушки я регулярно окультуривалась фигурным катанием по первому и второму каналу черно-белого телевизора «Весна 308». Модель 308, кстати, только научившись читать, я превратила в слово «зов» и с тех пор считала, что телевизоры называются «Весна ЗОВ» – нелепо и бессмысленно. Там, во взрослой жизни, многое было лишено смысла.

День рождения отмечался только раз в году, банки с вишневым и персиковым компотом стояли в кладовке до праздника. Вкусные витаминки давались для здоровья только по одной, хотя было абсолютно понятно, что чем больше съешь, тем здоровее станешь. Только потом чешется все тело безумно, видимо, от избытка здоровья.

Логическую цепочку «коньки-каток» я точно не улавливала. Пройдя по соседям, добыла белые ботинки с затупленными лезвиями размера на три больше нужного. Самостоятельно зашнуровав их сразу дома, я отправилась в путь. С третьего этажа идти было трудно. Труднее даже, чем в маминых туфлях на каблуках, но принцип передвижения достаточно схож. Выбравшись во двор, я раскинула картинно руки, подняла одну ногу и рухнула рядом с крыльцом. «Сразу видно, что размер неподходящий и ненаточные», – объяснила я свое поражение словами поделившейся соседки. Пройдя почетный круг по двору, я поняла, что катание не выходит. «Палки! Мне нужны лыжные палки». Очевидно же, что с ними будет удобнее. Доковыляв до квартиры и обратно, я уверенно пошла на остановку. Переживать в одиночку свой успех было невозможно, и я поехала обрадовать бабушку.

Люди в небольшом сибирском городке были не избалованы событиями, наверное, поэтому девочка в шубе и лисьей шапке на резинке, шагавшая странными шагами в огромных коньках по автобусу второго маршрута, опираясь при этом на лыжные палки, вызвала молчаливый ступор. Потом начались смешки. Но я всегда была готова к успеху и уселась с гордо поднятой головой, специально вытянув ноги в проход. На возражения бабушки – коньки отдельно, палки отдельно – я отвечала: «Почему? Ведь так удобнее! Вот ты все время скользишь зимой, возьми мои палки и попробуй!» Бабушка сказала, что люди ее на смех поднимут. Где такое видано – с палками и без лыж...

Прошло 30 лет. Скандинавская ходьба набрала такой оборот, что реже видишь бабулек без лыжных палок, чем с ними. На каток я впервые

попала в двадцатилетнем возрасте и уже совсем без волшебной детской веры в свои безграничные возможности. Но зато, когда я встаю на каблуки сантиметровой этак десять – поверьте мне, не иначе как та детская тренировка ведет меня уверенно и ровно. «Фигурное хождение» – одним словом!

Гитарист

Искать приключения – мое кредо. Когда привычные направления поиска исчерпаны, на ум приходят весьма неожиданные.

Перечитав несколько раз название конкурса «Осиянная Русь» и посмотрев значение первого слова, я решила: иду! Стихи пишу давно, читать никому особенно не даю. А тут и масштаб подходящий, и антураж, судя по названию, присутствовать должен.

Мне всегда казалось, что поэты выглядят по-особому, образ вырисовывался романтично-загадочный. Осиянный, короче говоря. Платье было выбрано в пол, с рюшами, небесно-голубого цвета в нежнейшую клеточку. Волосы распущены, глаза закаты (или закачены – не знаю даже, как поэтичнее будет) вверх. И пошла, пошла такими небольшими шажочками. Ни дать ни взять – девушка-поэтесса.

Народ в парке подобрался соответствующий. Дамы с благородной, слегка фиолетовой сединой, другие – тонкие и гибкие, неопределенного возраста, но с полными отрешенности от всего земного лицами. Кавалеры в светлых костюмах, некоторые даже в шляпах и с тросточками. Все друг друга знают, беседуют, обмениваются последними поэтическими новостями. И тут я образно врываюсь в парк и начинаю от смущения прогуливаться по кругу. Стараюсь не слишком заметно поглядывать вниз, на дорожки, чтобы не рухнуть. Вот интересно, думаю: а благородных девушек наверняка же учили красиво падать. В обморок, например. Ну или просто на землю?

Началось. Меня вызывают первой. Я читаю свои произведения. Замечаю участие на лицах профессионалов и особо горячие аплодисменты от странно нестарого человека с гитарой. Откланиваюсь и осторожно усаживаюсь на край узкой длинной лавки, расставляю рядом бутылку воды, блокнот (мало ли, новый стих родится в процессе, у поэтов же так бывает), очки, рюкзак. Разместилась, наконец. Пока слушаю других стихотворцев, понимаю, что любить стихи, писать стихи и слушать, как другие люди читают стихи – это три абсолютно разные занятия. И, похоже, слушать – не самое обожаемое мной. А еще то, что пишу я, имеет одно преимущество точно – это краткость (без отсылки к таланту, просто краткость). Когда стало понятно, что ограничивать нужно не количество стихов, а время их звучания, поэты неожиданно закончились.

И вот на сцену идет «мой поклонник» гитарист. Ну, это я так его называю про себя, должны же девушки в образе иметь поклонников. Долго объясняет, что сейчас прозвучит «что-то фолк какое-то». Потом я поняла, конечно, почему долго. Потому что предупредить надо. Народ-то душевно ранимый собрался.

Вдруг он запел. Или как это точнее назвать? Не знаю. Спящие в колясках дети гуляющих мам (а под долгие рифмы спится прекрасно) нервно и громко проснулись. Народ замер. Звуки тревоги – они же сигнальные, еще на неосознаваемом уровне заложены в нас. А тут тревожиться явно было от чего. Хотя бы от громкости.

Я вздрогнула, дернулась на неустойчивой лавке, потеряла равновесие (и душевное, и телесное) и полетела назад вместе со скамейкой и всеми вещами, которые ровно расставила возле себя. Падать пыталась красиво, вспоминая благородных девиц и отчаянно стараясь не материться.

Фолк-певец умолк. «Может, мне больше не петь?» Странно, что он может говорить человеческим голосом. «Ага, блин, никогда, причем», – сказали бы честные люди. Но я же воспитанная. «Ну что Вы, что Вы! Это я от восторга!» – отвечаю, представляя масштабы синяков на спине и попе. Понятно же, куда хотела приключений, туда и получила.

Место я никакое не заняла, оказалось, что это был фестиваль, а не конкурс. А гитарист, думаю, с тех пор может хвастаться: «Вы знаете, от моего пения девушки обычно просто падают!»

Рамазан ШАЙХУЛОВ

Зеркало

Старый, добрый, уж изрядно обшарпанный, темно-желтый наш шкаф. Последние годы ты сиротливо стоишь у двери, в темном углу холодных сенцев. Я помню каждую трещинку на твоих боковушках, каждый изгиб на фанерных накладных орнаментах. Твой нутряной запах... Через отшелушившиеся слои краски, как метки памяти, проглядывают пятна того родного первоначального цвета. Края твоей дверцы, ручки выдвижных ящичков засалены бесчисленными прикосновениями наших рук, рук наших детей. Сейчас ты старомоден, твое место занял безликий, лакировано напыщенный, равнодушный современный шкаф. И сегодня ты обиженно скрипишь заржавевшими от сырости петлями дверец и хранишь в своем чреве ненужный хлам...

Каждый раз, нежно прикасаясь к твоим фанерным узорам, к четвертушкам балясин по периметру зеркала, к точенным на токарном станке ручкам ящичков, я чувствую тепло папиных рук, его вдохновение... Чувствую пульс времени, пульс прошлого...

Наш дом в деревне, в котором я родился и рос до пяти лет, отличался от других домов тем, что во дворе, напротив кухонного окна, росла высокая ель. За елью с тыльной стороны дома было пристроено крыльцо, ведущее в сени, и как продолжение сенцев с обратной стороны крыльца располагалась папина мастерская. Здесь он в свободное от школьных уроков и хозяйственных хлопот время мастерил, столярничал.

Когда он начинал какое-либо новое дело, то работал неистово. Как только там раздавался свист рубанка, стук топора, оставив уличные игры, я бежал под это полуоткрытое пространство, увешанное инструментами, кипами сложенных в навесе под потолком сохнувших заготовок и множеством интересных для мальчика деталей. Здесь появились на свет мои любимые игрушки: фанерная копия грузовика ЗИС-5, на котором можно было катать малыша, копия истребителя Як, самокат с подшипниками вместо колес и многое другое.

Энергично передвигаясь по мастерской, потряхивая черными, как смоль, кудрями, неизменно щурясь при подгонке деталей и насвистывая любимые мелодии, он ловкими движениями большим фуганком строгал доски и рейки. Помню, как росла на верстаке и падала на пол горка чудно пахнущих свежей древесиной, тонких, прозрачных, спиральных стружек. Как тонким фонтаном летели из-под лучевой пилы мелкие опилки. Как методично и четко стучали долото и стамески, вынимая из заготовок пазы и проушины.

Но особенно мне нравилось, когда он, присев на край верстака или чурбана с прикрученными тисками, отдыхал. В эти минуты он с любовью разглядывал сделанное, его зеленые глаза светились задором и энергией. На рубашке проступали пятна пота, он прерывисто дышал и улыбался. И в эти паузы он, наконец, обратив на меня внимание, доставал из-за уха карандаш и начинал на обрезке доски или фанеры рисовать для меня рисунки-загадки или писал буквы и учил складывать слоги.

Много мебели и хозяйственной утвари он сделал в этой мастерской. Но мне все же больше запомнилось, как был сделан этот шкаф. Как он обшивал его остов сзади и по бокам фанерой от разобранных ящиков из-под грузинского чая. Как выпиливал лобзиком орнаменты и точил на токарном станке с ножным приводом балясины, ведь в то время в нашей деревне не было света, и все инструменты были ручными.

Верх шкафа он украсил орнаментами, внизу вмонтировал три выдвижных ящичка, а по центру навесил дверцу. Затем покрасил в приятный желто-охристый цвет, который тоже был природным – в руднике, что по дороге из города в деревню, раскапывали охру, сушили, долго мельчили, перетирали и, размешав олифой, красили полы и мебель.

С тех пор как этот шкаф занял свое место в большой комнате, он стал главным предметом мебели в нашем доме. Здесь на перекладине висели на самодельных плечиках пальто, плащи и костюмы. Внизу под ними кипы белья. В выдвижных ящичках – шерстяные носки, варежки и другая мелочь. А на самом верху, как на самом недоступном месте, родители хранили вещи, доступ к которым был нам запрещен, и поэтому оно было самым таинственным, загадочным и самым интересным для нас.

В шкафу мы прятались во время игр или я, обидевшись на кого-то, зарывался между пальто, закрывал за собой дверь и долго сидел в темноте, вдыхая запах сукна, кожи и меха. Обижаясь на весь свет и угрожая, что вот умру здесь, а вы все будете жалеть о том, что вовремя не нашли меня, не поняли, не пожалели, и вот...

Но самым главным и интересным для меня в шкафу было вставленное в дверцу на уровне груди взрослого человека зеркало. Раньше это зеркало висело высоко на стене и скучно отражало одно и то же. Но вот папа вмонтировал его в дверцу, и оно зажило совсем другой жизнью.

При открывании дверцы на зеркале феерично отражалось все окружение, возникали подвижные картинки. Тогда еще не было телевизоров, поэтому эти меняющиеся картинки завораживали. Я мог просто так водить дверью, двигая ее туда-сюда, рассматривая эти стремительные отражения. Вот прошла мимо с неизменным вязанием в руках бабушка в белом платке. Ее отражение послушно скакнуло, подчиняясь рывку моей руки, и вот уже на зеркале появились отражения кухонной печи, и за окном наша зеленая ель, мама у печи.

Но когда дверь была полностью открыта, то на месте этого иллюзорного пространства возникали скучно висящие в полумраке тривиальные одежды, как будто утверждая с насмешкой: «А чудес и не бывает!» Исчезало пространство. И я все время пытался заглянуть за фанеру, которой папа обшил обратную сторону зеркала – мне не верилось, что там ничего нет. Мне казалось, что все эти отражения прячутся за этой противной фанерой и живут там своей сказочной, таинственной жизнью.

А еще теперь я мог, выдвинув среднюю задвижку, встать на нее, топчась ее содержимое, и видеть внизу зеркала отражение своей макушки, глаз и чуть-чуть носа. А если вставал на носочки на боковые доски ящичка, то на несколько секунд, пока мог терпеть боль от врезавшихся в стопу жестких торцов досок, мог и увидеть свое удивленное и искаженное от боли лицо.

Теперь свой рост я мог определять по отношению к этому зеркалу. Вот уже перед переездом в другую деревню я мог с пола на носочках видеть свои глаза, а если вставал на тот же выдвижной ящик, то и все лицо.

И вот однажды зеркало поздним зимним вечером отразило такую сценку. Папа, поужинав, сел у керосиновой лампы проверять школьные тетради. От лампы на всю кухонную стену падала большая подвижная папина тень, слышался стук пера о дно чернильницы и ее скрип об ученические тетради. Чуть дальше от стола на кровати, склонившись над рукоделием, тихо напевала мама. Ее белое, приятно круглое лицо, с большими карими глазами красиво подсвечивалось лампой.

Но эту идиллическую картину испортил я: папа вечером, на мою беду, торжественно занес новенькие лыжи с палками домой, которые с осени мастерил для меня. Высушил заготовки из липы, долго строгал, резал. Гнул носочки над паром в бане, подгонял, шлифовал, пробил стамесками поперек прямоугольные отверстия для ремешков, из лыка свил ремешки. Лыжи получились легкими и изящными. Он хотел, чтобы я их утром опробовал.

Но мне не терпелось. Надев лыжи, громко стуча ими по деревянному полу, я стал представлять себя катающимся. Папа раз попросил не шуметь, два. Но я так увлекся игрой, так не хотел расставаться с лыжами, что пропустил мимо ушей очередную его просьбу. Он, вконец разозлившись, вскочил: на меня надвинулась его большая, стремительная тень. Он снял лыжи, отшвырнул меня к кровати и, сломав об колени и лыжи, и палки, бросил обломки в печь с горящими дровами...

Как-то утром зимой я проснулся от резкого лесного запаха и с удивлением обнаружил у печки еще лежащую на боку елку. Покрытая морозным инеем, она начинала оттаивать, издавая хвойный экстракт, щекочущий нос. До Нового года было еще далеко и, как выяснилось, папа решил таким образом отметить мой первый маленький юбилей – пять лет. К вечеру елка была увешана блестящими новогодними игрушками.

Мальчики во дворе соорудили из снега большую горку, полили ее водой, на вершине красовалась еще одна елка, украшенная самодельными бумажными и картонными игрушками. И вот четырнадцатого декабря со всей деревни ко мне в гости со своими мамами пришли мои ровесники. Поужинав вкусностями, приготовленными мамой, мы под аккомпанемент папиного баяна водили хороводы, пели детские песни, играли. И в тот день мне почти все подарили одну и ту же книжечку – детские стихи на башкирском языке, потому что в деревенском магазине других подходящих подарков и не было.

Часто зеркало шкафа и остекленные дверцы буфета по вечерам оказывались облепленными фотографиями, это папа их так глянцевавал. К утру они с тихим треском начинали отклеиваться и опадать. К нашему пробуждению пол у шкафа был усеян блестящими свежими снимками. Я подбегал к ним, собирал их, как опавшие листья, и с восторгом рассматривал. Вот на одной из них я стою у папиной картины, одетый в свою любимую темно-зеленую «шинельку», перешитую мамой из старого ее жакета. На голове шапка с самодельной кокардой, картонные погоны, ремни крест-накрест, а на пояском ремне висит «кобура» – пустой футляр от фотоаппарата «Смена».

Только вчера в затемненной бане при красном свете папа их печатал. Внутри фанерного ящика стояла керосиновая лампа, сбоку ящика был прикручен объектив, фокусирующий изображение с негатива на вертикальную плоскость с фотобумагой. С противоположной стороны объек-

тива было проделано отверстие, застекленное красным стеклом, дающим свет для ванночек с растворами проявителя и закрепителя.

Я видел, как папа этот снимок долго кадрировал, по миллиметру двигая стоящую фанерку с фотобумагой, наводил резкость. И на ней отображалось мое изображение, где вместо белого лица был темный овал, вместо темных глаз – белые отверстия, а темные шапки и шинель были белыми. При тусклом свете лампы он долго считал и, прикрыв объектив красным стеклышком, вынимал фотобумагу из рамочки и опускал ее в ванночку с проявителем. Так были напечатаны все фотоснимки нашего детства.

Но вот летом родители по частям стали перевозить наш скарб на новое место жительства, и как-то в доме остались лишь матрацы и одеяла, на которых мы спали на полу, цветы на подоконниках и крупная мебель. Шкаф остался в большой комнате один и отражал пустоту...

Помню, как долго я сопротивлялся этому переезду. Глупый, как будто мои капризы и рев могли что-то изменить. Но я не мог представить себе другую жизнь в другой деревне. Без своих соседок-ровесниц, без игр с ними на лужайке у околицы деревни, без березы-качелей, к которой я водил их, при этом наяривая на игрушечной гармошке мелодии, и они, подражая своим родителям, орали «пьяными» голосами песни.

Не мог представить, как жить без этих милых сердцу картинок, когда солнце, очертив свой дневной путь, подрумянившись, приблизится к закату и тихо, подсвечивая белые облака, начнет садиться за пригорком Сатра, который упирается в хребет Зильмердак. Тени от танцующих на поляне берез удлинятся, направив свои вершины к деревне. И тень от хребта полностью накроет нашу маленькую улочку, перешагнет через ложбинку, по которой мы ходили в папину школу, и достигнет второй, большей улицы деревушки. Но еще долго будет светиться румяным блеском гора Маяк с сосной-великаном на вершине и правее «длинная поляна» на пригорке, через который сельчане ездили в большой рабочий поселок. Как румяные лучи через щели на дощатой стене торца мастерской проникнут внутрь, веером подсвечивая поднявшуюся пыль. Полосами осветят полки с инструментами, папину спину и, скоро помутнев, погаснут. В деревне постепенно замолкнет мычание коров, фальцет телят, кудахтанье кур и дома, заборы, кусты черемухи и калины в садах осеребрятся вечерними сумерками, выпадет обильная роса. И когда, наконец, погаснет небо над Зильмердаком, и дугообразные, плавные изгибы вершины хребта сольются с темнотой неба, над деревней рассыплются звезды. Загорятся красным отблеском от керосиновых ламп окна, с полян и пригорков, что вокруг деревни, зазвучит перезвон кутазов.

Но ничто не вечно... Мы со слезами на глазах прощались с родной деревней... Потом все остатки домашнего скарба погрузили уже в настоящий ЗИС-5. Забрались в кузов и мы.

Я сидел с мамой напротив шкафа и видел, как зеркало отражает небо, калейдоскоп из пронсящих мимо деревьев и на последнем повороте и спуске с горы прощальное перевернутое отражение сосны-великана – символа нашей деревни... Всю дорогу я смотрел на дрожащие, стремительные отражения. Когда поднимались в гору, отражения менялись медленно, лениво, почти застывали, под гору – сливались в одно пестрое полотно. Я засыпал, просыпался, опять засыпал... И когда окончательно проснулся от наступившей вдруг тишины – зеркало уже отражало другие горы, другое небо...

Шло время. В этой деревне шкаф занял новое место и отражал уже более яркие картинки – здесь был электрический свет. Здесь я пошел в первый класс и уже мог с шаловливыми двоюродными сестрами спокойно стоять перед зеркалом и видеть свое лицо, строить с ними всякие рожицы и хохотать. Потом уже мог с гордостью разглядывать пятиконечную звездочку, приколотую на лацкан моего школьного пиджака, и нашивку «Отличник».

И уже теперь не вспомнить, не восстановить в памяти тот момент, когда впервые, глядя на свое отражение, я стал мучительно задумываться: а кто я такой, почему такой, почему у меня такие глаза, нос, губы?

Может, это было, когда я впервые вышел в новой деревне знакомиться с уличными мальчиками и на их вопрос: «Кем хочешь стать?» опрометчиво ответил: «Композитором». А все они хотели стать моряками, летчиками, танкистами. А тут – композитор! И тут же расхохотавшись, они мне приклеили обидную кличку – «Компанист». Я ответил так потому, что, еще не умея разговаривать, в точности воспроизводил все окружающие звуки: скрип двери, звук упавшей ложки, жужжание бабушкиного веретена. А сейчас мог на баяне подбирать простенькие мелодии, поэтому папа говорил: «Мой сын будет композитором!»

Я вглядывался в свое лицо, стараясь понять: почему я не такой, как эти мальчики? Они везде носились босиком, не обращая внимания на комья засохшей грязи, камушки, стерню от скошенной травы, крапиву, в то время как я не мог и шага ступить без сандалий. Они по-другому разговаривали, быстро соображали, ловко забирались на заборы и деревья, никого и ничего не боялись, дрались и обидно дразнились. Среди них я всегда себя чувствовал белой вороной, неженкой, и поэтому с тех пор мне всегда казалось, что я не так хожу, не так стою, не то говорю... Я хотел быть похожим на них, но и не мог быть таким, как они.

Особенно я отдалился от этой уличной ватаги, когда на лето к нашей соседке стал приезжать из города ее внук, ни слова не знавший по-башкирски. Меня время от времени учил русскому языку папа. Этому мальчику не с кем было играть. Как-то он подошел ко мне, и мы стали вместе играть. Нашли общий мальчишеский язык, и в игре методом «делай, как я» он стал учить меня русскому языку. «Я падаю», – говорил он и падал на траву, «я ползу» – и полз, «я бегу», «я стою». Так к концу лета мы практически разговорились, стали неразлучными друзьями, и этот мальчик стал первым моим учителем русского языка.

И тогда по вечерам часто я стоял перед зеркалом, старательно повторяя новые слова и, чтобы это было точно, без ошибок копировал его гримасы, ужимки и жесты. Позже, довольно легко осваивая другие иностранные языки, я понимал, что этому способствовали вот эти уроки с городским мальчиком и что это и есть метод погружения при изучении чужого языка.

Но к началу учебного года он уехал домой, я опять остался наедине с уличными мальчиками.

Эх, зеркало, родное зеркало... Только ты видело мое истинное лицо в минуты обид и огорчений. Ведь когда ты еще толком и не знаешь, кто ты и что ты, любые опрометчивые слова, сказанные другими просто так, из шалости, из зависти или просто чтобы посмеяться над тобой, очень больно воспринимаются, и ты на самом деле думаешь, что ты такой, что это насовсем и ничего не исправить. Эти маленькие мальчишеские трагедии, тогда они, конечно, не казались маленькими...

Но шло время, менялось время. Незаметно для меня выросли, повзрослели сестры и скоро перед зеркалом стали кокетливо примерять свадебные наряды, потом уже стояли, разглядывая друг друга, обнявшись, счастливые пары. В доме появлялись новые люди – зятья, а потом и внуки.

А зеркало все так же старательно отражало, как я каждое утро завязываю красный галстук перед школой и вижу себя уже по грудь. И, возможно, оно удивилось, вдруг увидев во мне неожиданную перемену – глаза блестели необычным блеском, на губах блуждала таинственная улыбка, щеки горели, и я надолго застывал, глядя в одну точку и видя не себя, а улыбающийся образ белокурой, голубоглазой одноклассницы...

Теперь я разглядывал себя в зеркале не просто, чтобы понять, кто я такой и почему такой, а пытаюсь увидеть то, что может во мне понравиться или не понравиться ей. Мне казалось, что у меня слишком большие уши, маленький подбородок и в глазах телячьей неуверенности. Я разглядывал себя, пытаюсь увидеть черты мужественности и силы, но себя не обманешь: хоть я и подрос, но по-прежнему был хил и слаб. На уроках физкультуры не мог делать и половины того, что могли мои одноклассники, и это меня угнетало. Я мечтал о спортивной и сильной фигуре, чтобы понравиться ей. Но казалось, что это недостижимо и что придется всю жизнь терпеть насмешки, издевки одноклассников и недовольство родных, ведь в деревне нужны сильные и крепкие руки. И часто от мамы приходилось слышать: «Вот сыновья Сальмана уже наравне со взрослыми косят, а ты и косу в руках держать не умеешь...» От таких обидных укоров я уходил в себя и начинал привыкать к тому, что неполноценен, что моя доля быть всегда последним...

Но так было до тех пор, пока однажды во время покоса после очередных моих безуспешных попыток что-то сделать по хозяйству и насмешек по этому поводу сестер, зять более близкий мне по возрасту не вызвался со мной переночевать на сеновале и по-мужски, доверительно поговорить. На следующее утро мы с ним сделали турник, который я доставал с земли, и он показал мне упражнения для укрепления нужных мышц. Насыпал в ведра песка и показал, как их тягать. С тех пор я все свободное время проводил за перекладиной, по утрам стал делать зарядку и толкать ведра с песком.

Постепенно упражнения на турнике стали даваться все легче и легче, и я каждый раз поднимал перекладину все выше, а в ведра докладывал камни. К концу лета зеркало уже отразило наметившиеся мышцы и какую-то твердость в «телячьих» глазах. Через год на физкультуре в строю я стоял третьим и уже многих обогнал по силе и ловкости. Уже тогда с удивлением стал обнаруживать в зеркале, как постепенно пушок под носом и на подбородке становится все жестче и чернее, и тогда сестра уже смеялась не над моими хилыми мышцами, а над тем, как все густеет и меняется мой голос, крепнут плечи.

Теперь моя макушка в отражении упиралась в верхний край зеркала, и на пришкольном стадионе на виду у всех отдыхающих мы с самым сильным одноклассником соревновались на перекладинах – кто красивее выжмет клепку одновременно обеими руками или больше прокрутится после маха, больше подтянется. И зеркало часто стало отражать небольшие ссадины, синяки после разборок и драк за ту голубоглазую...

Наш старый, добрый шкаф, глядя на то, как добротен ты сделан, я понимал, как нужно умело, как папа, выполнять любую работу, как много

надо уметь. Сила в мышцах придавала уверенности и во всем остальном. И вскоре сначала вместе с папой, а потом и сам я стал делать всю домашнюю мужскую работу, мастерить, столярничать. Когда уже переехали в новый дом, где наш шкаф и занял это место в сенцах, потому что для нового дома купили новый шкаф, я поменял всю электропроводку в доме и во дворе. Вместе с папой переставляли перегородки, ремонтировали и переделывали двери, окна, ворота. Заново обустраивали весь дом, чистили, скребли и красили. И тогда зеркало шкафа уже в полумраке сеней отражало мои счастливые глаза, потому что все получалось, все ладилось.

Но не всегда я оставался довольным своим отражением...

Весною нужно чистить покос от зимнего мусора. Надо убрать упавшие за зиму деревья и ветки, сжечь остатки сена с оснований стогов, прибрать разобранные зимой жерди с изгороди вокруг них. Я на мотоцикле с коляской приехал на покос и полдня возился, вдыхая свежий, насыщенный прелой травой воздух и слушая щебет птиц и перекличку кукушек. Когда же, закончив работу, поехал домой, на крутом подъеме мотоцикл забуксовал, и тяжелая коляска увлекла его в глубокую сырую колею. Мотоцикл намертво сел на раму коляски и ни на сантиметр не смещался вперед, буксующее заднее колесо все больше и больше зарывалось в мокрую глину.

Когда я уже изрядно вспотел, устал и отчаялся, наконец увидел невдалеке упряжку. В телеге сидели старый лесник и его помощник. Я побежал к ним навстречу и стал просить о помощи. Но они не замедлили рысцу лошади и не подумали помочь, а, беспечно улыбаясь, проехали мимо. И только злость на них, наверное, помогла мне вытолкнуть мотоцикл и продолжить путь.

Через какое-то время этот самый старый лесник пришел к нам домой, прося моего отца написать какую-то важную бумагу. Но папа после вчерашнего застолья сильно болел и не мог ему помочь, поэтому стал заставлять сделать это меня. Я наотрез отказался, бросив ошеломленному старику, мол, а вы тогда в лесу мне помогли?! Никакие уговоры мамы и просьбы старика не могли заставить меня взяться за ручку. И поникший старик, сгорбившись, молча прошел мимо зеркала, и его грустный профиль отразился рядом с отражением моего негодующего, замкнутого и гордого в своем непослушании и упрямстве лица. Тогда мама еще долго корила меня за это, а папа сказал просто – это хорошо, что умеешь стоять на своем, но старым надо помогать. Прошли годы, и мне до сих пор стыдно за это ненужное упрямство и уж совсем детскую месть.

Но время несетя неумолимо, накладывая свои отпечатки на все окружение. Вот и шкаф посерел от пыли, давно на нем не обновлялся слой краски, и он стал шелушиться, трескаться. К окончанию школы моя макушка вылезла за край зеркала, мне уже надо было наклоняться, для того чтобы полностью увидеть свое лицо. И в один прекрасный день доброе, старое зеркало отразило меня одетого в нарядную белую рубашку и лицо с грустными глазами... С грустными потому, что тогда не мог и представить себе другой жизни – без привычной школы, учителей и одноклассников, друзей и подруг. Без школьного стадиона и спортзала, без лыжни и хоккея на замерзшем пруду. Без той из параллельного класса, с которой впервые целовался у высоких сосен на краю села...

И оказался пророческим тот сон бабушки. Она как-то увидела: весенним солнечным днем еще в той деревушке, где появился на свет наш шкаф,

мы идем с ней на прогулку. Я в своей любимой зеленой «шинели». Впереди у речушки, огибающей деревню, – пойменная поляна. Весною в половодье ее заливают вода, и в морозные ночи поляна покрывается ровным, блестящим, прозрачным слоем льда, под которым видна прошлогодняя трава, замерзшие пузырьки воздуха и снующие рыбешки. И бабушка увидела, как я легко, свободно и размашисто заскользил по этому катку на коньках, лишь от встречного ветра развеваются полы моей «шинели», и в такт шагам подпрыгивает шапка-ушанка. В ослепительной белизне, от окружающего поляну снега, я удалялся все дальше и дальше, превратился в точку и растворился где-то у горизонта... Бабушка звала меня, ждала и, испуганно проснувшись, подумала, что моя жизнь, видимо, пройдет далеко от родины...

Так и получилось – после школы я уехал, теперь все реже стало отображать родное зеркало изменения во мне. В редкие приезды, сначала во время каникул в институте, а потом и во время отпусков, зеркало показывало не изменения в росте, а то, как зреет, мужает и постепенно старится лицо.

После второго курса зеркало обнаружило в моем лице жиденькие усы и бороду, отпущенные мной в знак принадлежности к цеху художников. И потом они, приобретя окончательные очертания и жесткость, стали неизменной деталью в моем облике. А после третьего курса рядом с моим отражением появилось отражение моей юной жены...

Шли годы...И как-то летом в перерывах между работой на покосе я увидел, как моя младшая дочь, повертевшись у шкафа, вдруг догадалась выдвинуть среднюю задвижку, наполненную шерстяными носками, варежками и другой мелочью, встала на нее и начала разглядывать свое лицо...

Старый, добрый, уж изрядно обшарпанный, темно-желтый наш шкаф. Последние годы ты сиротливо стоишь у двери, в темном углу холодных сенцев. Я помню каждую трещинку на твоих боковушках, каждый изгиб на фанерных накладных орнаментах. Твой нутряной запах...Твое потемневшее зеркало все реже и реже отражает родные лица. Уже давно нет отца, давно мама переехала в город, и мы навещаем тебя только летом.

Вокруг все давно изменилось, все хозяйство, которое мы с отцом и матерью обновляли, пришло в упадок. Время безжалостно расправилось с нашим уютным прибежищем. Сырость, дожди, холодные сугробы до трухи сгнили доски во дворе, столбы и штакетник на заборах, крыши сараев. Не уберегли мы и привычное убранство дома, оно со временем стало чужим и неуютным. Неизменным остался только ты, как память о той шумной и дружной жизни нашей семьи.

И я, вглядываясь в родное зеркало и видя в нем свое лицо, уж испещренное морщинками, с поседевшими висками и бородой, пытаюсь представить лицо того мальчика – тянущегося на носочках с выдвинутого среднего ящичка...

Ольга МИЛОВАНОВА

Господи, помилуй!

– Стой! – внезапно ударил в спину хриплый окрик.

Леся замер.

– Руки давай подымай! Чаго ждешь?! – второй голос показался более молодым.

Леся медленно поднял руки и хотел было обернуться...

– Твою ж мать! Стой там, где стоишь! Холера!

Сзади слышался хруп крупитчатого февральского снега, неожиданным выстрелом хрустнула ветка, и, смягченный тулупом, в ребра уперся ствол.

Чьи-то руки бесцеремонно охлопали его, залезли в карманы и за пазуху, но добыли немного: горбушку хлеба, луковицу да шмат сала, завернутые в тряпицу, – все, что успела сунуть жена. Собираться пришлось быстро. Братов свояк прибежал под утро... Чего тоже ждал? Думал, поди – бежать, не бежать. Трясса, морда немецкая... Да ладно. Предупредил все ж таки. Спасибо и на том...

Фима – кучерявый, обильно посыпанный ранней проседью, смоляноглазый, с унылым сливовым носом – выглядел совершенным евреем. Как истинный русский, пил самогон с Лесем и его братом (их жены были родными сестрами), по документам же выходил чистым немцем. В комендатуре дотошно, вдоль и поперек изучили его метрики, послушали, как он бойко шпрехает. Со скрипом, но признали Фиму почти за своего – фольксдойчем и взяли в комендатуру переводчиком.

Именно Фима осенью 41-го помог Лесю устроиться на станционную водокачку, а вчера, пересилив страх, прибежал предупредить о готовящемся аресте...

– Теперь вертайся. На морду твою поганую глядеть буду. Тока медленно. Дернаешься, живо в расход пуццу!

Леся осторожно развернулся.

Прямо в лицо ему смотрело дуло обреза.

– Кто таков?! Чаго по лесу шастаешь?! Вынюхиваешь?! Гнида! – заросший до бровей густой рыжей бородой мужик глядел недобро, черные глаза грозили Лесю не хуже его винтовки.

Второй стоял чуть поодаль и пока помалкивал, всматриваясь. Судя по жидкому клочковатому пуху, который еле скрывал его румяные, как у девушки, щеки, он был гораздо младшее.

Плохонькие тулупы, подвязанные валенки, косматые с залысинами ушанки свидетельствовали скорее, что мужики свои – из какого-нибудь партизанского отряда. Их немало развелось за последний год в густых, непроходимых для немцев белорусских лесах и болотах. Состояли они из солдат, попавших в окружение, из местных жителей, которые, опасаясь расправ фашистов, уходили в леса целыми деревнями, но больше всего из таких же, как и Леся, не успевших попасть на фронт. Новобранцы дошли только до Борисова, когда их отрезали немцы.

Мужики разошлись по домам и стали жить дальше, пытаясь привыкнуть к новым порядкам. Немецкие агитаторы на собраниях, на которые

сгоняли жителей, бодро кричали о победоносном шествии освободительной армии вермахта, о том, что офицеры и солдаты великой Германии уже гуляют по улицам Москвы и Ленинграда, а Сталин трусливо бежал в Самару.

Верить этому не хотелось, но кроме смутных слухов, которые порой казались страшнее самой лживой немецкой пропаганды, ничего больше не доходило из-за линии фронта. Мужики мрачно молчали и ожесточенно сплевывали, бабы охали и тихонько подвывали, ребятишки, лупясь на родителей испуганными глазенками, готовы были в любую минуту удариться в рев.

В ноябре с первыми морозами на улицах стали появляться листовки, отпечатанные на коричневой оберточной бумаге:

«К оружию!

Под ударами Красной армии немецкие войска отступают и уничтожают на своем пути все, мобилизуют мужское население и угоняют в Германию, расправляются с женщинами и детьми, безоружных мужчин, которые по сути хуже слабых женщин, ведут на убой, как телят.

Чтобы всего этого и здесь не получилось, довольно вам сидеть под бабскими юбками, на горячей печке выгреваться, поднимайся на борьбу с немецкими собаками, организуйте партизанские отряды, добывайте своими средствами оружие; на Бога не надейтесь.

Прочитай и передай товарищу».

Листовки срывали, оглядываясь, прятали поглубже, дома осторожно доставали, расправляли и много-много раз перечитывали, заучивая наизусть. Делиться опасались, так как с приходом новой власти отношения между людьми непредсказуемо изменились. Всплыли старые обиды, и соседи тайком мстили друг другу за них, строча доносы в комендатуру.

Тех, кому Леся верил безоговорочно, он мог пересчитать по пальцам одной руки, и первым из них был брат Иван. Поэтому, когда поздним вечером от него пришел незнакомец в форменной промасленной тужурке, Леся принял его без сомнений. Незнакомец рассказал, что он машинист из Орши, что у них есть группа железнодорожников, что руководит ими дядя Костя, что минами, замаскированными под каменный уголь, подпольщики подорвали уже больше десятка паровозов, заметно затруднив немцам подвоз военных грузов к фронту. Теперь они хотели создать систему складов для хранения угольных мин вдоль всей ветки железной дороги – на Минск и дальше до самой границы. Водокачка, которой Леся заведовал, удачно располагалась в ста метрах от станции и идеально подходила для такого склада.

Леся не колебался, и вскоре в углу небольшого пристроя у подножия круглой кирпичной водонапорной башни появилась аккуратная горка первосортного антрацита. Пристрой он запер на огромный амбарный замок, стерег пуще глаза и грозился лично прибить любого, кто посягнет на него. А в машинном отделении между станинами водяных насосов, кинув на каменный пол старые одеяла и телогрейки, частенько стали ночевать чужаки. Начальник был крут и несдержан, поэтому связываться с ним не рисковали, тем более что все знали про свояка в комендатуре.

Теперь, когда Леся слышал об очередном подрыве на железной дороге, он с удовлетворением думал, что в этом была и его заслуга. Но знать об этом никому не полагалось. Даже Фиме, закадычному другу, он не

открылся ни во время застольных посиделок, ни той ночью, когда тот прибежал предупредить его об аресте...

Мужики, остановившие Леся на безлюдной лесной дороге, могли быть и провокаторами, поэтому он поостерегся и ответил уклончиво.

– Я человек.

– Вижу, что не волк! В лесу что делаешь?!

– Иду. Лес-то он для всех.

– Ах ты, вымесок собачий! – взъярился рыжебородый и передернул затвор.

– Не дури. В Соколовичи иду. Вот. Заплутал малость. Боялся, засветло уже не дойду. Хорошо, что вас встретил. А то волков развелось, страсть, – Леся тараторил, стараясь отвлечь его.

– Воуки тяперь сыгтыя. Вон им война сколько жрачки дармовой подкинула. Хошь немец, хошь русский, а хошь итальянец какой-нибудь. Воуку то без разницы каго грыбть, – неожиданно встрял молодой.

Рыжебородый зыркнул на него, тот осекся и замолчал.

– Нынче человек человеку страшнее волка будет! – буркнул он и снова пристально посмотрел на Леся. – Я в Соколовичах всех знаю. А вот твою рожу там ни разу не видел.

– Так-то уж и всех, – ухмыльнулся Леся.

– А ты не скалься! – снова вскинулся рыжебородый.

– Михеич, слухай! А я яго, здаецца, знаю! – снова вступил молодой.

– Ну, – рыжебородый чуть обернулся к нему, не теряя Леся из виду.

– Так из Крупок ен. Левонидом кличут. На станции вадакачкой загадае. Кажуць злы, як черт.

– Ах ты, падаль фашистская, – прошипел рыжебородый и сплюнул на снег тягучей коричневой слюной.

– А яще собек у яго у камендатуры немцам толкуе, – выпалил парень.

Тут Леся испугался не на шутку.

– Мужики, вы чего?! Свой я! Свой! В отряд иду!

– Ишь ты! В отряд он идет! А тебя там ждали-звали? – рыжебородый заговорил приторно-ласково и широко улыбнулся, разверзнув черный провал в бороде.

Леся стало еще страшнее.

– Нет... Я так иду, – неуверенно ответил он.

– А раз «так», то и делать тебе там нечего! Сейчас мы тебя хлопнем, да и дело с концом. Верно, Прощка?

– Вернее некуда, Михеич, – не моргнув, ответил тот.

Глаза Леся обожгли непрошеные злые слезы.

Как же так?! От немцев ушел, а от своих пулю придется принимать. Господи! Где твоя справедливость?!

Странно, что именно теперь он вспомнил о Боге.

Мальчонкой мать учила его молитвам и водила в церковь. Там он, одурманенный запахами воска, горящих свечей и елея, недоверчиво всматривался в печальный лик Страдальца за род людской и никак не мог принять в толк его слова: «Тебя ударят по одной щеке, а ты подставь другую».

Как это?

Когда старшак Петро раздавал мальчикам подзатыльники, чтобы не вертелись под ногами, надо было что, идти к нему за добавкой?

Или в драке с хлопцами из Слободы надо было опустить кулаки и ждать пока их с Ваньшой отходят дрыном?

Да никогда не бывать этому!

Леся привык все в жизни выгрызать, помогая себе руками и ногами, не оборачиваясь и не полагаясь на чью-то милость.

Постепенно позабылось все то, чему учила его когда-то мать. В том храме давно хранили зерно, и Спаситель печально смотрел теперь на равнодушно суетящихся жирных мышей да птиц, свободно пробиравшихся внутрь через разбитые окна и проломы в крыше.

Бог умер на этой земле, и почти никто не заметил этого. А если и заметил, то благоразумно промолчал, оставив свое мнение при себе...

– Именем Союза Советских Социалистических Республик я, верный сын героического белорусского народа, приговариваю тебя к расстрелу, – торжественно проговорил рыжебородый, поднимая обрез.

– Мужики! Братишки! Товарищи! Ну послушайте! – заорал Леся.

– Заткнись, фашистская пагань, – вставился младший.

Леся с тоской поднял глаза вверх. Черные ветки деревьев чертили пронзительную глубину неба, по нему стремительно неслись растрепанные кучевые облака, обещая скорую перемену погоды. В воздухе уже пахло той неуловимой свежестью, которая предвещает весну. Скоро вернуться птицы, зазеленеет лес. Родится и вырастет, никогда не узнав своего отца ребенок, которого носит под сердцем жена.

Все будет снова, все будет по-прежнему.

Не будет только его – Леся.

– Господи! Если ты есть! Если ты слышишь! Спаси и помилуй меня грешного! – горячо взмолился он...

Леся резко пригнулся и нырнул за раскорячившийся рядом пень. Грянул выстрел и его осыпало щепками. Он быстро поднялся и бросился прочь, петляя и прячась за деревьями. Сзади, матерясь и грозя, тяжело топтали мужики, клацал затвор обреза, несколько раз со звонким шмяком в дерево вгрызались пули рядом с его головой.

А он все бежал...

Погони больше не было слышно.

Леся давно потерял дорогу и брел по заметенному межлесью наугад, проваливаясь по пах в глубокий снег, с трудом вытягивая ноги, до крови обрезав руки о заледеневший на солнце наст. Он не заметил, когда потерял меховые рукавицы, да и шапку, но ему было так жарко, что он готов был сбросить и тулуп, который, казалось, вдавливал его в снег, не давая ступить дальше ни шагу.

Время будто остановилось. Солнце уже целую вечность висело над кромкой леса, который никак не хотел приближаться.

На стыке белого и черного ему померещилось едва заметное движение. Он поднял руку и хотел крикнуть, но из ободранного горла вырвался лишь сип...

Леся осел на снег. Вокруг царили тишина и покой. Солнце, наконец, упало за деревья, ветер начал заметно холодить мокрую голову, прохватывать грудь. На него вдруг навалились тусклое тупое безразличие...

– Вот и все, – спокойно подумал он и мягко опрокинулся спиной на снег...

– Кажись, дышит...

– Голову ему держи...

– Разворачивай, куды ж ты ногами-то прешь!

– Рогожу сюда давай...

Леся слышал голоса, как сквозь воду. Он заставил себя выкарабкаться из цепкого плена морока и приоткрыл глаза. Над ним навис человек с неуловимым, расплывающимся лицом, Леся смог рассмотреть только ворот замасленной форменной тужурки.

– Очнулся, Леонид? Вот и хорошо. В Крупках облава на наших была. Мы думали, что всех взяли. А тут ты. Ну, ничего. Сейчас в отряд приедем...

Леся устал слушать и снова закрыл глаза...

Что-то дернуло, послышался скрип полозьев по снегу. Мягкое покачивание убаюкало, и он снова провалился в спасительную пелену небытия...

Бог хранил его.

Леся бесстрашно воевал с фашистами, встретил Победу под стенами рейхстага. Но куда бы ни заносила его беспокойная судьба, из положенного угла в избе на него всегда смотрели печальные глаза Спасителя.

Владимир КВАШНИН

Портсигар

Сколько лет прошло, а как вспомню ту встречу, так душа наизнанку. Помните рассказ Шолохова «Судьба человека»? Через что пришлось пройти его герою: и войну, и плен, и унижения. Но в послевоенное время все равно его жизнь наладилась – довелось встретить маленького ребенка-сироту, не меньше его хлебнувшего горя за свою крохотную жизнь. И отогрели они друг друга, и зажили счастливо. Хороший, правильный рассказ, только не всегда все так хорошо заканчивается.

Историю одной жизни, которую сейчас вам расскажу, я услышал много лет назад в душевной палате сельской больницы, куда попал 16-летним пацаном с воспалением легких. Положили меня к двум горнякам-проходчикам, мужикам лет за пятьдесят, которых, как я узнал, накануне на вездеходе ГТТ вывезли из Неройской геологоразведочной партии с разными хворями. По их свитым из крепких мускулов фигурам, глубоким морщинам на лице, ножевым и пулевым шрамам среди синих татуировок на теле я понял, что эти мужики жизнью битые – или урки, или фронтовики, или и то, и другое. И в этих предположениях не ошибся.

Чудно было слушать их нехитрые, неторопкие разговоры о разных мелких жизненных радостях. Один из них ухитрился незаметно отлучиться из больницы в местный магазин, расположенный неподалеку, купил водки, припрятал ее под матрац подальше от глаз медперсонала и теперь радовался этой покупке, а заодно и приобретенным рукавицам.

– Смотри, Вить, ай какие баские, прям по руке, и на выход можно, и в красный день одевай...

Когда под вечер все разошлись и угомонились, поставили они на тумбочку выпивку и закуску и пригласили меня – давай, сынок, с нами. И хотя я отказался, в ту ночь, невольное присутствие при разговоре, узнал непростую судьбу настоящего человека.

После третьего стакана седой скуластый мужик, которого друг называл почему-то Иконостасом, поманил меня пальцем:

– Подойди, сынок, что тебе покажу.

Я подошел.

– Подставляй ладони.

Подставил. И он из своих карманов высыпал мне кучу своих воинских наград. Там были и орден Боевого Красного Знамени, и ордена Славы разных степеней, а уж медалей и не честь.

– Думаешь, сколько это стоит, Вовка? Не знаешь. Так вот я тебе скажу: четыре года войны и девять лет лагерей Севера. Я ведь сам-то южанин, из Адлера. Оттуда и на фронт ушел, туда и вернулся после госпиталя. Воевал в полковой разведке. А как воевал, это пусть тебе мои награды расскажут.

Он надолго замолчал. Но я сердцем чувствовал, что хмель развязал ему язык, и он хочет выговориться постороннему человеку о чем-то своем, давно наболевшем...

– Нахлебался я лиха на войне и думал, что на всю жизнь вроде бы как хватит. Победа вселяла столько надежд, так кружила и пьянила, что и в голову не могло прийти – мои настоящие несчастья еще впереди. А началось все с того, что, приехав в родной город после демобилизации, я устроился грузчиком на дровяной склад.

Как-то после очередной разгрузки машины угостил ребят-напарников папиросами из портсигара. Надо сказать, что штука эта квадратная была необыкновенной. Трофейной. Дружок мой, когда ходил за языками, отобрал его при обыске у одного офицера вермахта. Вскоре при очередной вылазке друг был тяжело ранен, перед смертью он отдал мне на память свои часы и этот портсигар. Вещь была непростая, золотая, с вензелями и гербом какого-то прусского барона.

И случись во время перекура проходить мимо нас местному участковому уполномоченному. Он и заприметил портсигар у меня. На следующий день пристал как банный лист – продай да продай. Нет, говорю, это память. Посмотрел он на меня люто и пригрозил – пожалеешь. А я что? Сто раз пуганый – плюнул ему в ноги, повернулся и ушел.

Через три дня арестовали меня. За что? Ты даже представить себе не можешь, что мог выдумать и сфабриковать коварный умишка этого прохвоста. За телегу дров, которую я якобы продал кому-то. И это летом, в приморскую сорокаградусную жару. И знаешь, никто не стал разбираться. Меня, фронтовика-орденоносца, не единожды раненого, быстренько осудили за кражу госимущества, впаяли пять лет и – сюда, на Севера.

Следующая его молчаливая пауза мне показалась вечностью.

– Через два года с такими же, как я, бедолагами бежал. Да только от комяков, из числа которых в основном и набирали охрану лагеря, далеко не уйдешь. Это наш брат бежит, куда глаза глядят, лишь бы подальше от беспредела, а они работу свою хорошо выполняют, и все сплошь охотники, тайгу как свои пять пальцев знают. Прострелили мне плечо и смотрят, похохатывая, как меня овчарки рвут. Рвали, да не дорвали. Выжил.

Добавили за побег и перевели в Ивдельлаг, где и отрубил от звонка до звонка на лесоповале. А потом еще на пару лет на химию в Полуночное определили. Домой после отсидки не поехал – никто меня там не ждал. Да и нигде не ждали, все родные в войну погибли. Так и остался здесь. Молодость прошла, семьи нет, да и здоровье уже не то. Вот язву сюда, в Саранпауль, подлечить выехал. Прибился я сперва к старателям в Усть-Манье, так там законы похуже, чем на зоне. Потом завербовался в экспедицию Полярно-Уральскую проходчиком в горы, отбойником да кайлом махать. Знаешь, а ведь однажды я на одной из пересылок встретил того оперуполномоченного. Он меня не узнал. Я и спросил его между делом:

– За что сидишь?

Он и говорит:

– Да ни за что, за портсигар. Начальство просило подарить, а я пожадничал. Так что земля-то, она, брат, круглая, запомни это, Вовка.

Когда он вышел из палаты покурить, я спросил его друга, кто это.

– Это? – переспросил он. – Виктор Егоров по кличке Иконостас.

– А почему Иконостас? – допытывался я.

– А посмотрел бы ты на его грудь 9 мая, так сам бы и ответил.

Я смотрел на Иконостаса, и в моей безгрешной молодой душе роились мысли: как могло случиться, что в нашей самой счастливой, самой замечательной, справедливой и человеческой стране так запросто и безжалостно растоптали судьбу человека, преданного своей Родине? А сколько было таких, как он?

После выписки я никогда больше его не видел. Но спустя годы узнал, что пожилой проходчик, притушив язву, опять поднялся в горы и продолжал прорубать штольни в каменных недрах горы Неройки в поисках потаенных гнезд хрустала. В те времена наука еще не научилась выращивать искусственный пьезокварц, и вся надежда была на таких мужиков, как Виктор Егоров. Он оказался проходчиком от Бога. Без его хрустала и Гагарин бы в космос не полетел: иллюминаторы космического корабля были выполнены именно из такого материала, и сверхточная электроника остро нуждалась в этом стратегическом природном сырье.

Я уже служил в Германии, когда мама прислала мне в письме вырезку из нашей районной газеты, в которой говорилось, что проходчик Полярно-Уральской экспедиции, Неройской горнодобывающей партии Виктор Егоров за высокие трудовые достижения и неоценимый вклад в дело обороноспособности страны награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Коготь Манараги (охотничья быль)

До зимовья оставалось уже всего ничего, но Алексей налегал, понимая, что буквально через десять минут декабрьская ночь плотно захлопнет свои черные челюсти вместе с ним и его родимой тайгой. Оттопав за день порядка двух десятков километров, он понимал, что силенок у него осталось не так уж много, оттого и выкладывался сейчас по полной, чтобы успеть засветло. Огонек – его наиглавнейший друг и помощник, карело-финская лайка, где-то впереди, а скорее всего уже грызет любимую кость под крыльцом, однако он не сердился, понимая, что собакам на промысле достается куда больше.

Неожиданно в полной тишине сдавленный собачий всхлип окатил Алексея ушатом холодной воды. Срывая с плеча двустволку, он ринулся вперед. Буквально в долях секунд, как на застывшем кадре, Алексей увидел меж заснеженных деревьев огромного белого полярного волка, на загривке которого маленьким рыжим галстуком болталась собака, его Огонек, и все...

Проломившись в горячке еще десяток метров через плотный ельник, он понял, что ничего уже не изменит, никого не догонит и никого не спасет. Размазывая по лицу горький пот, а скорее слезы, Алексей вернулся назад.

Угрюмым молчанием в полной темноте встретило его родное зимовье. Затопив печь, он на автомате поужинал, и борясь с накопившейся усталостью, в полном раздрае чувств упал на нары. А вроде все так классно начиналось. И с вертолетом все сладилось, и соболев в капканы идет, и была полная уверенность, что к Новому году он вернется домой с полным рюкзаком пушнины.

Что за напасть сегодня свалилась!?! Нет для промысловика горя сильнее, чем остаться посреди сезона без главного помощника – собаки. Эх, Огонек, Огонек, на своей груди вынынчил... Царствие тебе небесное. Однако слезами горю не поможешь, и работа, а это семь 15-километровых путиков, не ждет. Отмаявшись без сна и отдыха всю ночь и поднявшись, как обычно, еще затемно, он покормил у крыльца еще одну собачку – четырехмесячного щенка Громика – и вышел на лыжню.

Декабрьский рассвет словно через силу приподнял на горизонте свое хмурое веко, разглядывая его, и узнав, тут же уронил, оставив лишь маленькую щель, да и то ненадолго. Далекая Манарага, грозя небесам, все так же тянула свою когтистую лапу, а еле слышное рокотание сходящих лавин говорило, что она так и не смирилась со своим заточением в недрах Приполярного Урала...

Каково же было негодование Алексея, когда в четвертом капкане он не нашел даже лапки соболя – тот был начисто съеден волком, нет, не росомхой, уж он-то разбирается в следах, а именно волком. О таком беспределе он даже и от стариков никогда не слышал. Ладно бы росомаха или рысь, а тут – полярный волк!

И Алексей всем своим нутром понял, что впереди у них будет схватка не на жизнь, а на смерть, и кто победит, только Богу известно. В следующем капкане не было даже приманки, а «нулевка» с прихлопнутым воробьем валялась под жердочкой. И со следующим капканом была та же картина. В удрученных чувствах он не спеша тащился обратно, когда еще издали услышал истошный вой щенка.

То и спасло Громика, что он был щенком, а не взрослой собакой, и лапа волка просто не смогла дотянуться до него, забившегося под вмерзшие бревна крыльца. Пришлось Алексею на ночь взять его в тепло, что настоящие промысловики никогда не делают.

Несколько раз посреди ночи щенок начинал заполошно взлаивать, уставившись на дверь. Алексей брал фонарик и с ружьем выходил наружу. Все та же тишина и напряжение встречали и провожали его. Уже неделю как по замкнутому кругу он ходил по своим путикам, находя повсюду разор. Щенка он сейчас держал при себе, на глазах, и водил сзади на длинном поводке.

Уже который раз он возвращался в зимовье с пустым рюкзаком. Сегодня после ужина Алексей вскипятил новый чайник, заварил его доброй горстью тридцать шестого, сел за стол и стал думать – что делать? Что?! Или выходить через три дневных перехода в Саранпауль с пустым рюкзаком к не ждущей его семье или...

Сколько он ни ломал себе голову, так ничего и не мог придумать. Волк даже шанса на выстрел ему не дает, он его, кроме как следов, ни разу с той первой встречи и не видел. В лампе уже заканчивался керосин, но Алексей, так ничего и не придумав, прилег и незаметно уснул.

Шуршали по углам счастливые мыши, посапывало поддувало печки, в окно на него холодно и безучастно смотрела круглолицая луна, и только старое зимовье по матерински тихо вздыхало, не зная, как и чем ему помочь...

...Лешка, вставай! Ты что разоспался-то!? А ну-ка одеваться и пулей во двор, я уже Серко давно запряг, поедем, как вчера договаривались, капканы проверим... Батя? Батя!? Так... Что так? Если хочешь настоя-

щим мужиком вырасти, ты должен все в жизни уметь – и на медведя с рогатиной, и карася за хвост. Из-под копыт Серко в его лицо летели снежные льдинки, екала селезенка мерина, а отец, укрывая его полкой своей шубы, на ходу учил Алексея премудростям капканного лова лис, в части которого он был первым докой на деревне. Но все, что он рассказывал, как залетало в ухо Алексею, так и вылетало, единственно, что он запомнил «...А если возьмешь капкан «семерочку», так и с полярным волком справишься!» закончил отец, подтыкая под ним свою волчью шубу...

Очнувшись, Алексей как будто воочию увидел давно умершего отца – Александра Нестеровича. Военное поколение почему-то быстро и незаметно ушло друг за другом. Досталось им... Эх, батя, батя, я уже сто раз пожалел, что пренебрегал твоей наукой. Сейчас бы спросить, посоветоваться. Кажется, вот он – локоток, а не укусишь. Разве интересны мне были твои байки, когда в клубе ждала Любушка-голубушка, яблочко мое наливное. Это уж после армии тяга к охоте появилась, но тебя уже и в живых не было...

Погоди, а что он про «семерочку-то» мне сказал? Погодь, так ведь есть у меня этот еще дедом Нестором капканчик кованный!

Люди часто и сами не понимают, откуда им порой приходят знания, но в какой-то миг это происходит, и память снимает свои замки-печати. Где-то в подсознании он уже знал, что и как надо делать, чтобы выиграть схватку.

Два дня он ходил по своим разоренным путикам, искал волчьи мочеточки, собирал в полиэтиленовый пакет желтые льдинки. Два вечера из подходящей осины выстругивал ножом полутораметровую ложку-лопату. А потом уже днем на улице, раз за разом, взявшись за кончик ручки, делал подкоп под застывшим следом щенка, ставил там взведенный капкан и, отходя, маскировал его до тех пор, пока с трех метров и морщинки не было на снегу. Так день за днем он оттачивал свое охотничье мастерство.

«А волк-то, сына, как любой хищник, никогда не остается дневать рядом с местом, где кормится. Уходит в самые далекие крепи, вот там, оставив свою осторожность, спокойно и отдыхает. Только единственное чувство, – чувство голода – заставляет его выходить опять на свою тропу».

Главное, что сейчас выделил Алексей из отцовского монолога, – слово «тропа». Да! Ну конечно же, у его противника она должна обязательно быть. Вот ее и надо найти. Это на подходе, за три-четыре километра, он начинает осторожничать и нарезать по тайге, путая след, кренделя всякие, а где-то там, дальше, у него должна быть эта тропка.

Уже сносно наловчившись работать лопаткой, зная, как и каким снегом лучше маскировать подходы и отходы к месту установки, Алексей не упустил и выпавшего ему шанса – обильная пороша, легкая и объемная, как пух гагары, выпала прямо под утро.

Одевшись как можно легче, он положил в рюкзак все необходимое, закинул за спину «ижевку» и отправился на место предстоящей схватки, которое выберет именно он, а не его противник. Отойдя от зимовья порядка семи километров, Алексей стал по кругу обходить зимовье. И вот она – набитая волчья тропка, по которой хищник еженощно ходит к нему на разбой. Осторожно продвигаясь вдоль нее, Алексей подобрал место,

где, выйдя из-за высокой кочки, можно без особого труда незаметно установить под след капкан и так же отойти.

Он достал каленый деков подарочек, перекрестился, надел чистые холщовые рукавицы и стал тщательно натирать капкан волчьими желтыми льдинками. Упираясь в дужки ногами, Алексей взвел капкан, подправил чуть симки и осторожно положил на снег.

Взял свою лопатку, крупными шагами подошел из-за бугра к следу и вырыл под ним пещерку. Потом не спеша осторожно стал подрезать снизу ножом застывший «стаканчик» следа, пока сверху не увидел мутное мельтешение лезвия. Сходил за капканом, установил его на сучках-палочках, чтобы не примерз, и отходя, лопаткой стал маскировать свой след, приглаживая неровности и посыпая свежей порошей, взятой со спины.

Когда он встал опять на лыжи и со стороны осмотрел свою работу, подумал: «А батя бы, наверное, похвалил...». Настолько качественно, что и с двух метров не заметишь и складочки на снегу. Привязав к березе тросик от капкана, он отправился назад.

Таких лютых морозов уже давно не знала югорская тайга. Такой треск по лесу стоит, что упаси Господь попасть где в дороге под его жесткий замес.

И сколько добрых слов благодарности наслушались две старые подружки за эти дни от молодого охотника. Печурка аж зарделась по-девичьи, а старушка-зимовьюшка от похвал только ахает да охает, да стыдливо окошко свое белым платочком изморози промокает. «Ну как же вас не хвалить, родимые вы мои. Ближе вас, моих спасительниц, сейчас и нет у меня никого», – ласково наговаривал Алексей, подкидывая очередное березовое полешко.

А в далеком заснеженном урочище одинокий волк, подняв к свинцовому небу рваное ухо, прислушался и, втянув изуродованным носом морозный стылый воздух, глубоко вздохнул. Нет, это не лось кормится, ветки с треском бесшабашно заламывает, это мороз-батюшка явился, ходит по лесу барином да деревья наотмашь хлещет-забавляется. В брюхе у него заурчало, он потянулся, но пронзительная боль в спине тут же заставила его упасть на колено. Да, старость не радость. «Интересно, а эти двуногие – как они со своими стариками? Наверное, до самой смерти дети заботятся и ухаживают. Люди же, как-никак не мы, волки безродные».

Он вспомнил свою последнюю схватку с молодым соплеменником. Нет, он не был вожаком, он просто был верным спутником волчицы, которая и держала всю стаю. Однако на этот раз она не заступилась за него, когда дорогу к ней ему перегородил молодой и сильный.

Всю осень он скитался, пробавляясь то зазевавшимся зайцем, то глухарем. Трудно волку выжить в одиночку, да практически невозможно. Доходило до того, что только полевка и была на обед. Но это еще куда бы ни шло. Беда случилась, когда он попытался отжать у зазевавшейся лосихи теленка. Видно, действительно стар стал, и реакция не та, вот и получил копытом по спине, да так, что чуть волчьему богу своему лапы не откинул. Как увернулся от других ударов, и сам не знает. Еле уполз. А снегу с каждым днем все прибавляет, добывать все труднее, да и почти некого, а кто и встретится, уже не по зубам.

«Нет, действительно, этот случайно встреченный одинокий охотник со своими щедрыми подношениями для меня сейчас как подарок судьбы. О собачатинке, конечно, я уже не заикаюсь, хотя у него и вторая попискивает, но кусочки мяса на лыжницах мне постоянно оставляет, добрый видать, это хорошо, глядишь, и до весны дотяну», – так размышляя, волк трусил по своей давно набитой тропе.

Такого ужаса он не испытывал со времен своей молодости, когда зависший над ним вертолет хлестал свинцовыми плетями в сантиметре от него. Наверное, стрелок накануне полета перебрал лишку, оттого его руки ходуном и ходили, и... слава Богу. Но то, что сейчас ударило его по ноге, было в сто раз страшнее и больнее, потому что неожиданно. Страх и ужас бросали его на двухметровую высоту, осколки клыков отлетали от каленой стали, но невидимый в темноте трос не позволял ему глотнуть прежней свободы.

Выбившись из сил, он свернулся клубком и, скуля, стал осторожно лизать зажатую лапу. Полная луна, усмехаясь, равнодушно смотрела на его мучения, а мороз все туже и туже стягивал его тело своими железными оковами. У него уже не осталось ни сил, ни желаний бороться за свою жизнь. В очередной раз лизнув зажатую в железных челюстях лапу, вдруг осознал: он ее не чувствует. Из последних сил волк поднял проклятый капкан и ударил его о лед, и железный враг вместе с его отмороженной лапой отлетел далеко в снег.

Свобода!!! Как же она сладка, когда ты молод, здоров, полон сил и надежд. А сейчас? Уходить. Куда? Что его, калеку, ждет посреди лютой зимы? Смерть... А этот, кому я поверил? Нет, если уж умирать, то только вместе. Так будет справедливо. За предательство надо платить. Да, я старый и немощный, но он еще и не знает, что такое настоящий охотник. У меня, даже мертвого, хватит сил сомкнуть челюсти на его горле...

Неуклюже припадая на переднюю лапу, волк шел в ночи под хохочущей луною по лыжне врага к его теплomu жилищу, на каждом кусту ощущая его, предателя, запах.

Из последних сил он доковылял до высокого снежного бугра, идеально подходящего для засады, спрыгнул в сторону, обошел сбоку и притулился к его теплomu снежному боку.

Холод, голод, жизнь, смерть – все это теперь не имело никакого значения. Месть, сладкая, как запах текущей волчицы, были единственным источником силы умирающего зверя.

– Что же с тобой делать-то, а, Громик? У зимовья не оставишь, внутри – набедокуришь, – думал Алексей, собирая рюкзак. Мороз ночью ослаб, потеплело, да и любопытно, отвадил он волчару или опять у него все путики пусты.

– Ладно, чертяка, будь по-твоему, но только сзади и на веревочке! – обрадовал Алексей щенка своим решением.

Привычно загнал в стволы картечь, бросил за плечи рюкзак, следом ружье – и маленькая компания под истошный крик ронжи отправилась на промысел.

Ничего не предвещало грядущей трагедии. Выглянувшее всего на полчаса декабрьское солнце сладко щурилось, осматривая таежные дали.

Где-то робко пискнула оттаявшая синица, ей ответила другая, и опять тишина, только шуршание лыж, но в воздухе была какая-то напряженность, по крайней мере Алексей ее чувствовал и понимал, что развязка близка, но даже и представить не мог насколько.

Они и отошли-то немного, чуть больше полкилометра, когда сзади истошно заголосил щенок, и он, с разворота вскидывая ружье, уже был готов к выстрелу. Но скорее всего он и не успел его сделать, если бы передняя нога, на которую волк в момент прыжка перенес всю тяжесть тела, в какой-то момент не подвернулась. Как подрубленный, он упал в ноги охотника, и Алексей, не раздумывая, в упор машинально нажал спусковой крючок.

Где-то с воем улепетывал по лыжне щенок. После грохота выстрела в ушах звенела оглушительная тишина, а волк затухающим взглядом в упор смотрел в глаза Алексея. В какой-то миг из его глаз стекла слеза, потом вторая. И вдруг неожиданно даже для него самого протянул руку и положил ее на голову старого волка. Из последних сил зверь приподнял ее и... лизнул ладонь человека, после чего ткнулся мордой в снег и затих.

Алексей медленно закрыл ему глаза и положил его израненную одну-ухую голову себе на колени. Так он и сидел, не в силах ни встать, ни уйти. Вкус его победы был настолько горек, что он, не зная сам почему, неожиданно заплакал. Взахлеб, как плачут дети. Есть слезы счастья, есть горя, а есть вот такие – слезы очищения.

В эти минуты его жгуче мучил только один вопрос: почему зверь, умирая, лизнул ему ладонь, а не отхватил ее по локоть? Было такое чувство, словно смерть он принял как избавление. А может, это действительно так? Или причина в чем-то другом? Может, даже такой хищник, как волк, дикий во всех отношениях зверь, знает и понимает, что такое одиночество. Если да, то что чувствует человек, брошенный и забытый на старости лет людьми и Богом?

А ведь действительно, сколько таких стариков у нас сегодня доживает свой век по всем русским деревням и селам? Как-то сами собой мысли Алеши перескочили на родителей. А ты сам часто ли радовал их вниманием? А когда ты к отцу на могилу последний раз хаживал? А к маме? И что – у сестры живет, за границей? Так горько и стыдно Алексею никогда еще не было.

Что-то не так и не то он делает. Да и живет неправильно. Хоть ты всех соболей перелови и всех лис в округе, охотой никогда богат не будешь. Это еще отец говорил. Может, так оно и есть? Может, в погоне за призрачным охотничьим счастьем я упускаю что-то важное? А подумать, так вроде и руки из нужного места растут, и с топором, и с рубанком дружен. Неужели я себе работу в селе не найду? А звери что? Пусть себе живут, волей дышат, пока есть силы, здоровье и... молодость.

Он гладил на коленях остывающую голову зверя, смотрел на далекую Манарагу и как-то внутренне перерождался.

Что казалось важным и необходимым еще час назад, сейчас выглядело мелким и пустым. Есть у человека в жизни главное и есть второстепенное. И главное – это все-таки внимание к родителям, жене, забота о детях, о близких и дальних. Успеть за свою жизнь сделать добра столько, чтобы потом, когда наступит срок, и умирать было не стыдно.

Ежедневно радоваться от общения с окружающим его миром, и что, наверное, самое главное – чтобы мир ему радовался. И многое, многое

другое, которое раньше он считал второстепенным, в одночасье стало самым главным в его жизни. И даже неяркое позднедекабрьское солнце, словно поддерживая Алексея в его душевных рассуждениях, дружески подмигивало ему сквозь густые кедровые ресницы.

Выкопав яму под широкой юбкой старой ели, Алексей опустил в нее волка и, перемежая еловыми ветками, засыпал снегом. Постояв над могилой, побрел в зимовье.

За три последующих дня Алексей оббежал все свои путики, посдирал с жердочек капканы и утром четвертого дня, простившись с родным зимовьем, пошел, обходя польньи и продухи, вниз по заснеженной реке Хулге домой, в далекий Саранпауль.

Так они и скрылись за дальним поворотом. Впереди – человек без ружья с тощим рюкзаком за плечом и березовой жердочкой в руках, а сзади, весело подпрыгивая, за ним бежал щенок.

Елена КАПИТАНОВА

Жизнь

Ты говоришь о смысле бытия
Пространно, долго, сложно. Знаешь, я
Однажды у звенящего ручья
Сидела, наблюдая в тишине,
И мир у ног моих открылся мне
Во всей своей щемящей новизне.

Я видела, как гибкая трава
Теплом светилась и была жива,
Как щупальца морского существа.
Жива вода, и ею жив ручей,
И мошкара, звенящая над ней,
И ловкий, деловитый муравей.

Мне было мало лет, а мир – так прост.
И весь он был ответ, а не вопрос.
Земля дышала силой летних гроз.
И жизнь одна была – во мне и вне.
И столько разных смыслов было в ней
В одном лишь бесконечно длинном дне.

Ты говоришь о смысле бытия.
А я –
Хвоинка из того ручья.
И смело плещет жизнь через края,
И каждая секунда в ней – моя!

Минус

Люди выныривают из маршрутки,
словно парашютисты на старте.
Чьи-то острые скулы погружаются в воротник.
Суровые. Приглядишься – ну точно воины древней Спарты,
дыша облаками, движутся напрямик.

В такой нечеловеческий минус
становится вдруг особенно важно
идти прямой дорогой, без лишних слов.
И каждый становится ненадолго как будто и честней, и отважней,
и больше ценит дружеское тепло.

Бесцветные усики незнакомки,
что топчет валенки нетерпеливо,

заиндевели, искрятся во всей красе.
Я удивляюсь и сомневаюсь, но все же это и впрямь красиво
и вряд ли встречается в средней полосе.

Становятся женщины странно-прекрасны,
публично отрекшись от стиля и моды
и намотав на себя двадцать пять платков.
Мы вновь просты, чисты и забавны, как беззаботные дети природы,
освобожденные от оков.

Путник

Лесом, полем да как-нибудь
Вьется мой неширокий путь.
То в овраг меня заведут,
То помянут в сады свернуть
Земляника и резеда...
Мимо носятся поезда.
В них запрыгнуть стремятся те,
Для кого тишина чужда.
С мерным грохотом мчатся вдаль.
Я прощаюсь, но мне не жаль,
Мне дороже жужжанье пчел,
Чем гудящая рельсов сталь.
В узелке моем тишина,
Темнота и обрывок сна,
Фляжка для дождевой воды,
А на дне у нее – луна.
И в неизвестной лесной глуши
Расцветает на дне души
Что-то светлое. Жизнь одна –
Наслаждайся и не спеши.

Ангелу-хранителю

Кому я лгу? Я не была святой.
И даже в детстве, бедами грозя,
Характер противоречивый мой
Нередко заводил, куда нельзя.

Я не слыхала шума светлых крыл,
Увлечшись незатейливой игрой,
А ты меня с обрыва уводил,
Маня порханьем бабочки цветной.

От бурной речки прогонял домой
Грозой внезапной, и водоворот
Глотал лишь щепки. Светлый ангел мой,
Ты вел меня неслышно до ворот.

И если ошибаюсь сгоряча,
И впору с Богом перейти на «Вы»,
Я слышу шелест крыльев у плеча,
Так схожий с нежным шепотом листвы.

Тревожный сон, случайный разговор,
Простуда, ключ, забытый в беготне,
Меня от бед уводят. До сих пор
Незримо путь указываешь мне.

Лишь редкою молитвой на бегу
Тебя согрею, второпях прочтя.
Мой ангел, я тебя не берегу,
А ты меня прощаешь, как дитя.

Память

На чердаке за ржавой раскладушкой
Нашлись неожиданно старые игрушки.
В коробке желтой с надписью «галеты»
Их мама как-то спрятала на лето.
Но двадцать лет прошло без остановок,
И новый век стал в общем-то не новым.
И я не та... И что мне делать с ними?
И горько, что я помню их другими –
Совсем поблекли волосы Мальвины,
И не хватает шерсти в гриве львиной.
Так друг из детства на пустом вокзале
Встречается, не молод, сед и занят
Котомками, обедом или спором.
А ты внезапно с долгим разговором.
И образ детский, шумный, кареглазый
Вмиг разрушают две неловких фразы.

И лучше бы не открывать коробку,
Лишь изредка волнительно и робко
Тревожить память, где, как прежде, ярок
Мой Буратино – дедушкин подарок.

Опять приходит время перемен,
И лес, и зверь свои меняют шубы,
Пока не долиняют добела.
И тьма молочным сумеркам взамен
Идет, решительно целует в губы,
Заглядывает в зеркала.

За ней не успевают фонари,
И в белых рамах черные полотна
Смущают неуместную герань
Под складкой тюля. Просто посмотри,
И в этой тьме увидишь что угодно,
Душевым взором заглянув за грань.

И верится: в тот миг, когда в окне
Ряды светил зажгутся, чуть краснея,
Сквозь тьму проступит мир совсем иной,
Его черты, чудные, как во сне,
С минутой каждой станут все вернее
И навсегда останутся со мной.

Желтые рыбки трепещут в сети
веток.
Им бы сорваться, нырнуть в глубину
неба.
Как изумруд были их плавники
летом,
Только теперь это прошлого пыль.
Небыль.
Рыбки устали, их дворник сметет
в кучи.
Спите, укройтесь скорей с головой
снегом.
Что-то уже не вернется, и так
лучше.
Только осколки мечты убереечь
мне бы.

Творчество

В вечернем свете четче грани,
Живее явь. И летний зной,
Стекая по цветкам герани,
Уходит медленной волной.

Как уголек, притихло лето,
Чтоб завтра запылать огнём.
Оранжев мир и фиолетов,
А я? Я лишь песчинка в нём.

Мой век, как лето, быстротечен,
И суетлив, как искры дня.
Как стрекоза над быстрой речкой,
Я промелькну – и нет меня.

Но даже в коже спелой сливы,
Поспешно сорванной в саду,
Я вижу краски, переливы,
Томленье, юность, темноту.

Украдкой найденные губы,
Лукавый взгляд, тугую нить.
И мне бы только на бегу бы
Не растерять, не обронить...

Оставить сны, цвета и знаки,
Раскрасить памятью свой век.
Лишь только для того, чтоб всякий,
Задумавшись, замедлил бег.

Александр МАТАЕВ

Речной медведь

Рассказ

Как оказалось, при желании экономить можно даже на бесплатном. По крайней мере именно экономией скромных пенсионерских средств Данилыч мотивировал выбор средства передвижения на свою «fazенду». Хотя в чем именно состояла эта экономия, он объяснить бы не смог.

Но все по порядку. Данилыч зачем-то приобрел «fazенду» (опять же за бесплатно, точнее, за какую-то страшно дефицитную запчасть от «Запорожца»), хотя и на своем участке хватало простора для работы и фантазии. Особенность была в том, что «fazенда» эта находилась в заброшенной деревне в двух часах ходу на теплоходе «Заря» вниз по реке, и добираться туда было непросто. А ведь хозяйство (избушка, сарайка и огород) требует пригляда, да и картошку ту же садить-полоть-окучивать-копать надо, а накопаешь – вывезти. Так что ездить туда приходилось частенько.

Зачем все эти сложности – можно понять, только узнавши, что это была за деревня. Деревня называется Ермак. По-видимому, ребята Ермака Тимофеевича когда-то облюбовали это место для основания поселения, а уж они-то толк в красоте и удобстве для проживания знали. И то – деревня стоит на высоком речном берегу, вокруг вековой сосновый бор с вкраплениями темно-зеленого кедрача, и богатые рыбные угодья в окрестностях. Рай! А рыбалку Данилыч любил – не для рыбы даже, а ради самого процесса, когда спокойный плеск воды, и запах свежей рыбы, и даже настырный писк комаров на закате льют в душу такой мир и покой, что куда там храму... Впрочем, кому, конечно, как.

Ну любил Данилыч свою «fazенду» и частенько туда ездил; когда сам-один, когда с Федоровной, когда с сыновьями Федоровны, но чаще один, потому что билет на теплоход «Заря» ему как ветерану ВОВ давали бесплатно.

В чем состояла экономия, когда он договаривался с катерниками подбросить его до Ермака, понять было невозможно. Хотя, может быть, Данилыч просто решил по хорошей погоде не трястись в закрытой коробке два часа, а чинно-благородно на открытой палубе насладиться речными красотами и хорошей погодой.

Катерок принадлежал радиотелевизионной компании и развозил обслуживающий персонал и другую всячину, требующуюся на приемопередающих вышках, расположенных вдоль реки. Персонал деда уважал (а как его было не уважать?), и капитан без проблем согласился взять его с собой.

В общем, к условленным 8 часам утра Данилыч как штык, в сапогах, куртке-брзентухе и с рюкзаком прибыл на мостки, где возле телевизионной вышки был пришвартован «флагман флота». Корабль имел на борту гордое имя «А. Попов», а также на палубе какие-то ящики под брезентом, и в рубке уже маячил силуэт капитана.

– Грузись, дед! Скоро отходим! – строго скомандовал капитан.

Вид он имел лихой и бодрый, так как оказался достаточно выбрит и благоухал «Шипром». Тельняшка, заправленная в синие бесформенные

треники, лихости ничуть не убавляла. Гардероб дополняли кожаные сандалии на босу ногу и измятый бычок «Беломора» в уголке рта. Правда, запах «шипра» проистекал только в момент разговора, и это заронило в Данилыче некоторые сомнения в том, что одеколон использовался именно снаружи. Но в этом как раз ничего необычного не усматривалось.

Однако, отход судна откладывался по причине недокомплекта экипажа. Оказалось, что судну для нормального функционирования нужен был еще один матрос, а радиовышкам – еще два ремонтника. Но не прошло и часа, как появился недостающий матрос и один из ремонтников. Неизвестно, что был вчера за праздник, но от них подозрительно пахло, а в баулах позвякивало стеклотарой. Вид у обоих был помятый и неустойчивый.

– Ага! – обрадовался капитан. – А Семен где?

– Семен будет ждать на пирсе рыбзавода – ребята сырка солененького полмешка обещали, он им телик мастырил, – был ответ.

– Ага! – снова обрадовался капитан. – Запускай движок, я отшвартую. Дед, ты как?

Данилыч поднял вверх правую руку – мол, все в порядке. Он облюбывал себе место на лавочке перед рубкой и наслаждался утренним солнышком.

Ну и ладушки! Движок выплюнул в воду черную струю дыма, затахтел как палкой по штaketнику, катерок отвалил от мостков и стал медленно разворачиваться к берегу задом, а к водным просторам передом. Плавание началось!

Ремонтник сразу спустился в кубрик, а капитан и матрос по очереди по разику спускались к нему – видимо, для поднятия уровня здоровья – ибо внешний их вид стал ощутимо бодрее. Через полчаса судно пришвартовалось к пирсу рыбзавода, и ремонтник ушел на поиски своего напарника Семена и обещанной рыбы. Отсутствовали они недолго – всего минут сорок, ну в пределах часа – видимо, за смастыренный телик помимо рыбы полагался еще и бонус. За встречу, за то, чтобы не ломался телевизор, на посошок... Да, пожалуй, с час-то точно. А как иначе – порядок такой. Не нами заведено, как говорится... Капитан с Данилычем и матросом терпеливо сидели на лавочке и травили «за жисть». В общем, часа через полтора оба ремонтника, все еще прилично выглядевшие и даже с обещанной рыбой в нитяном мешке, сползли по трапу на борт, и плавание продолжилось.

Матрос с ремонтниками, сославшись на жару и прихватив рыбный мешок, спустились в кубрик, а капитан мужественно держался за штурвал и иногда его немножко крутил. Пока шли вдоль поселка, где летом движение плавсредств было интенсивным, он даже как-то отвлекся от происходящего в кубрике. Но как только поселок скрылся за плавным длинным изгибом реки, кэп начал прислушиваться и принюхиваться к происходящему в кубрике, двустворчатая дверца которого была распахнута настежь. И все большая тревожность вырисовывалась на его мужественном лице.

А в кубрике разговор «за жизнь» уже перешел в разговор «за баб» (где все эксперты экстра-класса и могучие самцы) и уже должен был скоро перейти на новую качественную ступень – «за работу». Эти неизбежные стадии мужского корпоратива хорошо известны всем, кто хотя бы раз участвовал в подобном мероприятии.

Кубрик, где происходила уважаемая ассамблея, заслуживает особого описания. По причине скромных размеров корабля в кубрике помещалось либо четыре человека сидя, либо два невысоких человека лежа. Вдоль бортов было два узких деревянных рундука (это помесь сундука и лавки), а посередине вдоль кубрика к палубе был привинчен узкий деревянный стол, покрытый фанерой. Все это было тщательно по-флотски выкрашено в несколько слоев масляной краски свинцового цвета и освещалось массивным круглым плафоном, забранным защитной решеткой. По бортам было развешено несколько картинок фривольного содержания и план эвакуации, а четыре имеющихся круглых иллюминатора никак не спасали от духоты. Странно, но несмотря на тесноту, помещение было довольно уютным, тем более что интерьер стола был украшен разнообразными овощами, розовым сальцом, зеленым лучком, ломтиками лоснящейся от жира рыбы, ломтями черного хлебushка, а в гранях стаканов отражалось все великолепие стола, включая и очередную зеленую склянку с прозрачной водкой. Вот в этой-то «уют-компании» и происходило действие, к которому неистово рвалась душа капитана.

Когда катер выбрался на длинное прямое плесо, жажда общения с коллегами в душе капитана победила-таки чувство долга, он оставил штурвал и подсел на лавочку к Данилычу.

– А ты, дед, часом, не из флотских будешь? – желая перейти на дружеское общение, кэп панибратски похлопал Данилыча по плечу.

– Бог миловал, – уклончиво покосился на него Данилыч.

– Худо... – философски протянул тот. – Каждый мушкетер, кто на воде живет, должен хоть немного флотскую науку пройти. Стодится когда...

Минутку помолчав для этикета, кэп неожиданно предложил:

– А порулить кораблем хочешь?

– Так это... не умею я, – застеснялся Данилыч. Но хотелось! Кому же не захочется порулить настоящим кораблем или паровозом?

– Ага! – обрадовался кэп. – Айда со мной!

В рубке состоялись краткосрочные курсы молодого матроса.

– Щас мы с тебя быстренько морского волка сделаем! – оптимистично заявил капитан. Потом он обвел внимательным взглядом массивную фигуру Данилыча, скромное оборудование рубки и акваторию прямо по курсу и поправился: – Речного. Волка.

– Встань сюда. Ноги чуть шире плеч – вдруг качка... Держись за штурвал... Да не за эти рога – вот за эти! Чтобы когда переключать при смене курса будешь – не путались руки! Топовые и гаковые огни не трогать! Звуковыми сигналами не баловаться! Со встречными расходиться левыми бортами! Попутные сами обойдут – ход у нас слабоват, – строго инструктировал кэп.

– Смотреть прямо по курсу в оба глаза, но видеть на 360 градусов! Глаза-то хоть видят у тебя?

– Один. Но видит, – с достоинством поправил его Данилыч. Во втором его невидящем глазу с войны сидел малюсенький осколок.

– Ага! – вновь обрадовался капитан. – Один-то видит! Тогда смотри здесь! Воооон, прямо по курсу на яру белое белеется – видишь?

– Вижу, – уверенно подтвердил Данилыч.

– Ага! Это ходовой щит... Зачем, да что, да почему – тебе еще рано: главное, держи на него. А как за поворотом покажется такой же – пере-

кладывай на него и топай так же бодрячком. Только если увидишь красный – на него не правь. Иди по белым. Ага?

Убедившись, что ноги Данилыча устойчиво находятся на нужной ширине, а руки на нужных местах штурвала – кэп ловко съехал по поручням в кубрик, не касаясь ногами трапа. Судя по восторженным воплям снизу – там уже давно его ждали как родного.

Данилыч не курил, естественные потребности были справлены заранее, а некоторая монотонность хода скрашивалась великолепием водной глади, окаймленной приятной зеленью заливных лугов и лесных высоких грив. Транспорт – ни встречный, ни попутный почти не беспокоил. Водная дорога была широченная, светило солнышко, а ветерок через открытые двери рубки ласково перебирал деду остатки волос на босой голове. Не любил он головные уборы без надобности носить.

Тем временем снизу уже доносилась громкая критика работы смежников радиотелевизионного центра, водной инспекции и особенно руководства этих почтенных организаций, причем когда разговор доходил до персоналий, он непременно принимал формы, мало пригодные для литературного применения, поэтому подробности приходится опустить. Да и какой смысл? Когда все говорят одновременно, местоимения и междометия прекрасно выражают суть разговора, а собеседники уже понимают друг друга иногда и вовсе без них. Высокий градус понимания в такие моменты зиждется на не менее высоком градусе взаимоуважения и всеобщей любви. Правда, существует вероятность качественного перехода этого этапа к дружеской драке, но искусство вовремя покинуть коллектив, чтобы освежиться, оберегает нормальных мужиков, ибо это уже лишнее.

Именно в такой момент – а Данилыч уже довольно ловко научился направлять суденышко на щиты нужного цвета и даже разок обогнул плывущую по течению корягу – капитан с инспекционной целью возник из недр кубрика.

– Как идем?! – напустив строгости в голосе, спросил он. – Происшествий не случилось?

– Да нормально. Идем как сказал.

Кэп прищурил один глаз, профессионально заценил направление и расстояние до белого пятнышка вдаль и удовлетворенно доложил:

– Ага! Вот так и держи! А я пойду скупнусь маленько – сморило что-то...

Тут он нетвердым шагом выбрался на палубу, затянул на поясе какую-то веревку, другой конец привязал к какой-то железяке на палубе и как был – в трениках, тельнике и сандалях – шустро выбросился за борт на глазах изумленного Данилыча. По всему было видно, что процедура эта отработана была тщательно, и потому Данилыча оно поначалу не беспокоило. Он привычно правил на белый щит, а натянутость веревки говорила о том, что кэп где-то рядом со своим судном.

Минут через десять в душе Данилыча заскребло смутное беспокойство. По всему – времени для освежающей процедуры прошло достаточно, а капитан и не думал возвращаться к командованию кораблем. Данилыч сверил направление движения, примерное время до следующего маневра и вышел на палубу. На другом конце натянутой веревки из белого буруна виднелись сандалии и частично просматривались ноги. Все остальное только изредка возникало на поверхности водоема. Похоже было, что веревка с пояса кэпа как-то сползла на его лодыжки, и тот находился в

режиме полоскания кормой вперед. «Однако че-то неладно», – догадался Данилыч и, подтянув веревку, начал вытягивать тело на палубу.

– Ох и тяжелый же кабан! А с виду и не скажешь... – рассказывал после Данилыч. – Я ево еле вытянул наверх – замаялся – рука-то левая не шибко у меня слушается, с войны ищцо... На палубу вытянул – из ево пена кака-то пошла... Ну я ево пузом на ящик – и по хребтине-то кулаком тихонечко постукал. Из ево пена-то с водой и выскочила. Так ить он очухался и как заорет: «Ты пошто вахту оставил?! Каким курсом идем?! Мать-перемать! Кто приказал?! Я тут капитан или буй педальный?!».

– Вот ведь гадство! – осерчал Данилыч и вернулся в рубку. «Гадство» было у него самым страшным ругательством, ибо пить, курить и материться он не привык даже на войне, хотя для поддержки мужского разговора мог матюгнуться, чисто чтобы поддержать стилистику. И много лет, занимая должности в пищевой промышленности, ежедневно принимал перед обедом «соточку» чистого спирта. Но никто и никогда не видел его больным и тем более пьяным.

– Вот ведь гадство! – снова ругнулся Данилыч и начал маневр поворота на очередной белый щит, показавшийся из-за поворота.

Минут через пять в рубку пришлепал кэп – вымытый, выжатый и совершенно трезвый.

– Вахту принял! – торжественно доложил он, предварительно заправив тельник в треники. – Можете отдыхать! – и он, переняв из рук Данилыча штурвал, дал короткий радостный гудок.

– А ты молодец, дед! Экзамен на речного волка сдал с первого захода! Ни одной мели не зацепили! Хотя, какой ты волк – ты медведь, – и без всякого панибратства уважительно пожав Данилычу руку, провозгласил: – Я вам тут не дырка от гальюна, а капитан! А потому присваиваю тебе звание **РЕЧНОЙ МЕДВЕДЬ!!!** Ура!

Ну а плавание в дальнейшем проходило в штатном режиме: в кубрике все тихонько спали, кэп рулил, катерок тарахтел дизелем, и Данилыч был благополучно доставлен до «фазенды».

Ксения Якимова

Лунный свет

Она тихо вошла в пустую квартиру. Воеет ветер в щелях. Здесь может самую малость теплее, чем на улице. От холода не спрятаться, он впитался в кресло, доски пола, пальто, руки. Некуда бежать от холода, некуда.

Она свыклась с этим. И все свыклись. Холод, такой мрачный и безликий, уже не так пугает людей, как голод. Голод – это костлявая старуха с почерневшей кожей, лохмотьями свисающей с острых локтей. Глаза ее горят безумно. Старуху-голод видят перед собой все. И Рита видит ее сейчас – вон, сидит в темном углу, моргает. Молчит. Всегда молчит. Голод лишает голоса.

Рита, пошатнувшись, помотала головой – старуха исчезла, но надолго ли? Мучительная боль, с которой Рита уже свыклась, пронизывала все тело с новой силой при виде этой старухи. В кармане последний запас – крошечная горбушка хлеба, а промерзшая кухня словно насмехается над Ритой – здесь нет ничего, кроме пропитавшегося морозом стола и пустых полочек. Здесь нет ничего. И никого – дочка умерла от голода месяц назад.

Рита поставила тяжелый бидон с водой у двери – нет сил тащить его на кухню. Слабо переставляя ногами, Рита подошла к креслу, упала на него, уставилась в одну точку. В голове был только шум. Проскользнуло горькое: «Все вымерло в этой квартире». А после: «Скоро и я умру».

Каждый вечер она думала об одном и том же, и каждый раз ухитрялась ухватиться за жизнь, не попасть под завал разрушенного бомбежкой дома, не свалиться на дорогу в томительной очереди за хлебом и не оказаться раздавленной под сотнями ног точно таких же, изможденных голодом, жаждущих хлеба людей.

Рита зябко передернула плечами. Дуло из разбитого окна, кое-как заткнутого подушкой. Недавно бомбили совсем рядом – от вибрации стекла лопнули в комнате и на кухне. Подушка не спасала от мертвецкого мороза, да и какая теперь разница, от чего умереть – от голода или холода.

Город, такой любимый, до дрожи родной – что с тобой стало? Рита простояла долгую очередь, чтобы набрать немного воды в Неве. Молчаливые люди неподвижно стояли на холоде, и Рита поняла, что все обезобразилось. Старуха-голод своей черной лапой изменила людей до неузнаваемости, превратив человека в безвозрастное, дистрофически худое существо. Дети, дети – с побелевшими щечками, тонкими руками и выражением полусна на прикрытых глазах – как страшно смотреть на то, как они медленно угасают! В очереди за водой Риту окружали живые трупы.

«Когда же, когда же домой? – думала Рита, пошатываясь. – Упаду, – думала она, – упаду, и меня равнодушно обойдут... Умру, вот чувствую, уже сегодня. Умру...»

– Не надо... – послышался дрожащий детский голосок позади Риты. Она обернулась и увидела закутанного мальчика лет семи. Он смотрел на нее испуганно, настороженно.

– Не умирайте, пожалуйста, – тихо произнес мальчик, шмыгнув носом, – мне страшно.

Рита невидяще уставилась на него.

– Как ты прочитал мои мысли?

Тот удивленно посмотрел на нее.

– Вы это вслух сказали.

Рита смотрела на этого кроху, смотрела в его умные серые глазки, пытаясь представить его в легкой курточке, с круглыми щечками и с леденцом в руке. Но не в огромном ватнике, не с дрожащими ресницами и серыми скулами. Такими же, как и у ее дочки за несколько дней до смерти.

– Так вы не умрете? – мальчик вытер набежавшую слезу.

Рита уняла дрожь в коленях и присела перед мальчиком. Погладила его по шапке-ушанке.

– Постараюсь.

Когда дошла очередь Риты, она уже еле держалась на ногах. Набрал полный бидон воды, она горько подумала: «А ради чего жить?»

Потом предстояла долгая дорога домой – везти полный бидон на санках следовало бережно, объезжая вытянутые свертки на дороге – это были трупы. Смерть гуляла по Ленинграду и уже стала частью жизни города. Рита уже который раз проходила мимо замерзшего дедушки, присевшего на скамейку у подъезда, да так и не вставшего с нее. Лицо его было спокойно, на губах застыла блаженность покоя, и Рита украдкой завидовала ему.

Пока Рита дошла до своего подъезда, совсем выдохлась. У собственной двери она чуть не упала, но вовремя успела ухватиться за ручку. Слава Богу, не разлила воду, которая досталась таким трудом. Стоит сейчас этот бидон в прихожей, а Рита смотрит на него из своего кресла.

«Нужно перетащить воду на кухню», – подумала Рита, и тут поняла, что у нее совершенно не хватает сил на то, чтобы встать с кресла. Давящая слабость чугуном влилась в руки и ноги, и попытки подняться не увенчались успехом. Вскоре она откинулась на спинку кресла и хрипло вздохнула. Костлявая старуха корчилась в темном углу, зыряка своими огромными глазами.

– Все? – тихо спросила себя Рита. В висках ныло, колело, ноги отказывались слушаться.

– Все, – ответила она сама себе и прикрыла глаза, – все.

В этот самый момент в дверь постучали. Рита резко распахнула глаза и уставилась на входную дверь.

– Откройте, почта! – послышался тонкий голос вслед за стуком.

«Почта... мне? Зачем...» – мысли беспорядочно рассыпались в голове, и Рита, стиснув зубы, из последних сил крикнула:

– Войди, не заперто.

Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щелку заглянул глаз.

– Гражданочка, вам письмо.

– Заходи....

В прихожую вошла девочка лет тринадцати, худая и бледная, одетая в форму, огромную для нее, с огромной сумкой через плечо.

Рита молча разглядывала юного почтальона, а та топталась на месте с небольшим конвертом в руках.

– Пожалуйста, дай мне руки, – попросила Рита, – я не могу встать.

Девчонка робко подошла к ней и протянула письмо.

– Может, я смогу вам помочь?

Рита попыталась улыбнуться.

– Не нужно.

– Мне совсем не сложно! – девчонка настойчиво протянула руки к

Рите: – Держитесь за меня.

Рита взялась за худые ладони девочки, покачнулась вперед и встала. Голова у нее резко закружилась, и Рита чуть не упала, благо девчонка успела подхватить ее. Крепко сжав в руках конверт, Рита произнесла:

– Мне никто не может присылать письма.

Тень сомнения пробежала по лицу девочки.

– Совсем никто?

– Совсем. У меня никого нет. Моя дочь, Глашенька, умерла месяц назад, от голода. Больше у меня никого не было.

Глаза девчонки жалостливо уставились на Риту. Та, покачиваясь, опираясь на плечо девчонки, разглядывала свою серую, дистрофически тонкую руку, держащую конверт. Письмо мелко дрожало.

– У меня тоже сейчас братик умирает, – тихо сказала девчонка.

Рита взглянула на нее.

– Младший?

– Да. Он плачет от голода. Мне тяжело, – девчонка опустила глаза, – тяжело смотреть на то, как он умирает.

У Риты перед глазами всплыли испуганные серые глаза и тоненький голос: «Прошу вас, не умирайте, мне страшно».

«Фашисты, – Рита сжала кулаки так, что ногти больно воткнулись в ладони, – вы ответите за жизни людей... Ответите...»

Она покачнулась, и девчонка-почтальонша еле успела придержать Риту за локоть.

– Осторожнее, гражданочка, – тихо предупредила она, – у нас должны быть силы... Чтобы жить, тем самым бороться за наш Ленинград.

Рита, сглотнув, кивнула.

– А мне пора. Люди ждут письма.

Девчонка похлопала по набитой сумке и помогла Рите сесть.

– Пойду я.

Она уже направилась к двери, но ее остановил оклик Риты:

– Постой!

Та остановилась и посмотрела на Риту. Рита с болью смотрела на эту юную девочку, так похожую на Глашу. Худая, со взглядом взрослого человека, со сжатыми в тонкую нитку губами – это был просто обтянутый кожей скелет. Рита сунула руку в карман. На месте...

Осторожно вытащив горбушку хлеба, Рита протянула его девчонке. Глаза той округлились.

– Возьми. Себе и братику...

Девчонка попятилась, словно испугавшись:

– Не возьму! Нипочем не возьму!

– Возьмешь! – настойчиво произнесла Рита. – Ради брата.

Девчонка мяла ручку сумки, не моргая глядя на хлеб.

– Ну же, держи... – Рита прямо смотрела на нее.

Девчонка подошла и дрожащими пальцами взяла горбушку.

– Как тебя зовут?

– Надя, – тихо произнесла девочка, и тут же склонилась в низком поклоне, – спасибо... спасибо вам!

Глаза ее покраснели и заблестели, она торопливо принялась прятать заветный хлеб.

Вместо ответа Рита лишь улыбнулась.

– Будем жить. Ради нашего города.

Ей стало так легко, так хорошо....Когда Надя исчезла за захлопнувшейся дверью, Рита с нежностью подумала: «А как же она похожа на Глашеньку...»

Тут только она вспомнила о письме. Рита перевернула конверт – адрес был действительно ее. Кто мог вспомнить о ней? Минут пять она просто бессмысленно смотрела на конверт, пока в голове не вспыхнула мысль, как это могло произойти. Ведь жила она в этой квартире месяца два, не больше, после того как их с Глашенькой родной дом разбомбили.

Стало быть, пишут по старой памяти прежней хозяйке. Сердце Риты ухнуло, она теперь разочарованно смотрела на помятый конверт, прошедший нелегкий путь до своего адресата.

«Знает ли тот, кто писал это письмо, что нет в живых больше этого человека? – тяжело стало на душе, пусто. – Так и будут идти письма в пустоту, – думала она, разглядывая осиротевшее письмо, – так и будет писать человек своему человеку, пока не вернется с фронта уже к могиле...»

«Нужно сходить к управдому, пусть напишет ответ», – скользнула благая мысль, и Рита, немного поколебавшись, решила вскрыть письмо.

Из вскрытого конверта на руки Рите выпала похоронка. Рита смотрела на нее долго, не шевелясь. «Значит, ответ будет не нужен...» – тихо решила она. «Покойся с миром, Иван», – взглянув на имя, подумала она. Рита почувствовала, что в конверте еще что-то есть. Да, это был маленький листочек. Она развернула его.

Карандашом, видно, второпях, было начеркано: «Лизонька, здравствуй. Надеюсь, что у вас все хорошо... Я вот воюю, думаю о тебе в перерывах между боями. Вспоминаю нашу прежнюю, довоенную жизнь. Как же хорошо было, так ведь? Мало времени у нас. Ты держись стойко, родная, жди меня. Хочу сказать, как безумно люблю тебя, твои глаза и твою улыбку. И еще: в верхнем ящичке, что над столом, я спрятал крупу. Давно это было. Достань ее да разумно расходуй. Все. Целую, Лизонька. Твой Ваня».

Письмо в руках Риты мелко дрожало. Она вскинула голову и, заметив дальний ящик, почувствовала, как сильно колотится сердце. «Ну же, он пуст», – скользили в голове мрачные мысли. «Нет, не пуст!» – наоборот, кричало что-то внутри, что-то, что мигом заглушило поток мрачных мыслей.

Она встала, дрожащими руками потянулась к заветному ящичку – через несколько мгновений он уже был у нее в руках. «Полон, полон...» – в глазах пульсировало от тяжести, шум в голове усилился – но откуда взялись вдруг силы? Дрожа всем телом, она с силой содрала крышку и заплакала.

В тугих мешочках мягко шелестела пленка, сквозь которую виднелась пшеничная крупа. Крупа! Рита плакала, боясь, что ящик может исчезнуть, стоит ей только отвести взгляд от него. Но все оставалось как прежде. Как прежде нещадно дуло из разбитого окна, одиноко блестел алюминиевым боком бидон в прихожей, а Рита, пошатываясь, стояла у раскрытого ящичка и горячо благодарила неизвестного ей Ваню, спасшего ее от голодной смерти.

Она жалела лишь об одном – о том, что не раскрыла тайну ящичка при девочке-почтальонше. Рита плакала, в окне был ветер – все оставалось как прежде, лишь костлявая старуха куда-то исчезла из темного угла – вместо нее нежный лунный свет обнял промерзшую комнату.

ПУБЛИЦИСТИКА

Валерий МУРЗИН

Пограничники Рассказ-реквием

1 мая 1998 года

Планируя действия по-боевому, наметили маршрут движения, организацию связи и взаимодействия, сигналы управления. Медицинское обеспечение обсудили детально, мало ли что может произойти. Решили в целях маскировки выдвигаться в гражданской одежде. Меня назначили старшим и обязали явиться в парадной форме с наградами.

Нас четверо: костяк ветеранской организации «Ветераны-пограничники Тюменской области».

Офицеры, совсем недавно прошедшие огонь войны, статный седовласый полковник Василий Иванович Исаченко, интеллигентного вида, в очках, рослый, но слегка потучневший подполковник Валерий Павлович Репетов, мой командир, солидный и невозмутимый полковник Михаил Трофимович Минаков и я, 26-летний капитан Валерий Мурзин, спланировали мероприятия на май.

Мы собрались провести ветеранов-пограничников Великой Отечественной войны, поздравить постаревших победителей, побеседовать, чем-то помочь. А самое главное, чтобы они почувствовали внимание и заботу своих, родных людей в зеленых фуражках.

Стоим у дверей обшарпанного, расписанного бранными словами подъезда хрущевки. Перекуриваем, собираясь с духом и мыслями. Я вообще плохо себе представляю, как все будет происходить. Волнуюсь. Вытираю вспотевшие ладони носовым платком. Михаил Трофимович подбадривает:

– Ничего. Подскажем, поддержим. Нам пора. Опаздывать не полюдски.

Поднимаемся на второй этаж. Меня пропускают вперед.

– Почему я? Василий Иванович, вы же старше по званию и возрасту! – пытаюсь увильнуть от шага в неизвестное. Да, я приказывал, командовал ротой, батальоном – ровесниками. Но как быть сейчас, не представляю.

– Валер, мы тебя председателем избрали? Избрали. Ты и команду!

Делать нечего, назвалса груздем – полезай в кузов. Нажимаю кнопку звонка. Обитая дерматином дверь открывается почти мгновенно, словно нас ждали у дверей. Полная женщина лет пятидесяти, увидев нас, приветливо улыбается и приглашает войти. Толкаемся в тесной прихожей, раздеваемся. По-военному кратко представляемся.

Людмила Александровна, социальный работник, показала, где сложить верхнюю одежду, извинилась и просеменила на кухню. Мы скромно мнемся в прихожей.

С любопытством осматриваюсь. Обстановка напомнила мне о восьмидесятых годах. Платяной шкаф в прихожей и трюмо с потрескавшимся от времени лаком удивительно похожи на мебель в родительском доме. И под ногами такой же коврик, связанный из цветных лоскутков ткани. Ноздри щекочет густой запах лекарств, чихаю.

– Будьте здоровы, – выглядывая из кухни, желает Людмила Александровна, – проходите в комнату, не стесняйтесь. Я только чайник поставлю. Да проходите же, Александр Степанович вас ждет не дождется.

Валерий Павлович подбадривающе кивает мне, и я смело вхожу в комнату.

Александр Степанович парализован. Маленького роста высохший человек лежит неподвижно в кровати с манежем размером чуть больше детской. А глаза деда светятся радостью. Каждый из нас представился, кратко рассказал о себе. Дед что-то говорит. Я не могу разобрать слова. Речь почти неслышна, непонятна. Оглядываюсь. Может быть, кто-то расслышал? В глазах офицеров такая же растерянность, как и у меня. С чего начать? Рассказываю, как живем, как служат сейчас пограничные войска, как вообще там – за манежем кровати, за стенами квартиры. Меня поддерживают товарищи, подхватывают рассказ.

Вновь что-то пытается сказать дед. Наклоняюсь. Сердце учащенно бьется, на груди звонкими колокольчиками откликаются медали. Я смущаюсь, не привык за годы службы к парадной форме. Прислушиваюсь. Силюсь разобрать, что шепчет ветеран, но не могу. Наваливаюсь грудью на стенку манежа, склоняюсь как можно ниже. Внезапно колет в сердце. Не успеваю испугаться, догадываюсь, на колодке медали расстегнулась игла. Встречаюсь взглядом с дедом. Глаза его – солдата-пограничника, мутные, со слезой – пронзительно смотрят на фуражку, жгут, просят.

Я опять оглядываюсь на офицеров. В их повлажневших глазах вижу немое подтверждение своей догадки и одобрение – действуй!

Снимаю головной убор, молча надеваю деду на голову зеленую фуражку. Он, лежа в кровати, вытягивается, пытается замереть в строевой стойке. Силится приложить дрожащую руку к козырьку пограничной фуражки, отдать нам воинское приветствие: «Честь имею!»

Выпрямляюсь. Горло давит стальной обруч спазма. Подбородок Александра Степановича дрожит. Догадываюсь, дед плачет без слез. В его сухом теле просто нет влаги. Вдруг у старого пограничника по щеке покатилась одна-единственная слезинка.

Колет в груди, теперь уже не стальная игла награды – боль. Выжгло еще один багровый рубец в душе...

Пьем чай. Александр Степанович устало прикрывает глаза. Да, пора уходить. Тепло прощаемся...

Короткая передышка, пока едем по другому адресу.

Перед нами подъезд, как две капли воды похожий на предыдущий. Такие же бранные слова на стенах и запах нечистот.

Звоню в дверь. Все повторяется, тесная прихожая однокомнатной квартиры, почти такая же мебель и обои. Но слава Богу, здесь не пахнет лекарством, и женщина, открывшая дверь – родной человек ветерану. От нее пахнет сдобой, теплотой и добром. Раздеваемся, проходим.

В комнате спартанская обстановка, ничего лишнего. У окна железная кровать с ажурными спинками, в изголовье растопырил ножки лакированный журнальный столик. Напротив кровати стоит невысокая тумбочка с телевизором «Рубин», над ним деревянная книжная полка ручной работы и явно старинная.

Николай Владимирович – пограничник, принял первый бой с фашистами 22 июня 1941 года на Буге. Дед выжил в аду войны. Ходит с помощью,

сам встать не может, слюну не сглатывает, промокает постоянно платком. Дочь помогает ему сесть.

Мы устраиваемся на стульях возле кровати. Николай Владимирович бодро шамкает беззубым ртом:

– Катенька, принеси бутылочку красного.

Мы удивляемся. И вот уже Кагор в наших стаканах. Звучит тост: «За Победу!»

Слабая улыбка проявляется на старческих губах. Ветеран слегка закидывает голову, подносит стакан, вливает в рот граммов двадцать вина. Желтые иссохшие щеки покрываются легким румянцем. Екатерина Николаевна носовым платочком промакивает отцу уголки рта. Но все равно две рубиновые капли падают на его грудь, расплываются пулевыми отметинами. Дочь укоризненно качает головой.

Василий Иванович отвлекает всех пограничными байками. Втягиваемся в разговор. Рассказываем снова о службе и жизни, только более подробно, отвечаем на вопросы. Пьем чай с печеньем.

И снова неожиданно звучит просьба дать фуражку. Дед надел... и САМ ВСТАЛ с кровати, без помощи!!! Идет к двери провожать нас, шаркает ногами. Шаг, еще шаг... Каждый его шаг раскаленным гвоздем в мое сердце вбивает память.

Кровь шумит горной рекой, рвется из берегов вен, как тогда на Калай-Хумбском перевале высотой 4 350 м. Мою спину и грудь сдавливает не 16-килограммовый разгрузочный жилет с патронами и гранатами, не двадцатикилограммовый ранец десантника, набитый минами и взрывчаткой. Меня пытается согнуть, придавить к земле сознание того, что я не могу ничего изменить, не могу помочь вернуть этим людям хотя бы немного здоровья, хоть несколько лет жизни. На меня многотонной глыбой обрушивается груз бессилья.

Вечер. Молча стоим во дворе. Курим подряд одну сигарету за другой. Валерий Павлович, бросая в урну третий по счету окурочек, не выдерживает:

– Ну что? По одной на брата мало, две много, берем по три беленькой?!

Василий Иванович предлагает:

– И ко мне домой.

Да. Все киваем в знак согласия, идем в магазин...

Первые две рюмки пьем быстро, как говорится, чтобы пуля между ними не пролетела. Третий тост за погибших, вспоминаем ребят. Не хочу, а мозг настойчиво извлекает былое. До сих пор не могу разделять мясо. При виде кровавых кусков из глубин памяти всплывают фрагменты – разорванные тела. Я устал носить в себе войну. У меня уже не остается сил. Я отворачиваюсь. Делаю вид, что разглядываю книги.

Василий Иванович не спеша поднимается, подходит к шкафу и достает подарочный набор видеокассет. Большие красные буквы названия контрастно выделяются на зеленом фоне. Восемь кассет – восемь двухсерийных фильмов киноэпопеи «Государственная граница».

Для любого пограничника на всю жизнь остаются святыми слова: «Приказываю выступить на охрану государственной границы!»

22 июня 1941 года 485 пограничных застав подверглись нападению фашистской Германии, еще 230 застав вступили в бой 29 июня 1941 года. Они дрались с превосходящими силами противника в полном окружении часами, сутками, неделями, без связи. Превосходство немцев было

30–50-кратным, а на направлениях главного удара достигало и 600-кратного превосходства. 22 июня 1941 года ни одна пограничная застава не отступила и не сдалась!

За 25 лет войны в Афганистане и Таджикистане ни один пограничник не нарушил приказа. В руках противника не осталось ни одного тела погибшего пограничника!

Упрямая память внезапно бьет током и мгновенно отбрасывает меня в прошлое, на берег Пянджа. Государственная граница. Мне стукнуло 22 года. Ночь. Знакомый участок девятой заставы. Ущелье. Жесткая трава, выгоревшая на беспощадном солнце, режет руки. Вытаскиваю попавшего в засаду раненого солдата, а он без сознания, тихо стонет у меня на плечах. Сзади в паре сотен метров душманы. Стискиваю зубы от напряжения, ползу по минному полю. Снимаю мины, откладываю в сторону одну, вторую, десятую...

Тороплюсь. Я не имею права ошибиться и не имею права медлить. Справа от нас и немного сзади срабатывает электронный самоликвидатор мины – взрыв! Яркая вспышка ослепила, в ушах звенящая глухота. Прижимаюсь щекой к холодным губам Владислава. Жив, дышит! Метров десять осталось. Сил нет. Тринадцатая, четырнадцатая.

По лицу течет, выедает солью глаза, разъедает потрескавшиеся губы. Размазываю по своему лицу пот и его, Влада, серый с белыми прожилками мозг, перемешанный с бордовыми сгустками крови.

В ущелье сбросили веревки. Обвязываю Влада и себя. Нас поднимают. Вынес.

– Братишка, доползли. Влад, мы у своих! – держа на коленях его голову, шепчу я.

В ответ слышу глубокий выдох и чувствую кожей, как душа парня отделяется и проходит сквозь меня, словно ветер через ткань. Тело солдата в одно мгновение отяжелело, стало неподъемным.

Заместитель начальника погранотряда майор Городилов, афганец, подает мне кружку неразбавленного спирта, и я пью его, как воду. Меня трясет в ознобе. Уткнувшись в панель приборов УАЗа, задыхаясь воздухом и захлебываясь слезами, плачу – громко, навзрыд.

– Влад... Ребята... Простите... Не успел...

– Ты сделал что мог, это не твоя вина. Валера, ранения, не совместимые с жизнью. В голову два осколка, мозг поврежден, спина разворочена противопехотной миной, взрывом двух фугасов его отбросило на сто метров, он упал в ущелье с высоты 18 метров. Как он жил, я не понимаю! – кричит мне в контуженное ухо начмед Серега Бугерко.

Я не потерял дар речи, просто ни с кем не хочу говорить. Три дня немоты...

Своенравная память медленно возвращает в реальность. Осознаю, что прошло четыре года с того момента.

Оглушенный, не совсем еще понимаю, что это подарок для меня. Бережно беру кассеты из рук Василий Ивановича. Этот жест – последняя капля. Прорвало. До сегодняшнего дня казалось, что тогда я вырвел все...

Сжимаю до боли челюсти, чтобы ни всхлипнуть, как институтка. Катятся слезы, горячие, как кровь. Сегодня я плачу второй раз.

Обнялись вчетвером. Молчим. Слезы у всех. Чувствуем без слов, что не высказано.

А завтра еще матери и вдовы. Нам идти к родным погибших наших товарищей, под выстрелы взглядов, под атомные бомбы боли. Мы-то живы. А послезавтра возлагать на могилы цветы... И снова боль, боль, боль...

1 мая 2008 года.

Стою у подъезда один. Нет пограничников, с кем 1 мая 1998-го я стоял у этих дверей, к кому ходили. Никого...

Ветераны Великой Отечественной ушли не сломленные. Нет рядом со мной и моих командиров, Василия Ивановича, Валерия Павловича, Михаила Трофимовича. Им всего-то чуть-чуть перевалило за пятьдесят... У всех не выдержали изъеденные войной равнодушные сердца, один за другим ушли в небеса.

*Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня.*

*Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликаю
Всех вас, кого оставил на земле.*

Но я не один, они рядом со мной, в едином строю, незримая моя поддержка, мои все понимающие, мудрые наставники, отцы-командиры!

И живы они все, пока мы ПОМНИМ! И память эту мы обязаны бережно сохранить и передать своим детям и внукам.

Я сохраню. Клянусь!

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Светлана РАДАЕВА

Я – Кошка, или Ищу друга

Повесть-сказка

Кошкина грамота

«Привет! Меня зовут...»

Здесь я приостановилась, почесала за ушком и хорошенечко задумалась. А в самом деле, как меня зовут?

Раз имя дать некому – то и имени нет.

Ладно, попробую представиться по-другому. И уткнувшись носом в бересту, старательно нацарапала:

«Привет! Я – Кошка».

Удивлены?

А может, вы всерьез думаете, что кошки не понимают человеческого языка?

Ошибаетесь!

Я так хочу рассказать о себе, что даже письму обучилась.

Надо бы написать:

«Начальную школу окончила с отличием».

Да-да, каждое утро я приходила на школьный двор, кроме выходных и каникул, разумеется. В школу, конечно, не пустили – побоялись, что места детей за партами могут кошки занять.

Но я нашла выход: запрыгивала снаружи на окна, взбиралась в открытые форточки и слушала оттуда учителей – внимательнее, чем все дети в классе, вместе взятые. Я была самая скромная ученица – меня даже не заметили. И самая прилежная: ни разу не опоздала и не пропустила ни одного занятия.

Зато теперь и писать, и читать, и считать умею... Вот и пишу:

«Спасибо учителям за науку!»

Кстати, лучшего материала для письма, чем береста, не найти – ведь выцарапывать буквы приходится когтями:

«Давайте продолжим знакомство».

От своей знакомой я слыхала: люди, когда знакомятся, интересуются возрастом, ростом, весом, цветом глаз и волос, полом, интересами... И специальные объявления пишут. Знакомительные. Знакомая лично видела. Она любит порой бумагой информационной пошуршать.

Тогда-то я и подумала: «Люди пишут знакомительные объявления, а я про себя целую историю напишу...»

Но обо всем по-порядку – мр, обожаю порядок.

Итак:

«Мой рост – средний кошачий. Вес – 4,5 килограмма».

Вы спросите: «Откуда точные данные?»

Очень просто – я готовилась к знакомству. Взвешивалась специально. В магазине. Там стоит много весов, и я на одни запрыгнула. Ох и шуму было! Не люблю, когда шумят по пустякам.

Скребу, то есть пишу, дальше:

«Цвет глаз – солнечно-зеленый».

Это знакомые решили, со стороны виднее.

«Цвет волос – разноцветный».

«Так не бывает!» – скажете вы.

Почему же? У меня основание волоса одного цвета, середина – другого, а вершок – третьего. Точно знаю: пока вылизываешься, можно себя от шкурки до шерстки разглядеть. А еще есть рисунок в виде пятнышек и полосочек – природа подарила. Мр! Это что же получается: разноцветная разрисованная? А здорово звучит! Один солидный кот рассказывал мне про кошачьи породы... Наверно, разноцветная разрисованная – это и есть моя порода.

Теперь – про возраст:

«Мой возраст – вечно юная».

Как посчитала? Еще проще, чем вес на весах: я дату своего рождения не помню, значит, я – вечно юная.

«Пол – дама. Симпатичная, с пушистыми усами».

У людских дам усы – это недостаток, а вот у кошачьей дамы – самая важная часть облика.

«Мое самое любимое занятие – спать».

Но мне всегда что-то мешает. Иначе бы спала целыми днями. Свернулась бы клубочком, подложила лапку под мордочку. И сразу приснилось бы что-нибудь очень-очень приятное... Например, мое имя.

Я зажмурилась и замурлыкала от удовольствия. Потом потерлась щекой о бересту, чтобы лучше думалось: «Про что еще обычно пишут? Кажется, про вредные привычки и хороших знакомых».

«Вредных привычек не имею, – гордо нацарапала я. – Все привычки исключительно кошачьи».

Далее – о знакомых:

«Моя хорошая знакомая – кошка Лялька. Ей это имя дала Хозяйка».

Даже не знаю, хорошо ли иметь свою собственную Хозяйку?

Изо дня в день Ляльке делают кучу выговоров и замечаний. Самое страшное ругательство Лялькиной Хозяйки звучит так: «Пошла сто раз брысь отсюда!». Да, обязательно запишу:

«Не выношу, когда кричат «брысь». «Брысь» – ругательное слово, оскорбительное для тонкого кошачьего слуха. Культурные люди его никогда не используют».

Думаю, вы со мной согласитесь. Я за это утверждение и днем, и ночью проголосую четырьмя лапками и хвостом.

«Куда? Стоять!» и «Перестань линять немедленно!» – две самые популярные фразы, которые говорит Лялькина Хозяйка.

Хорошо ей выражаться! Да для кошки перестать линять – как для человеческой дамы проходить всю жизнь в одном-единственном платье.

И разве люди не знают, что кошки – существа самостоятельные и гуляют сами по себе?

Вот когда-нибудь пойду и нацарапаю на Лялькиной двери:
Насильно кошку не удержишь!»
Пусть ее Хозяйка призадумается о своем поведении.
Поговорить со мной Ляльке тоже толком не дают: «Лялька, домой!
– кричит постоянно недовольная Хозяйка. – Выбирай себе знакомых!»
А если Лялька пытается что-нибудь сделать по-своему – ну и шум под-
нимается! Больше, чем когда я запрыгнула на весы.
Нет, мне такого не надо. Что же, выходит – Хозяин мне ни к чему? И
я всегда буду одна?
Одной скучно. Не для кого мурлыкать. Некого царапнуть – чуть-чуть,
по-дружески. Никто не погладит...
Мяу, сейчас совсем расстроюсь! И с Хозяином не так – и без Хозяина
никак.
Мр, поняла!
Уже записываю на бересте, пока не забыла:
«Мне не нужен Хозяин. Мне нужен Друг. Верный. На всю жизнь.
Человек с большой буквы».
Интересно, а такие бывают?

КРАЕВЕДЕНИЕ

Евгений БОНДАРЁВ

Сибирские корни авиаконструктора Туполева

Уже несколько лет мы с родителями занимаемся генеалогией и историей нашего рода. Какие-то факты удалось установить, многое, что еще хотелось бы узнать, требует кропотливой работы в архивах. И порой изучение архивных документов приводит к удивительным открытиям.

Во время работы над родословным деревом я узнал, что родная сестра моей прапрабабушки, Юлия Воротынская, вышла замуж за чиновника по фамилии Туполев. Как гласила семейная легенда, был он из семьи «тех самых» Туполевых, родственник знаменитого авиаконструктора. Довольно долго я думал, что такого быть не могло, и мы имеем дело с однофамильцем. Однако сразу несколько родственников старшего возраста из разных городов упоминали о родстве с Туполевыми, поездках в тверское имение отца авиаконструктора, и даже совместной охоте! Возможно, легенда имела под собой какую-то основу. Я решил проверить и начал с официальной биографии Андрея Николаевича Туполева.

Каково же было мое удивление, когда я прочел, что отец академика окончил Тобольскую мужскую гимназию! Более никаких подробностей не приводилось, лишь упоминалось, что род свой Туполевы велят от сургутских казаков. Но и этого было достаточно для начала – Туполевы и вправду были связаны с Тобольском, с Сибирью!

Выяснилось, что никаких исследований о сибирских корнях академика А.Н. Туполева биографами и потомками не проводилось. А ведь это интереснейший кусочек истории нашего края. Кроме того, изучение генеалогии Туполевых будет способствовать пополнению сведений о семье великого изобретателя. Это обусловило актуальность исследования.

Сургут – колыбель казацкого рода Туполевых

Андрей Николаевич Туполев (1888–1972) – советский авиаконструктор, под его руководством спроектировано свыше 100 типов самолетов. Самолеты Туполева до сих пор используются в военной авиации.

Казаки Туполевы были одними из старожилов Сургута. Фамилия Туполев произошла от прозвища Тупыль. Возможно, оно образовалось от глагола «тупить», «затуплять, делать тупым» и относилось к числу «профессиональных», то есть указывало на род занятий человека. Однако есть предположение, что фамилия Туполев восходит к языку коми: тупыль в переводе с коми означает клубок, сверток; узел (с вещами).

Впервые предок Туполевых упоминается в «Книге окладного жалования сургутским служилым людям, ружникам и оброчникам»: казак Лучка Иванов Тупыль служил около 1620 года толмачом – переводчиком с языка ханты. В 1626 году его вновь назначили на эту должность. В окладной книге 1650 года о Лучке Тупыле сказано: «В прошлом во 7157-м (1648) году за старость и увечье от службы отставлен». Позднее фамилию, также писавшуюся по-разному (Тупылев, Тупылов, Туполев), носили многочисленные сургутские служилые люди – рядовые казаки, десятники, воротники.

В 1689-м в Сургуте служили казаки Максимко и Мишка Тупылевы, в 1691-м – Оська Михайлов и Петрушка Козмин Тупылевы. В начале XVIII в. торговал рыбой казачий десятник Осип Туполев, содержавший дворового человека. В 1722 г. Осипу было 56 лет, жил он с сыновьями Михаилом, Микифором и Иваном.

Рыбный промысел стал основой состояния Туполевых. Члены семьи скупали, выменивали или брали в аренду у ханты, остяков и вогулов рыболовные угодья – «пески». В 30-х годах XIX в. всю рыбную торговлю с местным населением монополизировал казачий хорунжий Андрей Ефимов Туполев.

Андрей Ефимович родился около 1787 г. в зажиточной семье казачьего пятидесятника, позднее атамана Ефима Андреевича Туполева, имевшего также гражданский чин коллежского регистратора. В 1836 г. Андрей Ефимович числился отставным хорунжим. У него и его жены Прасковьи Ивановны были сыновья Иван (1811 г.р.) и Алексей (1826 г.р.) и дочери Пелагея, Аграфена и Харитина. Оба сына находились на службе: Иван – на гражданской, в 1866 г. он занимал должность сургутского заседателя, умер в 1884 г. отставным коллежским регистратором. Алексей дослужился до чина сотника. Умер Андрей Ефимович Туполев 3 апреля 1854 г. в Сургуте в возрасте 77 лет.

В 1858 г. «Тобольские губернские ведомости» писали об Андрее Ефимовиче, что «отставной хорунжий Туполев имел в содержании песок Толобинский на левой стороне Оби в 170 верстах от Сургута, принадлежавший Комаровым и Магионским юртам Ваховской волости, по 100 р. в лето, и песок Лебедков на левой стороне Оби в 25 верстах от Сургута, принадлежавший инородцам Сайгатиных юрт, по 30 р. в лето».

Не обошлось и без злоупотреблений. Декабрист Александр Николаевич Муравьев был сослан в Сибирь без лишения чинов и дворянства.

Вскоре ему разрешили поступить на государственную службу, и он начал исполнять обязанности иркутского городничего. В сентябре 1832 г. Муравьева перевели на должность председателя губернского правления в Тобольске, где он одновременно до января 1834 г. «исправлял обязанности» гражданского губернатора. Одним из главных направлений административной деятельности А.Н. Муравьева стало изучение условий жизни аборигенов Обского Севера – он активно боролся с коррупцией и произволом в отношении ханты и других малых народов. По итогам ревизии Муравьев подготовил и направил в Сибирский комитет записку «Об обозрении инородцев Березовского края и мерах к исправлению открытых при сем беспорядков», а в Кабинет министров – всеподданнейший рапорт о нарушениях «Устава об управлении инородцев», датированный 20 апреля 1833 г. В этих документах упоминается в числе прочих чиновников и купцов сургутский казачий командир хорунжий А.Е. Туполев, который «обирал аборигенное население». Он завел нечто вроде собственного хлебозапасного магазина и давал ясачным ханты, остякам и вогулам хлеб в долг. Не имея возможности рассчитаться, они за бесценок сдавали ему свою добычу в счет долга, тем не менее их долги все возрастали, к тому же по договору с Туполевым должники не имели права сбывать свою продукцию другим торговцам без его разрешения.

А.Н. Муравьев не только счел необходимым довести эти факты злоупотреблений до сведения Кабинета министров и Сибирского комитета,

но и сам на месте принимал меры. Главное управление Западной Сибири также начало расследование по представленным Александром Николаевичем материалам.

Несмотря на стремление нажиться на коренном населении, в общем-то обычное для того времени дело, Андрей Ефимович Туполев был крупным меценатом и много сделал для развития образования в Сургуте.

В 1835 г. для обучения казачьих детей в городе была открыта школа, для которой Андрей Ефимович пожертвовал одноэтажный дом. Туполевы же и служили в этой школе учителями. С 4 июня 1844 г. обучение по всем предметам, кроме закона Божьего, вел двадцатилетний Алексей Туполев, выпускник Тобольской мужской гимназии.

По сведениям сургутского учителя П. Киреева, инспектировавший в том году казачью школу смотритель Березовского уездного училища Н.А. Абрамов писал о нем: «При похвальном поведении показывает усердие к рачительной службе, но по недавнему вступлению в должность учительскую еще не совсем опытен в обучении, а потому и постановлено ему в обязанность усовершенствоваться в лучшем способе преподавания».

Учительский труд был частью казачьей службы Алексея Туполева, и он не получал никакого жалования, кроме общего содержания, положенного для казачьих чинов.

На содержание училища отец и сын Туполевы расходовали собственные средства, исключая только расходы на сторожа, который назначался по наряду из казаков. Но в 1869 году Алексей Туполев, выслужив положенный срок, вышел в отставку.

Дела его в последние годы пошатнулись, прибыль уменьшилась, и пока было неясно, кто заменит его, а также из каких источников взять средства на содержание казачьей школы. Так нависла угроза ее закрытия.

«Такой исход был бы тем печальнее, что училище вполне удовлетворяет местным нуждам и, существуя постоянно много лет, дало уже тот результат, что между местными казаками нет ни одного неграмотного», – писал директор училищ Тобольской губернии.

Учитель, хорунжий Алексей Туполев, даже выйдя в отставку, до приезда нового учителя продолжал заниматься с детьми и содержал за свой счет нанятого им для этой цели помощника из грамотных казаков. Далее в своем отчете директор училищ Тобольской губернии отмечает: «Очевидно, что господин Туполев пристрастился к своему училищу, и хотя материальные средства дома Туполевых несколько пошатнулись, тем не менее когда я с ним вел беседу о возможности закрытия по недостатку средств мужского училища, он высказал мне: «Училище наше казачье, и мы не допустим, чтоб из-за этого оно закрылось».

Проверяющий посетовал, что двадцатилетние труды и пожертвования хорунжего Туполева ничем со стороны правительства поощрены не были. Вот к какому выводу он пришел: «Каково бы ни было состояние сургутского казачьего училища, тем не менее, существование его в таком отдаленном и глухом краю составляет настоятельную потребность, и какими бы то ни было путями оно должно быть поддержано».

Так и произошло: в 1877 г. Сургутская казачья школа реорганизована в мужское училище Министерства народного просвещения. Алексей Андреевич Туполев умер 15 мая 1889 г. в Сургуте.

Кроме того, с 1862 г. и до середины 1880-х гг. в Сургуте действовала женская школа. Первоначально она располагалась в доме священника

В. Кайдалова, а в 1865 г. отставной чиновник И.А. Туполев выстроил для женского училища 2-го разряда дом на собственные средства. Несомненно, речь идет об Иване Андреевиче Туполеве – брате Алексея Андреевича и старшем сыне Андрея Ефимовича.

С того времени около 15 лет Сургутское женское училище находилось на попечении Ивана Андреевича. Его жена, Елизавета Федоровна, была утверждена начальницей училища. Однако к 1869 г. Туполевы переехали в Тобольск. Приезжавший в Сургут в 1869 г. директор училищ губернии их там уже не застал. «Попечительница училища госпожа Туполева, – указал он в отчете о своей инспекторской поездке, – бывает в Сургуте несколько летних месяцев, большую часть которых занятий в училище нет. На нее же возложена обязанность начальницы училища, которая, по смыслу обязанностей на ней лежащих, должна бы постоянно посещать училище. То же время бывает в Сургуте и выбранный от чиновников член попечительного совета господин Туполев, муж госпожи попечительницы».

После отъезда из города семьи Ивана Андреевича Туполева в Сургуте не нашлось больше желающих заботиться о народном образовании. В 1880 г. Туполевы исчерпали свои возможности.

Елизавета Федоровна подала прошение об увольнении от обязанностей попечительницы, и оно было удовлетворено.

Следует сказать, что Туполевы щедро жертвовали не только на дело народного образования, но и на храмы. Например, неизвестный путешественник в статье «На пароходе от Тобольска до Томска» описывает впечатления о Сургуте: «...Лучшая постройка – церковь сургутская, каменная и довольно богатая. Главный жертвователю этой церкви – дом Туполевых. Говорят, что серебра, пожертвованного ими, в этой церкви до нескольких пудов».

В том же духе высказывается и упомянутый ранее автор путевых заметок в «Сибирской газете»: «Надо заметить, что дом Туполевых был для Сургута, да и для всего этого края, благодетелем. Было время, когда почти весь Сургут только ими и держался; например, хоть в год всеобщего пожара (в 40-х годах), много было содержимо ими бедных, немало долгов было скинуто со счетов даже с таких, которые могли бы их заплатить. Некоторые, не стесняясь говорят, что Туполевых разорили они сами, то есть жители. Но когда ныне в марте 1884 г. скончался И.А. Туполев, главный член этого дома, то память его никто не почтил! – не из чего, разорились!?!».

Иван Андреевич умер в Тобольске, оставив многочисленное потомство. Сохранился формулярный список И.А. Туполева от 1854 г., который позволяет установить его потомков. Согласно формулярному списку, в 1854 г. коллежский регистратор Иван Андреевич Туполев 43 лет занимает должность писаря Сургутского отделения губернского управления. Происходит из «пятидесятнических детей», то есть отец его был казачьим пятидесятником. На службу впервые поступил в 1830 г. младшим писарем.

Трудночитаемый, угасающий текст документа все же позволяет разобрать, что Иван Андреевич был женат первым браком на Елене Петровой (Петрова – не фамилия, а отчество – Петровна. Девичья фамилия ее была Бармина). Следовательно, Елизавета Федоровна, бывшая начальницей Сургутского женского училища, – это вторая жена.

У Ивана и Елены Туполевых были сыновья:

Прохор, родившийся 1836 года июня 15 дня;

Николай, родившийся 1843 года, декабря 1 (согласно метрической записи 2 января 1842 г. – прим. автора). Продолжает науки в Сургутской школе;

Андрей, родившийся 1844 года августа 10 дня;

Алексей, родившийся 1846 года февраля 18;

Дочери:

Авдотья, родившаяся 1835, февраля 28 дня;

Анна, родившаяся 1843 года, июня 17.

Все они «находятся при отце, жена и дети православного исповедания».

По какой-то причине не упомянут в формулярном списке еще один сын – Александр, родившийся около 1847 г.

О дочерях Туполевых сведений, очевидно ввиду перемены фамилии при вступлении в брак, пока не обнаружено. А вот все сыновья получили прекрасное образование. Алексей и Александр после окончания Тобольской мужской гимназии продолжили обучение в Казанском университете. Впоследствии Алексей, получивший степень кандидата юридического факультета, служил в Тобольском губернском управлении чиновником особых поручений.

Александр, окончивший физико-математический факультет, был учителем математики в Томской Мариинской женской гимназии, выслужил чин статского советника, а вместе с ним и права потомственного дворянства для себя и своих детей. Кроме того, Александр Иванович был краеведом и фотографом-любителем: в Томском областном краеведческом музее хранится 35 его фотографий, изображающих природу и быт населения в Томской губернии, Казахстане и Киргизии.

Об образовании старшего сына Прохора сведений не обнаружено. Жил он в Сургуте, в 1863 г. женился на Аграфене Анфиногеновне Коротаевой, дочери купца 3-й гильдии. Очевидно, пользовался немалым уважением горожан: когда 8 июля 1891 г. в Сургуте останавливался пароход «Николай» с наследником престола Николаем Александровичем, именно старожил города П.И. Туполев с женой были удостоены чести поднести цесаревичу древнюю икону святого Николая в серебряной ризе. В качестве ответного дара Прохор Туполев получил портрет цесаревича. Этот случай приводит и В.К. Белобородов, однако с указанием, что ему не известно наличие родства Прохора Ивановича с также упоминаемыми в книге Андреем Ефимовичем и Иваном Андреевичем Туполевыми. Благодаря обнаруженному нами и приведенному выше формулярному списку становится понятно, что Прохор Иванович Туполев – сын Ивана Андреевича и, как показано будет далее, – родной дядя авиаконструктора А.Н. Туполева.

Что касается Николая и Андрея Туполевых, жизнь этих представителей рода в большей степени была связана с Тобольском, куда перебрался их отец.

Началась новая страница в истории этого славного рода.

Тобольская страница в истории семьи Туполевых

Андрей Иванович Туполев стал прямым продолжателем рыбопромыслового дела Туполевых. В формулярном списке чиновника А.И. Туполева за 1865 г. указано, что ему 22 года, происходит он «из детей канцелярских служителей», в 1859 г. окончил Тобольское уездное училище. Впервые

на службу молодой Туполев поступил в 1864 г. помощником столоначальника в Тобольском общем губернском управлении. В 1866 г. он сургутский заседатель, в 1869 г. – секретарь Березовского окружного суда и в следующем году уволен со службы.

С этого времени Андрей Иванович вплотную занимается рыбными промыслами. Интересно, почему у руля семейного дела встал именно он – средний сын? Туполевы выбирали для руководства промыслами самого энергичного и сметливого или просто дело в том, что старший сын Николай уехал из Сибири и обосновался в Тверской губернии?

В книге итальянского ученого и путешественника Стефана Соммье, проводившего в 1883 г. исследования в низовьях Оби, есть такой отзыв о встрече с А.И. Туполевым: «Вечером мы вышли из Большой Пуйковой и через полтора часа достигли стоянки Халей-пугор. На этой стоянке меня с крайним гостеприимством принял русский купец Туполев из Тобольска. Он пригласил меня провести ночь в его домике, и я с радостью согласился, потому что мой хозяин оказался чрезвычайно умным человеком и согласился ответить на мои вопросы о самоедах, с которыми он провел уже много летних сезонов».

В ноябре 1896 г. А.И. Туполев сопровождал губернского агронома Н.Л. Скалозубова, направлявшегося в Березовский и Сургутский округа для наблюдения за организацией переписи населения. Николай Лукич Скалозубов был образованным и разносторонним человеком, работу агронома он совмещал с изучением животноводства, этнографии, народных обычаев. С 1894 года Скалозубов был членом правления Тобольского губернского музея и хранителем музейных фондов.

Следует отметить, что А.И. Туполев, согласно ежегоднику Тобольского губернского музея за 1906 г., также входил в состав членов правления Тобольского губернского музея.

Неизвестно, в каком году Туполевы регистрируют торговый дом «Туполевы и Ко», однако сохранились сведения об аренде этим торговым домом пристани в г. Тюмени.

В 1903 г. А. И. Туполев покупает у купца Новицкого консервный завод. В 1907 г. он становится владельцем парохода «Наследник». В 1908 г. Туполев избран председателем правления Тобольского отдела Императорского Российского общества рыбководства и рыболовства.

Андрей Иванович был женат дважды. От первого брака с Параскевой Андреевной у него 21 июля 1875 г. родился сын Аполлинарий.

В.К. Белобородов пишет, что встретил в исповедных росписях Обдорской Петропавловской церкви записи о рождении у отставного канцелярского служителя Андрея Ивановича Туполева сыновей Алексея (р. 1884), Павла (р. 1888) и Ивана (р. 1890).

В переписном листе семьи Туполевых в 1897 г. указана уже вторая жена – Екатерина Павловна 27 лет. Она значительно моложе Андрея Ивановича, которому на тот момент 53 года (в переписи записано 50 лет). Переписаны и дети А.И. Туполева: Алексей 12 лет, Елена 10 лет, Павел 8 лет, Иван 6 лет, Марфа 3 года, Татьяна 2 года. Также в семье Туполевых живут племянник и две племянницы, девица – воспитанница, служащий и два человека прислуги.

Очевидно, что Екатерина Павловна не могла быть матерью Алексея Андреевича, как об этом пишет В.К. Белобородов: в 1884 г., когда ро-

дился Алексей, ей самой было 14 лет. Наиболее вероятно, что ее первый ребенок – Павел, названный по деду со стороны матери.

Алексей с октября 1907 г., когда отца избрали председателем правления Тобольского отдела Императорского Российского общества рыболовства и рыболовства, стал секретарем общества. В этом проявился воспитанный в нем родителями деловой семейный интерес. Кроме того, Алексей состоял в совете Тобольского отделения общества судоходства.

Деятельность братьев Туполевых уже не ограничивалась Севером. В 1916 г. они купили пароход «Удалый» с четырьмя баржами общей грузоподъемностью 200 тысяч пудов и планировали перевозить грузы между Тюменью и Туринском, Тюменью и Павлодаром. Тогда же братья взяли подряд на доставку вагонов на строящуюся Тавдинскую железную дорогу. Рыбопромышленный дом Туполевых процветал.

Но вернемся к старшему брату Андрея Ивановича – Николаю. Его также вскользь, в одном абзаце, упоминает В.К. Белобородов. А ведь именно Николай и есть отец Андрея Николаевича Туполева! Этот вывод В.К. Белобородов так и не сделал...

Николай Иванович Туполев родился 2 января 1842 г. в Сургуте.

Начальное образование он получил в Сургутской казачьей школе, а после переезда семьи в Тобольск продолжил обучение в Тобольской мужской гимназии. После окончания гимназии в 1860 г. Николай Туполев получает место учителя арифметики и геометрии в Березовском уездном училище.

Жалованье его составляло 350 рублей в год. Однако проработав чуть более года, молодой человек поехал в отпуск в Москву, а оттуда прислал рапорт с просьбой об увольнении в связи с желанием поступить вольнослушателем на медицинский факультет Московского университета.

В жизнеописаниях великого авиаконструктора встречаются разночтения относительно того, в каком университете учился его отец. В одних источниках указано, что в Московском, в другом – Санкт-Петербургском. Факультеты тоже фигурируют разные – то медицинский, то юридический. Но в найденном нами рапорте Николая Туполева, присланном им из Москвы, он ясно пишет, что поступил слушателем на медицинский факультет Московского университета.

Дальнейшая его судьба хорошо известна биографам А.Н. Туполева. Молодой человек, оказавшись замешанным в народовольческих студенческих выступлениях, диплом не получил, но в Тобольск уже не вернулся. В 1867 году Николай Туполев снова начал преподавать арифметику и геометрию в Угличском уездном училище. Позднее он уезжает в Тверскую губернию и в 1876 году покупает усадьбу Пустомазово недалеко от села Кимры (сейчас город). Там и родился будущий великий изобретатель.

Таким образом, дети тобольского рыбопромышленника Андрея Ивановича Туполева приходятся двоюродными братьями и сестрами известному авиаконструктору.

Потомки тобольских Туполевых в наше время

После выхода нашей статьи в газетах с нами связались потомки тобольских Туполевых. Первым стал почетный гражданин г. Тобольска Виктор Михайлович Родин. Его родственница через брак Вера Ивановна Трофимова (1922–1994) была прямым потомком тобольской ветви Туполевых – внучкой Андрея Ивановича Туполева и дочерью его младшего сына Ивана.

Матерью Веры Ивановны была сургутская мещанка Анна Трофимова. Родители девочки поженились 2 августа 1921 г. в Обдорске (ныне Салехард). Интересно, что наряду с записью актов гражданского состояния в семье Трофимовых сохранилось свидетельство о венчании, написанное священником на простом листке бумаги. Видимо, несмотря на приход советской власти и репрессии против церкви, заключение именно церковного брака было важным для молодых людей. Они обвенчались 18 мая 1922 г. в Петропавловской церкви Обдорска. В 1922 г. у них родилась дочь Вера, в 1924 г. – сын Геннадий.

К сожалению, венчание не спасло семью от распада. В 1932 г. Иван и Анна Туполевы развелись. После развода Анна вернула девичью фамилию и изменила фамилию своим детям – вместо Туполевых они стали Трофимовыми. Возможно, такой поступок был продиктован не только обидой на бывшего мужа, но и заботой о безопасности детей: Анна Трофимова наверняка слышала о гибели братьев Ивана Туполева, Алексея и Павла, а также о высылке их семей. Вспомним, что и сам авиаконструктор был арестован в 1937 г. Носить фамилию Туполев в то время стало опасно.

Семья Трофимовых переехала в Тобольск. Вера Ивановна окончила школу № 1 г. Тобольска в 1941 г., за день до начала Великой Отечественной войны. Девушка мечтала учиться в университете, но война нарушила все планы. Она поступила в Омский педагогический институт на исторический факультет, филиал которого находился в Тобольске.

Брат Веры, Геннадий Трофимов, погиб на фронте. Жить становилось все тяжелее, и в 1943 г. Вера Ивановна оставила учебу и поступила на работу в Тобольский краеведческий музей. В нем она проработала всю жизнь. Была заведующей отделом, директором, главным хранителем фондов. Именно в бытность ее директором в 1961 году произошла реорганизация Тобольского краеведческого музея в государственный историко-архитектурный музей-заповедник, что очень повысило его статус и значимость, следовательно, и финансирование. Но главное – усилился интерес к нему общества: научно-исследовательский, познавательный, исторический: увеличилась возможность реставрации памятников культуры и архитектуры прошлого, возросло число музейных экспозиций. Оживилась музейная работа.

О возросшей популярности Тобольского музея говорит и хранящаяся в фондах ТГИАМЗ обширная переписка Трофимовой с учеными, краеведами, журналистами, школьниками – со всеми, кто интересуется прошлым Сибири, – от села Бизино Тобольского района до Германии.

В.И. Трофимова вела серьезную работу по собиранию, хранению и изучению экспонатов, связанных с материальной и духовной культурой коренного населения Тобольского Севера. Она была прекрасным популяризатором, активным членом городской организации общества «Знание», возглавляла научно-методический совет народных университетов.

Ее научные интересы отличались обширностью и глубиной. Об этом говорят названия дел, хранящихся в научном архиве ТГИАМЗ, в которых находятся экспозиционные планы, разработанные Верой Ивановной: «26 лет рабоче-крестьянской Красной армии», «Декабристы в тобольской ссылке», «Экономика, быт и культура края в XIX в.», «Революционеры-демократы в Тобольске», «Наши знаменитые земляки», «Поход Ермака и присоединение края к Русскому государству» и другие.

Всю жизнь Вера Ивановна помнила о своем родстве с Туполевыми. Умерла она в 1994 г., завещав выбить на памятнике двойную фамилию: Трофимова-Туполева. Волю ее исполнили. Сын В.И. Трофимовой Александр Владимирович Трофимов живет сейчас в Тюмени.

Второй ветвью тобольских Туполевых, с которыми удалось связаться, стали потомки Александра Ивановича Туполева – еще одного родного дяди авиаконструктора, проживавшего в Томске.

Его правнучка Елизавета Халанская живет в Москве. В их семейном архиве сохранилось несколько уникальных фотографий членов семьи сибирских Туполевых, которыми она любезно поделилась. Таким образом, потомки тобольской ветви Туполевых живут по сей день, и я уверен, что найдутся еще правнуки и по другим линиям.

Список источников и литературы

Устные источники

1. Воспоминания Элеоноры Сергеевны Назаровой.
2. Воспоминания Виталия Вадимовича Зеневича.

Письменные источники

3. Белобородов В.К. Русские старожилы Сургутского края: последняя книга очерков / В.К. Белобородов. – Тюмень: Мандр и К0, 2017. – 399 с.
 4. Бодрихин Н.Г. Туполев / Н.Г. Бодрихин. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 455 с.
 5. Бочанова Т.А. Декабрист А.Н. Муравьев и коренное население Обского Севера / Т.А. Бочанова // Гуманитарные науки в Сибири. – 2003. – № 2. – с. 12–15.
 6. Даффи П., Кандалов А. А.Н. Туполев – человек и его самолеты / П. Даффи, А. Кандалов. – Российский авиационный консорциум, 1999. – 264 с.
 7. Дунин-Горкавич А.А. Сборник трудов (1907–1911) / А.А. Дунин-Горкавич. – репринт. изд. – Екатеринбург: Баско, 2010. – 195 с.
 8. Соммье С. Лето в Сибири среди остяков, самоедов, зырян, татар, киргизов и башкир / пер. с ит. А.А. Переваловой, под ред. Я.А. Яковлева. – Томск, 2012. 640 с.
 9. Сулимов В.С., Колупаев Д.В. Обучение казаков Западной Сибири XIX – начала XX вв. / В.С. Сулимов, Д.В. Колупаев. – Тобольск, 2018. – 74 с.
 10. Сулимов В.С. Цесаревич Николай в Тобольской губернии / В.С. Сулимов. – Тобольск, 2017. – 66 с.
 11. Цысь В.В. Первая Сургутская школа / В.В. Цысь // Югра. – 2009. – № 1. – С. 60–62.
- Архивные источники**
12. Метрическая книга Троицкой церкви г. Сургута за 1842 г. // ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. И156 Оп.15 Д. 196 Л. 118об-119.
 13. Метрическая книга Троицкой церкви г. Сургута за 1854 г. // ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. И156. Оп. 15. Д. 203.
 14. Дело об увольнении со службы коллежского регистратора Туполева, состоящего в штате Березовского земского суда, 1854 г. // ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. И.152 Оп. 31. Д.1049.
 15. Рапорт хорунжего Туполева об увольнении его со службы по домашним обстоятельствам // БУ «Исторический архив Омской области». Ф. 75 Оп. 1 Д. 48.
 16. Переписка с начальником Тобольской губернии о преобразовании Сургутской женской школы в училище 2-го разряда и назначении Е. Туполевой начальницей училища // ОГКУ «Государственный архив Томской области». Ф.125 Оп.1 Д.228.
 17. Переписка с директором училищ Тобольской губернии об отказе отставного чиновника Туполева содержать Сургутскую женскую школу // ОГКУ «Государственный архив Томской области». Ф.125 Оп.1 Д.795.

18. По представлению директора училищ Тобольской губернии об увольнении от службы учителя Березовского уездного училища Туполева и определении на его место окончившего наук Тобольской гимназии Пушкарева // ОГКУ «Государственный архив Томской области». Ф. 125 Оп.2 Д.82.

19. Формулярный список Андрея Ивановича Туполева // ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. 152. Оп. 30. Д. 167.

20. Метрическая книга Христорождественской церкви г. Тобольска за 1875 г. // ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. И156 Оп.15 Д. 651 Л. 582об-583.

21. Метрическая книга Тобольского римско-католического костела о бракосочетавшихся, 1876–1896 гг. // ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. И156. Оп. 15 Д. 656 Л. 3-4.

22. Формулярный список Туполева А.И. // БУ «Исторический архив Омской области». Ф. 3. Оп. 8. Д. 13241.

23. Формулярный список А.А. Туполева // ОГКУ «Государственный архив Томской области». Ф.125 Оп.2 Д.566.

24. Личное дело Туполева, 1889 г. // ОГКУ «Государственный архив Томской области». Ф.126. Оп.4. Д.2645.

25. Формулярный список о службе канцелярского служителя Тобольской казенной палаты Туполева // ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. И154, Оп.20, Д.2113.

26. Дело о службе счетного чиновника Тобольского отделения банка Туполева Аполлинария Андреевича // ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. И177. Оп.1. Д.26.

27. Переписной лист семьи Туполевых: Тобольск, 1897 г. // ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. И417. Оп. 2. Д. 13. Л. 74 об-75об.

28. О продлении срока аренды на городскую пристань Торговому дому Туполевы и Ко // ГБУТО «Государственный архив Тюменской области». Ф. Р1208 Оп.1 Д.1.

29. Об отводе земельного участка инженеру Туполеву Ивану Алексеевичу для устройства пристани // ГБУТО «Государственный архив Тюменской области». Ф.И1 Оп.1 Д.62а.

30. Дело переписчицы Тобольской казенной палаты Ю.И. Туполевой // ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. И580. Оп. 1 Д. 1705.

31. О канцелярской служащей Тобольского отделения Госбанка Валерии Аполлинарьевне Туполевой // Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р 143 Оп. 8. Д. 1187.

32. Личное дело Туполева Анатолия Аполлинарьевича. 1 января 1919 г. – 31 декабря 1928 г. // ГБУТО «Государственный архив Тюменской области». Ф. Р1818, Оп.2, Д.1517.

33. Личное дело Туполева Константина Аполлинарьевича. 1 января 1919 г. – 31 декабря 1928 г. // ГБУТО «Государственный архив Тюменской области». Ф. Р1818, Оп.2, Д.1519.

34. Документы о национализации рыбных промыслов русско-остяцкого товарищества рыбаков дальнего Севера и промысла рыбопромышленника А.А. Туполева. 1 января 1921 г. – 31 декабря 1921 г. // ГБУТО «Государственный архив Тюменской области». Ф. Р1818, Оп.1, Д. 162.

35. Личное дело народного судьи 2-го района Тобольского округа Туполева Константина Аполлинарьевича // ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. Р310. Оп. 2 Д. 43.

Аркадий ЗАХАРОВ

Воровские фамилии

Эссе

Для начала замечу, что вплоть до XIX века на Руси слово «вор» имело значение отличное от современного понятия. Это слово появилось в русском языке в отношении не тех, кто крадет (крадун) или расхищает, хитит (расхититель, хитник, тать), а тех, кто выступает против церкви, власти и государства. На Руси термин «ВОР» применялся к преступникам, совершившим или умышлявшим только государственные преступления... Вспомним, для примера, самого знаменитого в период Смуты «тушинского вора» – Ивана Болотникова. Именно поэтому перенявшие у казаков-разбойников понятие «товар ищи» большевики причислили воров к «социально близким».

Вор не обязательно разбойник, как разбойник не всегда вор. В Сибири и Зауралье отношение русского населения к разбойникам имело уважительно-снисходительный оттенок. Ведь сам Ермак считался атаманом разбойников. А после него в Сибири их сколько перебивало! Разбойник в понимании сибиряков – это прежде всего вольный человек, неподвластный воеводам и чиновникам, справедливый защитник подневольной бедноты от барского произвола. В большинстве своем жители Зауралья в разное время оказались в земле Сибирской не по своей воле и к разбойникам относились сочувственно.

Есть мнение, что фамилия Разбойников является малоизвестной в географических регионах России и стран ближнего зарубежья. В дошедших до наших дней интересных летописных текстах граждане с этой фамилией были важными персонами из славянского тульского духовенства в XVII–XVIII веках, имевшими значительную государеву привилегию. Изначальные корни фамилии можно обнаружить в указателе переписи Древней Руси во время Ивана Грозного. У царя хранился определенный реестр уважаемых и лучших фамилий, которые даровались придворным только в случае похвалы или поощрения. Тем самым данная фамилия сохранила свое первоначальное значение и является исключительной. Может быть, может быть.

Однако в Курганской области, Тобольском и Уватском районах Тюменской области эта фамилия весьма распространена и не является доказательством принадлежности к знатым и древним родам. Во всяком случае, в поименной переписи населения Уватской и Тобольской волостей за 1710 год фамилия Разбойников не встречается. Значит, Разбойниковы не пришли с Ермаком, а появились в Сибири значительно позже.

Меня всегда занимало то, что носителей общей фамилии Разбойников, кроме этого признака, ничто, в том числе кровное родство и семейные узы, не объединяло. И территориально носители этой фамилии оказались разбросаны по Сибири, вследствие чего не имели возможности между собой общаться и родниться.

В результате долгих расспросов старожилы Увата мне удалось услышать предание, что все Разбойниковы не одного рода, а потомки пуга-

чевских яицких казаков, которых после подавления бунта клеймили, вместе с семьями переселили с Яика в Сибирь и через Тобольский острог рассредоточили их поселение на большой территории, чтобы избежать общения между собой вчерашних сообщников.

Вслед за преступником в Сибирь следовала и его семья, испытывая не меньшие унижения и лишения. Ссылка семей не была обязательной, но особенности российского законодательства толкали на этот шаг. Как правило, ссылка сопровождалась «лишением прав состояния», то есть конфискацией имущества, и семья осужденного оставалась без средств к существованию. В случае следования в Сибирь расходы по ее содержанию несло государство. Кроме этого, достаточно сложной была процедура расторжения брака с осужденными: нередко она растягивалась на годы, в течение которых супруги осужденных (как правило, женщины с детьми) не могли создать новую семью и таким образом стабилизировать свое материальное положение. Еще одной причиной ссылки была удаленность Сибири и невозможность встретиться после отбытия наказания, поэтому часть семей просто не хотела расставаться.

От выжженного на лице глав семейств клейма «РАЗ» их стали писать: Разбойниковы.

Проверка доступных мне исторических источников подтвердила, что такие события вполне могли быть. После разгрома казачьего восстания 1773–1774 годов Екатерина II повелела переименовать станицу, в которой родился Пугачев, и реку Яик в Урал. В том же стиле могли быть переименованы отправляемые на поселение опальные казаки: все поголовно Разбойниковы.

Из Указа государственной военной коллегии от 14 июня 1773 года по последствиям пугачевского бунта узнаем, что 38 казаков-разбойников после наказания кнутом сосланы с женами и малолетними детьми в разные места на поселение в Сибирь. А шестнадцати приговоренным к смертной казни главным зачинщикам вместо смерти вырвали ноздри, поставили знаки и после наказания кнутом сослали в Сибирь, на Нерчинские заводы навечно.

Поставить знаки – означало клеймение, процедура на Руси рутинная, привычная и не особенно страшная по сравнению с другими видами наказаний, но влекущая за собой обязательную ссылку в Сибирь.

Телесные наказания распределялись тогда на три категории:

1. Изувечивающие – лишение человека какой-либо части тела или ее повреждение (ослепление, вырезание языка, отсечение головы, руки, ноги или пальцев, отрезание ушей, носа или губ, кастрация).

2. Болезненные – причинение физического страдания путем нанесения побоев различными орудиями.

3. Осрамительные – выставление у позорного столба, клеймение, наложение оков, бритье половины головы.

Клеймение было введено указом царя Михаила Федоровича в 1637 году.

Так, по решению суда в 1637 г. словом «ВОРЪ» заклемили фальшивомонетчиков, осужденных по следствию на Московском монетном дворе. Особым указом от 19 мая 1637 г. разрешалось клеймение двух типов: литерами «Р», «З», «Б» – за разбой и литерами «Т», «А», «Т» – за татьбу (кражу).

Использовались и другие варианты: бунтовщиков 1662 года (знаменитый «Медный бунт») клеймили литерой «Б».

Осужденному на каторгу человеку выжигали на лбу букву «В», а на щеках «О» и «Р», что означало «вор». «На лбу написанное» свидетельство о неблагонадежности навеки позорило человека и лишало его возможности вернуться из Сибири на родину.

В своих законодательных постановлениях Петр I широко обращался к этой каре, совершенно точно указав те категории преступников, которые подлежали ей. Известно, что клеймению в щеку подверглись в 1698 г. все стрельцы, отправленные в ссылку, хотя в точности неизвестно, какую именно литеру им ставили. С 1703 г. клеймить («пятнать») начали всех воров, не совершивших убийства. С 1746 г. клеймить стали всех преступников, дабы облегчить их опознание в случае побега. Петр I придумывает свое клеймо – двуглавого орла. Царь вводит новшество и в процедуру клеймения – теперь раскаленное железо заменяют на железную пластину с иголками. Иголки были позолоченными, чтобы не ржавели от частого употребления. (В Тобольском музее их можно увидеть.) Такую пластину прикладывают к нужному месту несколько раз, а в дырки втирают порох. Екатерина II вводит несколько новых обозначений: «В» – вор, «У» – убийца, «Л» – лжец. До 1863 года всем сибирским заключенным, приговоренным к пожизненному заключению и отправленным на каторгу, ставят на щеки и на лоб три буквы – «КАТ». По одной букве на каждую щеку и на лоб. За одни и те же преступления могли заклеить по-разному: так, в 1762 г. фальшивомонетчик Сергей Пушкин получил на лоб литеру «В» (вор), а в 1794 г. майор Фейнберг и барон Гумпрехт за аналогичное преступление – следующую диковинную аббревиатуру: «В. С. Ф. А.» (что расшифровывалось как «вор и сочинитель фальшивых ассигнаций»). В 1766 г. самозванца Кремнева клеймили литерами «Б» и «С». Эти клейма означали «беглец и самозванец».

Из сказанного можно сделать вывод, что в Сибири XVII–XIX веков число ссыльнокаторжных поселенцев с клеймом на лице было достаточно велико. А если принять во внимание, что нередко они высылались вместе с семьями, и учесть народные традиции, то можно предположить, что клеймо и прозвище главы семьи обществом распространялось на всех его потомков.

Со временем прозвища становились фамилиями:

Носители орленого клейма стали Клейменовыми.

От клеймения «ВОР» произошла фамилия Воровские, Во(а)рнаковы.

От «ТАТ» – Татищевы.

От «КАТ» – Катаргины (Каторгины, Кутергины), Катовы, Катыгины.

От «РАЗ» получили фамилию Разбойниковы и Разины.

От «Б» – Бегловы.

И это еще не все. Следует вспомнить прозвища преступников, подвергнутых другим, более строгим, видам наказания и тоже сосланным в Сибирь.

Во время правления царя Алексея Михайловича Тишайшего били за большие и малые вины: выжигали глаза, распинали на стене, наказывали розгами и клеймением в щеку, садили на дыбу. За разбой и воровство – татьбу пытали сечением разных членов. Вора – татя, пойманного на второй краже – татьбе, били кнутом и отсекали руку. Отрезали руку

и слуге, который поднял ее на своего господина, за первую татьбу отрезали уши или два пальца. За насильственный въезд в чужой двор обрезали губу, за разбой лишали левой руки и правой ноги. Кнутом били так, что кожа висела клочьями, а зимой замерзала кровь в ране. Замешанным в бунте Стеньки Разина отсекали по персту, а иным руку. Жестоко наказывали и раскольников – клали на плаху руку и по запястье отсекали...

У наказанных таким образом появились прозвища, ставшие со временем фамилиями: от заключенных в колодки – фамилия Колодкин, от отсидевших в кандалах – Кандалинцев, Сидельников, от лишенных уха (обкарнавшихся) – фамилии Карнаухов, Безухов, от лишенных пальцев – Беспаловы, Безперстовы, лишенные кисти руки стали Безруковыми.

В 1724 году Петр I издает указ «О вынимании у каторжных колодников ноздрей до кости», потому что до царя доходят сведения, что наказания не всегда производятся усердно. В результате появилось прозвище каторжан, ставшее впоследствии фамилией – Безносковы, Безносовы.

Обязательной ссылки в Сибирь эти наказания не влекли и «воровских прозвищ» наказанным не приклеивали. Разве что Битов. Можно еще добавить фамилии «Шишов», «Шишков», произошедшие от западнорусского «шиш» – лесной разбойник. И Хитяев – от «хитник, похититель».

Увеличение населения Сибири путем ссылки было крайне ничтожно. Сперанский писал в одном из своих писем: «Не думай, чтобы Сибирь населена была одними ссыльными и преступниками. Число их как капля в море, их почти не видно, кроме некоторых публичных работ. Невероятно, как вообще число их маловажно. По самым достоверным сведениям, они едва составляют до 21 тысячи в год, и в том числе никогда и десятой части нет женщин». В Тобольской губернии ссыльные составляли около 4,8 процента от общей численности населения. В том числе осужденных за разбой были единицы.

Вместе с тем в некоторых местах ссыльнокаторжные составляли значительную часть населения. Ялуторовское мещанское общество сообщало, что на одного коренного жителя приходилось по 2 ссыльных. (На 263 души приписано 570 ссыльных). Курганское мещанское общество уведомляло, что на старожиллов мещан числом 560 душ приписано ссыльных около 750 человек. А Ишимская городская дума за несколько сот километров предупреждала проезжающих «быть осторожнее при проезде через наш город» из-за безнравственности ссыльных, шатающихся по городу.

Однако недаром говорят, что «за одного битого двух не битых дают». Битые властью ссыльные не могли не повлиять на характер и самосознание русских сибиряков, их вольный уклад жизни, общественное противостояние варначеству (преступности) и относительную независимость.

Но переломить законопослушный уклад жизни сибирского крестьянства ссыльнокаторжные оказались не в состоянии, да и не пытались. Здоровая часть крестьянского общества смогла переварить обычаи чужаков и подчинить их общепринятым в своей среде порядкам. В память о разбойниках, варнаках и бродягах из России остались только песни о каторжниках и бродягах, а еще фамилии, первоначальное значение которых сибиряками основательно позабыто.

Вот не знаю, хорошо это или плохо.

Вячеслав Софронов

Хроника семьи Менделеевых на основе семейной переписки и архивных документов

Данное исследование содержит ряд малоизученных материалов и авторских архивных изысканий за разные годы, так или иначе связанных с семейством Менделеевых, долгое время проживающих в Тобольске. И дело не только в притягательной личности Д.И. Менделеева, ставшего со временем великим ученым и гордостью России, сколько в незаслуженно забытых его родителях, братьях и сестрах, каждый из которых заслуживает отдельного исследования.

Первым толчком к изучению этого вопроса послужила книга Надежды Яковлевны Губкиной-Капустиной, вышедшая в 1908 г. в Санкт-Петербурге «Семейная хроника в письмах матери, отца, брата, дяди Д.И. Менделеева». Наиболее ценным для нас стали письма матери ученого Марии Дмитриевны Менделеевой (урожденной Корнильевой) к ее детям с 1837 по 1850 год. Последнее ее письмо написано незадолго до смерти из больницы Санкт-Петербурга, где она и скончалась.

Все они наполнены драматизмом, сопутствующим ее биографии, и важными фактами, не нашедшими отражения в других документах той эпохи. Использованы также документы Тобольского государственного архива и других российских архивов, где отложилась та или иная информация по этому вопросу. Ряд ценных сведений по родственным связям семьи Менделеевых были любезно представлены В.П. Хохловым, уникальным исследователем-генеалогом из Приморья, и Т.П. Савченковой из г. Ишима, изучившей родственные связи семьи Менделеевых и Ершовых.

Материалы, полученные на основе этого, сформированы по небольшим разделам, связанными с отдельными членами семьи, с краткими сведениями о них и описанием наиболее значимых событий, происходящих в вышеуказанные годы. Исследование не претендует на законченность и является всего лишь попыткой обобщения накопленного автором материала.

Менделеевы

Отец: Иван Павлович Менделеев (Соколов) (18 февраля 1783 – 13 октября 1847, г. Тобольск) – сын священника с. Тихомандрицы Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

Окончил Тверскую духовную семинарию (1804 г.), а затем Санкт-Петербургский главный педагогический институт, после чего 10 декабря 1807 назначен года учителем философии, изящных наук и политической экономии в Тобольск в главное народное училище, преобразованное в начале 1810 г. в мужскую гимназию.

О его посещении в 1809 г. Тобольской Богоявленской церкви имеется запись в «Исповедных росписях», хранящихся в Тобольском государственном архиве: «Был у исповеди учитель гимназии Иван Павлович Менделеев – 26 лет».

В приходе церкви Богоявленской 23 июля 1809 г. «венчан иереем Евфимием Морковитиным тобольский гражданский учитель Иван Павлов Менделеев купца Дмитрия Корнильева с дочерью девицей Марией пер-

вым браком при диаконе Василии и причетниках Афанасии Ситникове и Алексее Морковитине.

При сем браке были тысяцкий титулярный советник Иван Андреев Набережнин и потяжанин гражданский учитель Семен Гаревский».

19 января 1812 г. И.П. Менделеев произведен в чин титулярного советника.

17 сентября 1817 г. назначен директором училищ Тамбовской губернии.

21 сентября 1820 г. высочайше утвержденное Санкт-Петербургское вольное общество любителей российской словесности избрало его членом-корреспондентом, на что ему выдан диплом.

27 июня 1823 г. с согласия министра духовных дел и народного просвещения он перемещен директором училищ Саратовской губернии.

21 января 1824 г. награжден чином коллежского асессора, после чего разрешалось зачисление в дворянское достоинство.

30 мая 1825 г., находясь на службе в Саратове в должности директора гимназии, подал прошение о причислении его к дворянскому сословию. Прошение удовлетворено, и он приписан к Саратовскому благородному собранию. Позже к дворянскому сословию приписаны его сыновья Иван, Павел, Дмитрий. При нем в Саратове находились дети: Мария 13 лет, Ольга 10 лет, Екатерина 7 лет, Аполлинария 4 года, Елизавета 2 года, Иван 8 месяцев, а чуть позже приписана Варвара 3 недели. Выписку подписал Иван Павлов, сын Менделеев 44 лет.

В 1825 г. возник конфликт между И.П. Менделеевым и попечителем Казанского университета М.Л. Магницким, о чем были обнаружены исчерпывающие документальные свидетельства в Национальном архиве Республики Татарстан, г. Казань. Этот инцидент, длившийся два года (с 1825 по 1827 г.), и его разрешение, в результате чего семья Менделеевых оказалась в Тобольске, подробно изложены в статье «Дело об увольнении И.П. Менделеева. Бюрократическая трагедия».

При назначении директором Тобольской гимназии в 1829 г. И.П. Менделееву исполнилось 50 лет.

В 1831 г. ему пожалован чин надворного советника.

В 1834 г. он подал прошение об отставке после 25 лет службы, а также в связи с тем, что начал терять зрение. Был выведен за штат с назначением пенсии в тысячу рублей в год.

В 1837–38 гг. вместе с дочерью Екатериной и слугой Петром Григорьевичем ездил в Москву для операции на глазах, после чего зрение его полностью восстановилось. В Москве они пробыли 7 месяцев (с 16 января по 9 августа).

После восстановления зрения обратился к министру народного образования с просьбой вернуться на службу в системе Министерства народного образования. Но его просьбу не удовлетворили, и он вынужден был устроиться на должность корректора в местной типографии. В то же время занимался заготовкой материалов для Аремзянской стекольной фабрики, включая поездки на ярмарки по продаже посуды. При этом его жена непосредственно руководила производством, наймом мастеров и рабочих, вела с ними расчеты, брала у местных купцов деньги в долг.

В августе 1847 г. (незадолго до своей смерти) ездил с детьми в Омск к проживающим там Капустиным. Умер 13 октября (26 н. с.) 1847 г. в Тобольске.

Мать: Мария Дмитриевна (урожденная Корнильева) (март 1791 г. – 20 сентября 1850 г., Санкт-Петербург, Волково кладбище).

В Тобольске имела знакомых в большинстве своем из дворян и других благородных семейств. Из ее писем к дочери Екатерине известно, что она в 30-е годы XIX в. купила двухэтажный дом (с флигелем и службами) в Тобольске (ул. Бол. Мокрая), который оформила на имя брата Василия Дмитриевича Корнильева, проживающего с 1812 г. в Москве. При этом возлагала большие надежды на его помощь, которую он в дальнейшем ей не оказывал. По доверенности непосредственного владельца фабрики в 1829 г. приняла на себя управление Аремзянской стекольной фабрикой. В 1834 г. семья Менделеевых переезжает для постоянного проживания в село Аремзяны. Получен кредит для налаживания производства у тобольских купцов. При этом она помогает их зятю И.П. Медведеву, проживающему в г. Ялуторовске, замужем за которым их старшая дочь Ольга.

В начале 1838 г. Мария Дмитриевна решила оставить управление стекольной фабрикой, скорее всего, после помолвки дочери Екатерины, первой ее помощницы. По ее словам, фабрикой она управляла около 10 лет. В письмах обвиняет в плутовстве некоего Зарембу.

10 июня 1839 г. вывезла из Аремзян всю свою домашнюю скотину и птицу: «Я возвратилась вчера во втором часу по полуночи, и вслед за мной в семь часов утра пришел обоз мой с курами, гусями, утками, индейками и их племенем, и нянюшкою, и дойные четыре коровушки с Гаркушею и его женой».

Перебравшись в город, она не перестала управлять фабрикой и переоборудовала господский дом: «...свой пятилетний приют обратила теперь уже в квартиру для приезда. Внизу будет жить Маршанов, во флигеле Евдокий Шишов, в казарме Сергей Шишов, в кухне Ларион с Прасковьей, в горницах тетушка Анна Степановна и Петр Григорьевич, а все прочие распущены». С этого времени, живя в Тобольске, она продолжала руководить фабрикой в надежде иметь доход от продажи посуды.

Из ее писем следует, что именно с этого времени она начала болеть, и за ней наблюдал доктор Юлий Иванович Штубендорф.

В конце августа 1839 г. вместе с детьми присутствовала (в конной коляске) на открытии памятника Ермаку, где беседовала с княгиней Н.Д. Горчаковой (женой генерал-губернатора Тобольской губернии) и Н.Д. Фонвизиной (женой декабриста). Вечером она была в гостях у Н.Д. Горчаковой «во время экзамена в гимназии» и провела у нее около часа.

28 июля 1839 г. ее посетил губернатор Тобольской губернии Иван Дмитриевич Талызин, знакомый с ее братом Василием Дмитриевичем, а также с Капустиными. Второй визит Талызин нанес 17 августа того же года.

Зимой 1840 г. она собиралась совершить поездку в Омск к Капустиным, скорее всего, вместе с сыном Дмитрием, но неизвестно, удалось ли ей это сделать. В июле ее посетил Карл Казимирович Гутковский, будущий муж Кати (внучки) Капустиной.

В 1841 г. начала собирать пожертвования для постройки сгоревшей церкви в Аремзянах.

Зимой 1841–42 г. ездила в Ялуторовск к дочери Ольге, когда узнала, что ее муж находится при смерти. 13 января 1842 г. вместе с дочерью Машей находилась в Ялуторовске в связи со смертью зятя Медведева.

Зимой 1842 г. Капустины прислали Марии Дмитриевне очки, и она пишет, что «вновь ожила для беседы с моими безмолвными друзьями».

В начале ноября (3-4 числа) 1844 г. ее посетил владыка, Тобольский епископ Владимир (Алявдин), и благословил ее и дочерей на шитье священнических одежд для духовенства церкви Михаила Архангела.

В одном из писем за 1844 г. к Капустиным упоминается Тюкалинский купец Маршалов, на дочери которого позже женится ее сын Иван. Далее сообщает, что на фабрику должны доставить 700 пудов белой глины для горшков, а следом еще 600 пудов.

В феврале 1845 г. болеет ангиной Семен Капустин, ученик Тобольской гимназии, живший у них. Она вызывает к нему доктора Молчанова, а потом и Дьякова, хотя родители были настроены против него, а вслед за этим еще одного доктора – декабриста Петра Николаевича Свистунова. В результате ребенок поправился.

19 ноября 1846 г. поздравляет Капустиных с рождением у дочери Я.С. Капустина Екатерины Яковлевны «крошечки Кати Карловны Гутковской». Жалуется на дочь Аполлинарию, которая «холодная как камень к слезам матери» и губит свое здоровье постом и хождением по храмам легко одетой в сильные морозы.

6 декабря 1846 г. сообщает, что на складе скопилось 60 тыс. питейной посуды, что составляет стоимость около 6 тыс. руб., но не знает, как ее реализовать. Радует, что «мои детки фабричные оказали мне в последние месяцы такую привязанность и готовность служить, какой я не ожидала от них».

10 декабря 1846 г. была «у добрейшего и почтенного Михаила Яковлевича Ядринцева», который служил комиссионером по государственным закупкам, в том числе посуды. Он очень помогал Марии Дмитриевне с реализацией изделий с фабрики, но собирался со всей семьей вскоре переезжать в Ишим.

13 декабря 1846 г. направляет Капустиным известие о рождении 11.12.1846 г. у дочери Маши и Михаила Поповых, что жили у Менделеевых во флигеле, сына Михаила. Для родов была приглашена акушерка Марфа Аполлоновна, а потом еще послали за лекарем Миллером, потому как роды были трудные. Младенец появился на свет бездыханным, но «его оттирали вином, подкуривали хлопчатой бумагой», после чего он подал признаки жизни.

В связи с трудным материальным положением была вынуждена уволить прислугу, оставив лишь повара Кононыча и его жену Прасковью, много лет живших у них. Но заниматься выпечкой хлебов и булок для семьи она должна была сама. При этом дочери зарабатывали деньги тем, что шили платья по заказу богатых особ.

20 января 1847 г. – приезд в Тобольск в гости к старшей дочери Ольге и ее будущему мужу-декабристу Николаю Васильевичу Басаргину.

3 марта 1847 г. жалуется, что дочери Поля и Лиза не помогают ей в приготовлении пищи, а сидят у себя наверху: «Дочери от утра до вечера заняты труженической своею жизнью, и хождением на гору, и чтением вверху у себя, установленным по уставу их... А если скажешь слово, обижаешь их, и я всею силою воли моей покоряюсь судьбе и утешаюсь тем, что привыкла к черным кухонным работам...».

Был отпущен повар Кононыч, поскольку обходился в 200 рублей ассигнациями в год вместе с содержанием. В Ирбит посланы возы с посудой, где возчики местные татары; по их возвращении планировалось отправить

их в Тюкалинск и Омск. Сын Иван помогает ей с реализацией посуды «в степь», находясь на службе в Омске.

12 августа 1847 г. благодарит Н.В. Басаргина, «Богом данного сына», за подаренный ей кошелек, «который я уже ношу в кармане с мелкою монетою и билетцами».

20 октября 1847 г. сообщает в письме к Капустиным о смерти Ивана Павловича Менделеева, своего мужа. «Сегодня осьмой день, как я осиротела...» То есть он умер 13 октября 1847 г. Вместе они прожили 38 лет.

25 декабря 1847 г. пишет о болезни Полины и о рабочих фабрики: «Судите теперь, что мне жаль бросить воспитанных мною, уже не буйных и дерзких рабочих, но домовитых и благодарных мне крестьян, избалованных данной мною им свободой».

28 декабря 1847 г. в письме к Ольге Басаргиной сообщает о рождении в семье Капустиных мальчика Михаила, ее племянника. В «Семейной хронике» имеется авторская сноска, что Михаил Яковлевич Капустин «ныне профессор гигиены и член 2-й и 3-й Государственной Думы».

15 января 1848 г. в письме сообщает о смерти и похоронах дочери Аполлинарии.

Летом 1949 г. после случившегося на фабрике пожара была вынуждена продать часть своего имущества и вместе с дочерью Лизой и сыном Дмитрием едет к своему брату в Москву. Там они провели зиму, надеясь определить сына в университет, но безуспешно, а потому все вместе едут в Санкт-Петербург. После зачисления сына в институт тяжело заболела и скончалась в местной больнице, успев написать незадолго до этого прощальное письмо детям и благословить Дмитрия семейной иконой, подписав ее: «Благословляю тебя, Митинька, на тебе основана была надежда старости моей. Я прощаю твои заблуждения и умоляю обратиться к Богу. Будь добр, чти Бога, Царя, Отечество и не забывай, что должен на Суде отвечать за все. Прощай, помни мать, которая любила тебя паче всех. Марья Менделеева».

Дети Менделеевых

1. **Мария** (1811, г. Тобольск – 1824(5) в 14 лет от скоротечной чахотки в Саратове).

2. **Ольга** (25 июня 1814 г. в Тобольске – март 1866, Москва, в 52 года.

Ее крещение проходило в Тобольской Богоявленной церкви. «У Тобольской гимназии учителя Ивана Менделеева родилась дочь Ольга. На крещение присутствовало 30 человек. Восприемники: полковник Николай Рыбановский, полковница Жолобова жена Елизавета Абрамовна».

В 17 лет (1832 г.) вышла замуж за купца Ивана Петровича Медведева. Его мать Евдокия Семеновна происходила из рода Пиленковых и являлась родной сестрой Василия Пиленкова – деда Петра Павловича Ершова по матери.

В июле 1840 г. Ольга с мужем собирались приехать в Тобольск и с ними ее сестра Лиза, гостившая тогда у них. Из-за болезни Медведева или по другой причине фабрика долгое время не работала, и Ольга узнала о долгах мужа в 20 тыс. рублей лишь перед самой его смертью. Своему родственнику Пиленкову он был, по словам последнего, должен 10 тыс. рублей. Иван Петрович Медведев умер 4 января 1842 г. После его смерти фабрика и все их имущество были описаны и проданы за долги. Ольге на тот момент было 27 лет.

Овдовевшая Ольга Ивановна через пять лет (30 марта 1847 г.) вышла замуж за декабриста Николая Васильевича Басаргина, и они в том же году переехали в Ялуторовск, где жили друзья мужа, декабристы И.И. Пущин и И.Д. Якушкин. Пущин и Басаргин оказывали помощь семье Менделеевых после смерти Ивана Павловича. В 1857 г. по окончании ссылки они покинули Ялуторовск, вернувшись в Россию, где Басаргин скончался в 1862 г.

3. Екатерина (30 сентября 1818, г. Саратов – октябрь 1901, Санкт-Петербург, в возрасте 83 лет). Жена Якова Семеновича Капустина (1797, Тобольск – 1859, Томск).

Венчание состоялось в апреле 1839 г. (жениху 42 года, невесте 21). Он вдовец с двумя детьми, советник главного управления Сибири.

Я.С. Капустин поступил на службу копиистом в Тобольскую казенную палату 22 мая 1808 г. 14 мая 1815 г. Капустин назначается столоначальником по экспедиции винных и соляных дел, 31 декабря 1818 г. – губернским секретарем, 31 декабря 1821 г. – коллежским секретарем, 6 марта 1823 г. переводится бухгалтером во вновь созданное Главное управление Западной Сибири. 10 ноября 1833 г. Капустин занял должность советника и начальника отделения Главного управления Западной Сибири. К началу 1850-х гг., когда Главное управление Западной Сибири было переведено в Омск, Капустин имел чин статского советника, а с 31 декабря 1847 г. стал начальником третьего отделения в Главном управлении.

Он был отцом многодетного семейства. Капустины находились в дружеских и родственных отношениях со многими значительными в Омске людьми. Так, они поддерживали отношения с семейством князя Горчакова, семьей коменданта Омской крепости А.Ф. де Граве, который был крестным отцом их детей.

«Дом Капустиных в Омске, – вспоминает современник, – представлял салон, в котором собиралась молодежь с высшим образованием, занимавшаяся литературой, живописью. Все проезжавшие через Омск образованные люди – путешественники, ссыльные – обязательно вводились в этот салон».

Я.С. Капустин был хорошо знаком с Достоевским и послужил для писателя прототипом чиновника И.И. Гвоздиков в «Записках из Мертвого дома». В 1859 г. Капустин был назначен управляющим Томской казенной палатой.

Исследователь Сибири Г.Н. Потанин писал о жене Капустина: «В гостиной Екатерины Ивановны собирался цвет омской интеллигенции, молодые офицеры Генерального штаба, чиновники Главного управления, окончившие высшую школу, друзья сына, Капустина Семена Яковлевича, и художники, как например, офицер Генерального штаба Померанцев, политический ссыльный, как например, петрашевец Дуров. Если через Омск проезжал какой-нибудь ученый-путешественник или профессор, как например, П.П. Семенов, он непременно попадал в гостиную Екатерины Ивановны».

В 1859 г. Капустин был назначен управляющим Томской казенной палатой, и они покинули Омск, где прожили два десятка лет. На новом месте Яков Семенович прослужил недолго и вскоре скончался. Его жена продолжала жить там, пока 23 февраля 1865 г. ее зять генерал А.К. Смирнов не сообщил ей, что «от министра внутренних дел сего дня получена

секретная бумага», в которой она «обвиняется в передаче писем польских ссыльных». Из Томска Капустиной пришлось уехать к брату Д.И. Менделееву в его имение Боблово в Московской губернии, а затем переселилась с детьми в его квартиру в Петербурге.

Дети Я.С. Капустина от 1-й жены: Екатерина (1823-24 г.р.). На момент второго брака отца ей было 16 лет. В 1842 г. она вышла замуж за К.К. Гудковского. **Семен (1828–1891).** На момент второго брака отца ему было 11 лет. Жил в Тобольске (с 1839-40 гг.) в семье Менделеевых во время учебы в гимназии.

От 2-й жены: Мария (умерла малюткой в 1840 г.), **Ольга** (октябрь 1841 г. – 1875), **Авдотья (Дуня)** (ок. 1842–43 г.р.), **Иван** (ноябрь 1846 г.р.), **Михаил** (декабрь 1847–1920), **Анна, Федор (1856–1936), Юлия** (1851 г.р.).

Ольга Яковлевна Капустина официально числилась женой генерала Григоровича, а детей имела от Смирнова, мне рассказывал Николай Александрович Смирнов, внук Октавия Александровича Смирнова, живший в Хабаровске, а потом ставший директором музея в усадьбе Боблово. Известно, что у Ольги Яковлевны была дочь Екатерина Константиновна Григорович (Катенька) – (умерла в 1890-х гг.), дочь Константина Григоровича и Ольги Яковлевны, урожденной Капустиной, внучатая племянница Д.И. Менделеева.

В своих воспоминаниях вторая жена Д.И. Менделеева, Анна Ивановна Менделеева (урожденная Попова), сообщает: «Дмитрий Иванович так любил своих детей, что всякую небольшую услугу или заботу о них ставил очень высоко, он все не знал, чем отблагодарить меня за то, что я ходила за больным его ребенком, и на следующий год сумел широко это сделать. Он дал средства на поездку моей заболевшей племяннице (Екатерина Константиновна Григорович) со мной в Крым, в Гурзуф, на всю зиму, где она и поправилась».

В ее воспоминаниях указывается и на других Григоровичей: Григорович Ольга Яковлевна, урожденная Капустина, дочь Якова Семенова и Екатерины Ивановны (Менделеевой) – племянница Д.И. Менделеева.

4. Аполлиария (1823 – 13 января 1848, г. Тобольск, в возрасте 25 лет).

Верующая до фанатизма. Летом 1844 г. во время встречи у них дома с игуменьей Туринского монастыря просилась уйти в этот монастырь на пострижение, но мать уговорила ее остаться, поскольку ей одной тяжело вести хозяйство. Вскоре она вступила в какое-то тайное религиозное общество, слушалась только свою руководительницу Екатерину Федоровну Непряхину, не жалела своего здоровья при исполнении религиозных обрядов и этим очень тревожила Марию Дмитриевну. При этом она делала много добра для бедных. В воспоминаниях одной из дочерей Менделеевых сообщается, что «Непряхина была красива собой, имела обаятельный голос, но по своим религиозным убеждениям не пошла замуж». Аполлиария тоже была очень красива, высокого роста, светлая шатенка.

15 января 1848 г. М.Д. Менделеева пишет дочери Екатерине о похоронах и отпевании Аполлиарии: «По просьбе моей соборные певчие пели тот самый концерт, который был пет при освящении Аремзянского храма нашего: «Коль возлюбленны селения Твоя... и проч. из псалма. Я рыдала, и вся церковь плакала, как говорят все».

5. Елизавета (1825 – 18 марта 1851(2), г. Санкт-Петербург, в возрасте 26 лет). Как и ее старшая сестра, Полина была очень верующей. Вместе

с матерью и братом Дмитрием в 1849 г. она едет в Петербург. Там вскоре умирает ее мать Мария Дмитриевна, а потом и сама Елизавета.

6. Иван (26 сентября 1823, г. Саратов – 1862, Томск, в возрасте 39 лет).

Выписка о рождении: Саратовская Троицкая церковь 1823 г.: «В числе новорожденных под № 152 значится директора гимназии коллежского ассесора Ивана Менделеева **сын Иван**, рожден 26, крещен 30 сентября. Восприемниками ему были коллежский ассессор Петр Иванов Розинг, коллежская жена Екатерина Федорова».

В 1834(35) г., в 11 лет, родители отправили Ивана для продолжения образования в Москву по настоянию его дяди Василия Дмитриевича Корнильева. Тот определил племянника на учебу в Благородном пансионе при университете. Обучение было довольно дорогим (около тысячи рублей в год), осуществлял плату В.Д. Корнильев. О мальчишке отзывались как о способном и талантливом ученике, но... «страсть увлекла его к пороку», по образному выражению его матери, привела его к отчислению из пансиона.

Дядя хотел определить его в Межевой институт, после которого он получил бы офицерский чин. Но Мария Дмитриевна была против, полагая, что учение может не пойти ее старшему сыну на пользу. И по ее настоянию Иван вернулся обратно в Тобольск в 1839-40 гг. Здесь он был зачислен в старшие классы Тобольской гимназии и окончил ее с отличием в 1845 г., после чего уехал на службу в Омск, где жил у Капустиных. Был определен на службу заседателем в чине коллежского секретаря в Омском земском суде. Судя по упоминаниям в письмах его старших сестер, он рано пристрастился к вину и потому по службе особо не продвинулся.

Жена: 22 мая 1850 г. в Омской Пророко-Ильинской церкви исправляющий должность столоначальника Главного управления Западной Сибири, губернский секретарь Иван Иванов Менделеев сочетался браком с дочерью заштатного города Тюкалинска 2-й гильдии купца Ивана Семенова Маршалова, девицей Серафимой Ивановой, которые венчаны в означенной церкви священником Иоанном Протопоповым, диаконом Яковом Пырьевым.

Дети: 1. **Дмитрий** крещен 20 апреля 1851 г. в Омской Соборной Воскресенской церкви. 2. **Яков** родился 23 октября 1852 г., крещен в Знаменской церкви села Солтосарайского Курганского округа.

На апрель 1859 г. в прошении Ивана Ивановича Менделеева о причислении его детей в дворянское достоинство указаны **сын Александр**, дочери **Мария** и **Прасковья**.

7. Мария – младшая из дочерей Менделеевых (август 1826 – 1911, в 85 лет).

За несколько дней до смерти брата Дмитрия Ивановича заходила к нему во время его болезни. Замуж вышла в 18 лет, то есть в 1844(5) г.

Муж Михаил Лонгинович Попов (1819 г. – 1882) – учитель Тобольской мужской гимназии. Окончил, как и его тесть И.П. Менделеев, философско-юридический факультет Главного педагогического института в Санкт-Петербурге. С февраля 1842 г. – старший учитель законоведения и судопроизводства Тобольской губернской гимназии. С декабря 1851 г. – надворный советник. Одновременно он являлся сотрудником «Тобольских губернских ведомостей», отвечал за раздел новостей.

Дети: **сын Михаил** родился 11 декабря 1846 г. О его рождении сообщает в одном из писем Капустиным Мария Дмитриевна Менделеева.

О рождении второго **сына Виктора** в метриках Тобольской Богоявленской церкви за 1853 г. сообщается: «У надворного советника Михаила Лонгинова Попова и законной жены его Марии Ивановой, православные, родился **сын Виктор** 3 февраля, крещен 10 февраля 1853 г.

Восприемники: коллежский советник Петр Дмитриев Жилин и канцеляриста жена Ольга Ивановна Басаргина.

Дьякон Григорий Быстров, таинство совершал иерей Федор Лебедев. Свидетельство запрошено к выдаче 6 мая 1859 г.».

В метриках Тобольской Воскресенской (Захарьевской) церкви за 1855 г. сообщается о рождении в семье Попова третьего **сына Афанасия**.

«13 июня 1855 г. родился (20 крестился) **сын Афанасий** у коллежского советника Михаила Логиновича Попова и законной жены его Марии Ивановны. Восприемники: коллежский советник Порфирий Матвеевич Чигиринцев и коллежского регистратора жена Ольга Ивановна Басаргина. Священник Федор Лебедев».

В 1867 г. семья Поповых переехала из Томска в Москву, о чем сообщает в своих воспоминаниях Екатерина Капустина: «Осенью 1867 года приехала из Сибири другая сестра Дмитрия Ивановича Мария Ивановна Попова с семьей и мужем, бывшим директором Томской гимназии. Они поселились в Москве, там муж Марьи Ивановны по несчастному случаю потерял скопленные им трудом 10 тысяч рублей и остался с семерыми детьми, из которых старшей дочери было 18 лет, а младшей полгода, на одну пенсию. Дмитрий Иванович пришел им на помощь. Он дал им отдельный кусок плодородной земли на Стрелицах, с родником, всего 8 десятин, дал материалу для постройки дома и служб, и новое хозяйство устроилось на этой земле».

8. Павел (29 февраля 1832, г. Тобольск – 3 мая 1902, г. Тамбов).

В 1847 г. с отцом ездил в Омск к Капустиным. После окончания Тобольской гимназии в 1849 г. уехал в Омск, где начал службу мелким чиновником. Был на попечении Якова Семеновича Капустина, своего зятя, и до своей женитьбы жил у Капустиных. Начал службу в Главном управлении Западной Сибири. В 1862 г. получает должность советника в Томском губернском правлении. Позднее служил в системе государственного контроля: с 1872 г. в Саратове, с 1879-го – в Новгороде, с 1882-го – в Тамбове. Прошел путь от младшего ревизора до управляющего губернской контрольной палаты. Во время службы в Тамбове, где и похоронен, имел чин действительного статского советника.

Н.В. Басаргин рассказывает в своих «Записках» об увлечении Павла Менделеева Пелагеей Мозгалевской, дочерью декабриста. Когда Басаргины собрались уезжать из Сибири, то узнавший об этом Павел приехал в Ялуторовск, чтобы просить руки Пелагеи. Но ему тогда отказали по причине ее малолетства. Их венчание состоялось значительно позже и, к сожалению, прожили вместе они весьма недолго.

Первая жена: **Пелагея Николаевна Мозгалевская** (1 октября 1840–1862, г. Омск) – дочь декабриста Н.О. Мозгалевского, после его смерти воспитывалась в семье декабриста Н.В. Басаргина и его жены Ольги Ивановны, привезенная к ним после смерти отца в возрасте семи лет.

Дети, двое сыновей и двое дочерей: Иван, Сергей (умер в 1865); Ольга и Евдокия.

Вторая его жена – **Павла Васильевна**.

Довольно подробно о женитьбе Павла Менделеева на Пелагее (Полине) Мозгалевской сообщает в своем романе-исследовании «Память» известный советский писатель В.А. Чивилихин. Далее приводятся документы, на которых он основывает свой рассказ.

В неизданном своем дневниковом «Журнале» Николай Басаргин записал: «Полинька была уже невестой, и нам с Ольгой Ивановной хотелось, чтобы прежде чем начать новую самостоятельную жизнь, она повидала бы большой мир».

Из писем. 21 июня 1854 г. Иван Пуццин из Ялуторовска – Гавриилу Батенькову в Томск: «Я к вам с просьбой от себя и соседа Басаргина. Брат его жены, некто Менделеев, подал в Омске просьбу Бекману о месте. Бекман обещал определить его, когда возвратится из Омска в Томск. Вероятно, теперь уже дома, потому что на прошлой неделе Гасфорт с молодой супругой проехал на свое воеводство. Пожалуйста, узнайте у Бекмана и уведомьте меня. Он заверил Менделеева, что непременно исполнит его просьбу, а тот, естественно, очень нетерпеливо ждет; без сомнения, вам не будет никакого затруднения доставить нам положительные сведения по этому вопросу».

24 сентября 1854 г. Иван Пуццин – Гавриилу Батенькову: «[...] вразумлен. Он часто пишет с Колывани к своей сестре. Доволен своим местом и понимает, что сам (независимо от Вашего покровительства) должен устраивать свою судьбу».

Речь шла о Павле Менделееве, начавшем служить в Колывани-на-Оби. Потом он перебрался в Томск, где стал первым редактором «Губернских ведомостей», затем перевелся в Омск, иногда наезжал в Ялуторовск, к своей старшей сестре, жившей среди друзей-декабристов своего мужа. Там Павел и встретился с Полиной Мозгалевской, «чья красота и ум его пленили».

10 марта 1858 г. Иван Пуццин сообщил Наталье Дмитриевне Фонвизиной: «Аннушка (побочная дочь И. Пуццина) мне пишет, что в Нижний ждут Басаргиных и что Полинька невеста Павла, что служит в Омске. Может, это секрет, не выдавай меня. Летом они, кажется, едут в Сибирь».

Басаргины со своей воспитанницей погостили в Нижнем Новгороде и отправились в Москву. Потом во Владимир и на Украину в Тульчин, где он был когда-то арестован.

Из писем. Александра Ентальцева из Москвы – Ивану Пуццину в Марьино:

«Басаргины уехали на первой неделе поста в г. Покров Владимирской губернии. Полинька помолвлена за второго брата Ольги Ивановны, за Павла, помните, он гостил у них против вашей квартиры... Хороший молодой человек, а какой славный малый меньшей ее брат! Если они не поедут в Сибирь, то Полинькин жених сам приедет сюда за своей суженой; Полинька хорошая девушка, очень неглупа и вообще очень пристойна».

Прежде чем окончательно переселиться в Центральную Россию, Басаргин вместе с женой решили вернуться в Сибирь и присутствовать на свадьбе их воспитанницы с Павлом Менделеевым.

Из писем. 30 июля 1858 г. Иван Пуццин – Марии Ивашевой-Трубноковой: «Крестный твой (то есть Н.В. Басаргин) поехал в Омск, там выдаст замуж Полиньку, которая у них воспитывалась, за брата жены его, молодого человека, служащего в Главном управлении Западной Сибири. Устроят молодых и вернутся в Покровский уезд, где купили маленькое имение».

Венчание происходило в Омском Воскресенском соборе протоиереем Степаном Знаменским, покровительствующем местным декабристам.

Из писем. Иван Киреев – Ивану Пущину: «Полинька Мозгалевская, вышедшая замуж за брата жены Басаргина, обещалась приехать сюда с мужем». Молодожены поехали в Минусинск, чтобы навестить мать Поли Авдотью Ларионовну, которую она не видела около десяти лет. Иван Киреев из Минусинска – Ивану Пущину: «Проводили мы Полиньку, порадовала она всех, осчастливила мать».

Через год после свадьбы у Менделеевых родилась дочь Ольга, потом сын Сергей, за ним Дуняша, названная в честь бабушки. Сама Полинька внезапно, двадцатидвухлетней, умерла, за ней Дуняша. Сережа пережил их всего на три года. У Павла Ивановича осталась еще Ольга, на которую он возлагал большие надежды. Но она рано вышла замуж и вскоре умерла вместе с новорожденным Сергеем.

9. Дмитрий (27 января 1834 – 20 января (2 февраля н.с.) 1907, в 73 года). В возрасте четырех лет в Аремзянах перенес оспу. Писать умел уже в пять с половиной лет. Дома ему и брату Павлу давал уроки учитель Стахий Степанович.

В автобиографии, записанной лично Д.И. Менделеевым, указано, что ему известны имена его братьев и сестер, родившихся ранее, но умерших в малолетстве: «Ранее родились и крещены Виктория, Мария, Николай (1820), две Варвары, Илья (1830)».

К этому сообщению можно отнести запись в метрической книге Бого-явленской церкви от 2 ноября 1830 г.: «Тобольской гимназии директора 8-го класса Ивана Менделеева родилась дочь Варвара». Далее приводятся все восприемники, которых было 7 человек. Среди них дети директора гимназии Менделеева Иоанн и Аполлинария. Дата ее смерти неизвестна.



Как видим, семейство Менделеевых, пустившее свои корни в Тобольске, дало, образно говоря, многочисленные отростки. Некоторые из них довольно рано увяли, зато другие во многом превзошли своих родителей, сделав не только карьеру, но оставив значительный след в истории. В чем причина, что из одного и того же семейства сформировались столь значительные личности? Случай? Природа? Или заложенная в них еще в детстве основа? Вряд ли мы сможем однозначно ответить на этот вопрос... Но то, что в Сибири, как и в центральной части России, задолго до революционных преобразований уже существовала благодатная почва для образования и воспитания подрастающего поколения, несомненно. Семья и классическое образование служили для них крепкой основой до конца жизни. Может, и нам всем стоит как-то поменять свои жизненные ориентиры, чтобы наше семейное древо не увядало еще многие поколения...

Краткая историческая справка по деятельности тобольских купцов Медведевых и Корнильевых в середине XVIII–XIX вв.

Купцы Медведевы В.И. и его сыновья Евсей, Антон, Иван – родственники Корнильевых. В 40-е гг. XVIII в. Медведевы, пользуясь покровительством губернатора А.М. Сухарева, берут на подряд доставку соли с Иртыша в уральские городки. В 1744 г. на противоположном берегу Иртыша неподалеку от Тобольска открыли бумажную фабрику на речке Суклем. В 60-е гг. XVIII в. они были богатейшими людьми в Тобольске.

В 1751 г. купцы Медведевы открыли писчебумажную фабрику близ Ялуторовска.

В 60-е гг. внучка Варфоломея Медведева вышла замуж за Василия Яковлевича Корнильева.

В 1778 г. В.Я. Корнильев купил половину бумажной фабрики у Медведевых, а пять лет спустя, в 1783 г., оплатил их вексель и купил бумажную фабрику полностью. Кроме этого, Корнильев имел салотопный завод и через Петербург поставлял его продукцию за границу. Выдвинул проект создания в Сибири акционерного общества для производства и сбыта вина. Превосходил его на тот период по капиталу лишь другой тобольский купец Ф.Ф. Кремлев.

В апреле 1788 г. так называемый Большой пожар в Тобольске уничтожил за двое суток 1800 домов, в том числе лавки и торговые помещения. Купечество понесло огромные потери на полмиллиона рублей. У Василия Яковлевича Корнильева сгорело два дома, салотопня, товары в гостинном дворе на 12 тысяч рублей и векселя на немалую сумму.

На какое-то время Корнильевы переезжают на жительство на бумажную фабрику в д. Суклеме за Иртыш.

После приобретения печатного оборудования Корнильевы занялись поставкой печатных бланков для губернских казенных учреждений. В их типографии было напечатано 7200 экземпляров журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» (первого в Сибири печатного периодического издания), и две части «Журнала Исторического» по 13 печатных листов каждый, общим тиражом 12 тысяч экземпляров.

В 1758 г. Софийский митрополичий дом завел в 7 верстах от Тобольска стекольную фабрику. Но еще раньше братья Корнильевы решаются на открытие подобного производство, видя в выпуске стекла немалую выгоду, а потому в 1749 г. получают высочайшее разрешение на открытие «хрустальной фабрики» в районе Верхних Аремзян в 25 верстах от Тобольска.

В начале 1750 г. купцы Корнильевы покупают у дворянина А.А. Карамышева в Тюменском уезде деревеньку с 28 крестьянами, а год спустя у тобольского помещика А.П. Нефедьева землю и крестьян в Тобольском уезде.

1 апреля 1751 г. начала действовать стекольная фабрика Корнильевых в селе Верхние Аремзяны.

В 60-е гг. XVIII в. на фабрике изготовлялось около 2000 хрустальных и 1300-1500 стеклянных изделий, 15–20 ящичков зеленого стекла и 400–500 листов оконного стекла. Реализовалось изделий на сумму до 2000 рублей в год. К концу столетия объем увеличился в 3 раза. В 1800 г. на фабрике было 26 мастеровых, 38 чернорабочих по заготовке дров. В конце XVIII в. при стекольной фабрике Корнильевых находилось 93 души крепостных мужского пола.

В 1807 г. по указу Сената приписных крестьян перевели в разряд государственных, что послужило прецедентом для недовольства других крестьян.

24 июля 1808 г. мастеровые Аремзянской стекольной фабрики подали прошение сибирскому генерал-губернатору И.Б. Пестелю на притеснения со стороны Корнильевых.

В 1829 г. в управление стекольной фабрикой вступила Мария Дмитриевна Менделеева как доверенная своего брата Василия Дмитриевича, непосредственного владельца фабрики.

В 1834 г. семья Менделеевых переезжает для постоянного проживания в село Аремзяны. Просят кредит для налаживания производства у тобольских купцов. При этом вынуждены помогать их зятю И.П. Медведеву, проживающему в г. Ялуторовске, замужем за которым их старшая дочь Ольга.

В 1835 г. М.Д. Менделеева обратилась в земский суд с жалобой на крестьян, которые отказывались вывозить заготовленный лес и готовить золу для фабрики.

В жалобе указывалось, что крестьяне продают в город лес с заводских дач, уничтожили 50 стекловаренных горшков, оставшихся 7 рабочих лошадей она вынуждена взять в город, чтобы крестьяне их не замучили.

В 1837 г. на стекольной фабрике трудятся 12 мастеров и 38 чернорабочих из крепостных, 9 мастеров и 100 рабочих из числа вольнонаемных.

В 1842 г. на фабрике произведено 116 400 изделий на 10 582 руб. 60 коп.

В 1848 г. стекольная фабрика сгорела и более уже не функционировала.

По смерти Василия Дмитриевича Корнильева в 1861 г. род Корнильевых по мужской линии прерывается.

**Продажа стекольного завода купцами Пиленковыми
И.П. Медведеву**

Всепресветлый Державный
Великий Государь император
Александр Павлович,
Самодержавец Всероссийский,
Государь Всемиловитвейший

28 ноября 1825 г.

Тобольской 1-й гильдии купец Николай Степанович Пиленков и
вдова купецкая жена Аграфена Михайлова Пиленкова

Степан Семенов Пиленков имел стеклянный завод Ялуторовской округи Бердюгинской волости близ деревни Коптюленской в 1803 г. Просит продать мещанину Ивану Петрову Медведеву за 3 тысячи рублей.

Татьяна СОЛОДОВА

Жизненный круг Александра Гилевича (1922 – 2005)

*Очерчен наш жизненный круг...
А. Гилевич*

Талантливый педагог, представитель одной из известных тобольских учительских династий, умелый руководитель, публицист, поэт – лирик и философ. Это все о нем – об Александре Всеволодовиче Гилевиче.

Этот человек во второй половине XX века был фигурой во многом знаковой для Тобольска. Кто он такой – я знала с детства. Мои родители относились к нему с большим уважением. Отличный учитель, директор одной из двух в Тобольске 50-60-х годов прошлого века средних школ – нагорной школы № 13. Она славилась талантливыми учениками, блистала своей художественной самодеятельностью и успешно конкурировала по всем показателям с подгорной средней школой № 1, в которой училась я. Школа № 1 – один из культурных центров подгорной части города, школа № 13 – очаг культуры «на горе». Прекрасно подобранный коллектив учителей школы № 13 был высоко профессионален и разнообразно талантлив. Все это являлось огромной заслугой директора А.В. Гилевича.

В 60-е годы – заведующий горно, в 80-90-е – директор Тобольского педагогического училища, Александр Всеволодович везде был на своем месте, руководил талантливо, гуманно, демократично; пользовался заслуженным авторитетом и уважением всех, кто его знал. Общий трудовой стаж Гилевича равнялся 56 годам, из них 50 лет он посвятил педагогической деятельности. Всегда – на виду у всего города. И не только он.

Жена, Лидия Васильевна, лучший хореограф Тобольска, воспитавшая за десятилетия работы в культурно-просветительном училище (позже училище искусств и культуры им. Алябьева) не одну сотню прекрасных специалистов, – красавица с яркими карими глазами. Артистичная, изящная, она сохранила до старости легкую походку, подвижность фигуры, энергичность, теплоту души и интерес к жизни. Дочери унаследовали от родителей талантливость, добросердечность, оптимизм. Две бабушки, дожившие до глубокой старости: мама Александра Всеволодовича и мама Лидии Васильевны – очень интеллигентные, душевные, поддержка и опора в воспитании троих детей. Это была одна из культурнейших тобольских семей – дружная, крепкая, с хорошими семейными традициями и глубоким уважением друг к другу.

Разносторонне одаренный, Александр Всеволодович занимался краеведением и писал статьи об известных людях, связанных с Тобольском. Он имел ярко выраженные художественные способности: в молодости участвовал в художественной самодеятельности и был интересным актером, всю жизнь писал стихи, которые печатались в местной газете «Тобольская правда», а в 1995 году вышли отдельным сборником под названием «Тобольские мотивы».

Последние 12 лет жизни Александра Всеволодовича моя семья прожила с Гилевичами не только в одном доме, но и в одном подъезде: мы на втором этаже, они на третьем. Я часто встречала его около дома. Всегда подтянутый, очень доброжелательный, даже по-старомодному учтивый, он очень располагал к себе. В глубоко пожилом возрасте занимался спортом, каждый день, невзирая на погоду и время года, совершал длительные пробежки, никогда не жаловался на болезни, усталость, возраст. Был, так же, как и его жена, интересным собеседником и умел быстро установить душевный контакт.

Жизнь Гилевича казалась прямой и гладкой дорогой, полной удач, успеха, уверенности во всем. Его труд отмечался большим количеством грамот, медалей, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», орденом Трудового Красного Знамени. Трудно было предположить в этой фигуре очень успешного советского чиновника от образования, сумевшего реализовать себя во многом, в главе большого дружного и благополучного семейства внутренний трагизм. Но недаром мой отец, пробывший семь лет в ГУЛАГе, как-то сказал маме: «Я слыхал, что он из наших». Мне тогда было лет десять, конечно, я не поняла, что значит это «из наших». И только через несколько десятилетий я узнала, что Александр Всеволодович – из числа репрессированных.

Он родился в 1922 году в маленьком бессарабском городе Хотине. Отец его Гилевич-Котвич Всеволод Болеславович (видимо, имеющий польские корни), царский офицер, вынужден был с приходом советской власти уехать в Бессарабию, которая в то время принадлежала Румынии. Он работал бухгалтером в Хотинском здравотделе. Мать, Кудик Наталья Михайловна, из крепкой многодетной семьи бессарабских молдаван, служила секретарем в женской гимназии. В 1940 году Александр окончил местную гимназию. В этом же году Бессарабия, в силу договора Молотова-Риббентропа, перешла под юрисдикцию СССР.

За неделю до начала Великой Отечественной войны, «...13 июня 1941 года, ночью, в наш флигель явились двое мужчин в штатском в сопровождении вооруженных работников НКВД и без всякого письменного основания заявили, что нам – отцу, матери и мне – следует в течение 30 минут собрать все необходимое... и выехать на новое место жительства», – напишет значительно позже Александр Всеволодович в своих мемуарах «Воспоминания бывшего переселенца: от Бессарабии до Тобольска», напечатанных в сборнике «Тобольский хронограф».

Сначала девятнадцатилетний Александр вместе с матерью попал в лагерь для репрессированных в Заводоуковском районе Тюменской области (близ деревни Падун). Привезенные туда насильно люди должны были валить лес и заготовливать из него шпалы для железной дороги.

Когда читаешь воспоминания А.В. Гилевича, то вместе с автором переживаешь чувство постоянного голода: два раза в день давали баланду из воды и муки с 400 граммами горького черного хлеба, и постоянную нечеловеческую усталость от тяжелого двенадцатичасового труда. «Все это накладывалось на сознание того, что ты – враг народа, что ты за что-то наказан. Но за что? Что тебе не доверяют, за тобой постоянно следят, что ты совершенно бесправен и никак и ничем не защищен; все создавало очень болезненное состояние, все были морально угнетены до предела».

Это было страшнее всего – беспредельное унижение человека, даже не унижение, а сознательное уничтожение в человеке личности, низведение его до уровня животного. Неслучайно у людей отбирали все документы и письма – чтобы сделать их безымянными, безликими, бесправными.

В июне 1942 года Гилевичей отправили в числе сотен других спецпоселенцев на север Тюменской области. Они попали в село Нахрачи (ныне Кондинское), где Александр сначала работал в бригаде рыбаков, потом – столяром-плотником на рыбозаводе, вплоть до 1946 года, когда ему разрешили выехать в Тобольск.

Каким бы унижительным и бесправным ни было положение спецпоселенцев, жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Особенно остро это ощущали молодые. В 1943 году жизнь для Александра повернулась более светлой, доброй стороной. Он начал активно участвовать в драматическом кружке Нахрачинского Дома культуры. «Сначала робкое, затем более смелое вхождение в круг новых знакомств, в суть содержания жизни кружков художественной самодеятельности, в особую атмосферу репетиций, концертов, действовало ободряюще, поднимало тонус жизни. Днем работа в столярной мастерской, выполнение нарядов, а вечером – другая жизнь, другие люди, новые впечатления и ощущение того, что ты еще чего-то можешь, что-то умеешь, что ты здесь нужен, что ты здесь не наказан, что тебе здесь хорошо.

Попадая в обстановку доброжелательности, человеческого внимания и творческого подъема, я забывал, что я спецпоселенец и за что-то наказан. Омрачало мое новое душевное состояние только то, что два раза в месяц я должен был являться в комендатуру, и подпись коменданта на моем «Виде на жительство» возвращала к реальности моего положения».

В Доме культуры молодой человек познакомился с его директором Галиной Ивановной Чудаковой и ее дочерью Лидией, которая в 1945 году стала его женой.

Семья Чудаковых в 1946-м уехала в Тобольск, а вскоре и Александру разрешили выезд «на соединение с семьей и для учебы».

В Тобольске Александр Всеволодович поступил в местный учительский институт на отделение русского языка и литературы, позже окончил заочно Тюменский педагогический институт.

А дальше? Дальше жизнь пошла успешно, и успех этот являлся вполне заслуженным. Мало кто в Тобольске знал, что А.В. Гилевич, занимающий важные должности в системе городского народного образования, – бывший лагерник и спецпоселенец. Но сам он забыть этого не мог. Боль и память прошлого занозой сидели в его душе и прорывались наружу в стихотворениях. Это – страшный день 13 июня 1941 года:

*...Кошмарным сном была та ночь,
По-человечески необъяснима,
И с ночи той душа ранима
Все оправданья гонит прочь.
Такое в жизни раз бывает.
Той ночи оправданья нет.
Жизнь ничего не объясняет,
А я все жду и жду ответ...*

Советские органы не склонны были сразу забыть компрометирующее прошлое ни в чем не повинного человека. В 1954 году Александра Всеволодовича увольняют с должности преподавателя русского языка ремесленного училища № 2, его первого места работы в Тобольске, по сокращению штатов. Это в наше время формулировка «по сокращению штатов» стала обычной и имеющей прямое значение. В годы советской власти штаты учреждений очень редко сокращались, и обычно за записью в трудовой книжке «по сокращению штатов» скрывалось совсем другое: неуждливость начальству, сомнительная репутация, подозрительное прошлое. Примечательно и то, что Гилевич был официально восстановлен в гражданских правах, то есть реабилитирован, только в 1959 году, спустя 13 лет после отъезда из места спецпоселения в Нахрочи.

Годы репрессий не сделали Александра Всеволодовича пессимистом, скептиком, не лишили его веры в советскую действительность. В своих воспоминаниях он стремится оценивать прошлое объективно: «...в советское послевоенное время в нашей жизни было много светлого, справедливого, и светлые стороны советской действительности очернить невозможно. Отрицать светлые стороны той социалистической действительности, которые приобрели конкретные, осязаемые формы, никто не может, но было и такое, что забывать нельзя, замалчивать тоже, о чем надо говорить, о чем должны знать грядущие поколения».

И вместе с тем пережитое прошлое побудило Гилевича к глубоким мыслям о дальнейшем пути общества, к размышлениям о Добре и Зле: «Когда меня спрашивают, какое общество мы пытаемся построить сегодня в России, я отвечаю: если отвлечься от конкретики и поразмышлять абстрактно, то любое развитие, как в обществе, так и развитие личности, есть проявление борьбы Добра со Злом. Мы идем не от плохого общества к хорошему (не от Зла к Добру) и не от хорошего общества к плохому (не от Добра к Злу), а идем к Новой Комбинации Добра и Зла. А чего в новом обществе будет больше: Добра или Зла – зависит от людей, от каждого из нас».

«Очерчен наш жизненный круг», – писал Александр Всеволодович в одном из своих стихотворений. Его жизненный круг включал в себя очень многое. Важной его составляющей являлась искренняя и глубокая любовь к литературе, поэтическому слову, способность выразить себя в нем. К сожалению, единственный изданный сборник стихотворений Гилевича «Тобольские мотивы» имел небольшой тираж и сейчас известен немногим.

Стихи Александра Всеволодовича традиционны по форме, не блистают яркими метафорами и оригинальными рифмами, но в них много глубоких мыслей и искренних чувств. В них ощущаются душа и сердце автора.

А.В. Гилевич не родился в Тобольске, но прожил в нашем городе почти 60 лет. «...тоболяком считаю себя с 1946 года, когда впервые увидел этот старинный, со своим особым, неповторимым лицом город», – писал он.

Некоторые стихи Александра Всеволодовича, посвященные Тобольску, написаны в жанре песни.

Поэта радует новая жизнь древнего Тобольска, которую он связывает с промышленно-техническим развитием и, прежде всего, со строительством нефтекомбината.

Однако поэта беспокоило то, что в городе находятся в забвении многие исторические места и памятные объекты, особенно дома, в которых когда-то жили выдающиеся люди. В стихотворном повествовании «Сказ о Тобольском кремле и Сибирской земле» он с печалью пишет о том, как железная дорога, приумножившая связи Тобольска с европейской частью России, почти уничтожила исторический памятник – гору Сузгун, где, по преданиям, жила красавица Сузгэ, любимая жена хана Кучума:

*Легенда о Сузгэ живет,
Иртыш по-прежнему течет,
А леса там давно уж нет,
И от горы той жалкий след.
Там поезда теперь снуют,
Спокойно думать не дают...*

В стихотворении «Памяти П.П. Ершова» поэт с болью вопрошает:

*А мы, наследники поэта,
Как мы относимся к нему?
Нам дорого и свято это
Иль нам все это ни к чему?..*

В 1973 году Гилевич публикует в газете «Тобольская правда» статью под названием «Все ли мы делаем», в которой заявляет: «...Мы можем и должны уже сейчас намного больше делать для сохранения и восстановления памятников культуры прошлого, для создания новых памятных мест города». С большой тревогой пишет автор о «жалком и неприглядном виде» дома, в котором когда-то жил в тобольской ссылке украинский поэт-революционер П. Грабовский; о том, что в городе «непозволительно медленно решается вопрос о создании музея декабристов, хотя разговоров по этому поводу было уже предостаточно». Он предлагает создать музей П.П. Ершова в том доме, где поэт жил в последние годы и в котором в 70-е годы располагался детский сад. «...Вопрос о сооружении памятника воинам-тоболякам, отдавшим свои жизни в годы Великой Отечественной войны, ставился уже давно, но почему-то безрезультатно».

Со времени написания этой статьи прошло тридцать с лишним лет. А воз (почти!) и ныне там! Более того: с огромным сожалением приходится констатировать, что дома, в которых проживали Ершов и Грабовский, не только не стали музеями, но и вообще стерты с лица земли, так же как дома декабристов Свистунова, Фонвизина и многие другие, по современному лексикону, артефакты. О музее декабристов нет даже и разговоров. Осуществилось единственное из того, о чем писал Гилевич, – памятник воинам-тоболякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Горечь от утраты прекрасного облика подгорного Тобольска пронизывает стихотворение «Ностальгические мотивы», написанное сразу после пожара, в котором сгорело замечательное деревянное здание тобольского театра – украшение и гордость города:

*...скажи мне, мой город,
Тобольск мой подгорный,
Что сотворили люди с тобой?*

Все в дереве жило
И жизнью дышало:
Дороги, заборы, калитки, дома.
Кто помнит тот город,
Совсем необычный,
Тот не забудет его никогда.
Здесь дети играли,
И люди гуляли,
Жизнь здесь кипела и была ключом,
Березы шумели,
И вальсы звучали,
Когда танцевали в саду городском.
И терем, как в сказке,
На улице главной
Твореньем искусства стоит предо мной.
Здесь люди встречались,
Здесь пьесы игрались...
Сгорел наш тобольский театр городской.
Дома покосились,
Заборы свалились,
Дворы опустели – хозяин ушел.
Гуляет лишь ветер
В глазницах оконных,
А новый хозяин еще не пришел.
Кругом разоренье,
И в душах смятенье,
Когда зашумит здесь поток городской?
Скажи мне, мой город,
Тобольск мой подгорный,
Что сотворили люди с тобой?!

Ноябрь, 1995 г.

Александра Всеволодовича очень интересует далекое прошлое Тобольска. Он пишет о Ермаке и Кучуме («Сказ о Тобольском кремле и Сибирской земле»), о «поэте, художнике и картографе» Семене Ремезове, который в XVII веке знал,

...что край, который он любил,
Такой суровый и студеный,
Несметные дары таил.
Дары земли и рек могучих,
Дары лесов и недр земных,
И красоту тайги дремучей,
И красоту камней цветных.

Свои труды и помышленья
Тобольску отдал он сполна...
(«Ремезов С.У.»)

В стихотворении «Тобольский колокольный звон» автор радуется возвращению в город церковного колокольного звона:

*Церковный звон, церковный звон,
Любовью полнит душу он.
И люди в вере и надежде
Идут на звон, идут, как прежде.
Звучит колоколов трезвон,
Тобольский колокольный звон.*

Это стихотворение опрокидывает представление об А.В. Гилевиче как о человеке со стандартным советским, атеистическим характером мышления, что должно бы быть свойственно ему как члену КПСС с 1963 года. В его душе все эти долгие десятилетия – от детства до пожилого возраста – жила вера, спрятанная глубоко внутри, видимо, заложенная родителями. Представители советской власти, которые после революции уничтожали церкви и искореняли веру в Бога, называются в этом стихотворении «обидчиками, злодеями, насмешниками и лиходеями». Они

*Разграбили весь храм дотла
И сбросили колокола.
И храм Софийский опустел,
А с ним Тобольск осиротел.
И наступила тишина
«На диком берегу Иртыша».
Народ смотрел, терпел, молчал,
Но сердцем чувствовал и знал:
Придет черед других времен,
Вернется он, церковный звон,
Сзывая по округе всей
В Иисуса верящих людей.
Воскреснут в наших душах вновь
Надежда, вера и любовь...*

После чтения стихотворения о тобольском колокольном звоне закономерным кажется в поэтическом наследии Александра Всеволодовича размышление о том,

*Нужна ли человеку вера?
Иль можно без нее прожить
И в жизни что-то совершить?
Иль нужен только разум, мера?
Нет, без нее любое дело
Мертвеет, гибнет на глазах...
Без веры просто жизни нет,
На ней и держится весь свет.*

Разумеется, речь здесь идет не только о религиозной вере, но и вообще о вере как моральной категории (вера в будущее, в любовь, в людей и пр.,

пр., пр.). Но тем не менее неоднократное обращение Гилевича в стихах к авторитету Бога как высшей духовной инстанции (венчание как клятва Богу хранить верность в браке, обретение душевного покоя в молитве, предательство Иуды) говорит о том, что он глубоко задумывался над атеистическим настоящим своего времени.

Душа не может быть без веры, считает поэт: «ушла душа – и гибнет тело». Тема души и духовности – одна из важных в творчестве Гилевича. Он пишет о ранимости и неповторимости человеческой души, которой нужны «ласка и тепло, вниманье», а еще отклик в другой душе.

Любовь для поэта – «начало всех начал, родник всего, что жизнью дышит». Его лирические стихи многочисленны и разнообразны по жанрам: в них слышатся фольклорные мотивы, романсовые мелодии, ритмы танго и вальса:

*Что ж ты замолчала,
Звонкая гармонь?
Я еще подброшу
Сушняка в огонь.
Пусть костер не тлеет,
Ярче пусть горит,
Суженая рядом,
Сердце говорит...
(«У костра»)
В моей душе оркестр играл,
Лились божественные звуки,
Когда твой стан я обнимал
И целовал твои я руки.
(«Романс»)*

Поэт размышляет о том, что такое счастье, какую роль в жизни человека играет красота и в чем она заключается: в искусстве, в человеке, в любви и природе. Он очень любит сибирский осенний лес, который «рождает грезы, необъяснимую печаль». Он «глаз не в силах отвести от красоты березовой», его восхищает «солнце на восходе», которое пробуждает в душе музыку. Стихотворение «Весна» очень привлекает неожиданной для советского поэта метафорой. Оно одно из лучших в творческом наследии А.В. Гилевича:

*Сегодня день снежит с утра,
Вчера весь день светило солнце,
Господь прикрыл весны оконце,
И воцарилась вновь зима.*

*Снежит, снежит весь день с утра.
А завтра снова будет солнце,
Откроет Бог весны оконце.
И разольется вмиг она...*

В поэтическом наследии Гилевича есть поэмы для детей, стихи, связанные с моральными сторонами быта людей.

К сожалению, большинство его стихотворений не датировано, поэтому нет возможности проследить, как развивались его поэтические способности.

Жизненный круг Александра Всеволодовича Гилевича сомкнулся 14 декабря 2005 года...

Как часто человеческое общество забывает или отбрасывает от себя недавнее прошлое, чтобы через десятки, а порою и через сотни лет по крохам восстанавливать его, вспоминать ушедшие из памяти события и имена.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Эдуард АНАШКИН

Мелодия лунного света

Среди тюменцев, земляков поэта Владимира Шугли (наряду с белорусами), он известен как человек очень разносторонний. Экономист, общественный деятель, философ, публицист... Но речь сейчас пойдет о поэтической грани многогранной личности Владимира Федоровича, сверкающей так ярко, что понимаешь: главное в его характере, нашедшее свое отражение в поэтическом творчестве, – стремление к гармонии. Именно стремление, потому что гармония – не то, что каждый из нас получает в готовом, как говорится, виде, а то, что каждый из нас ищет и созидает внутри себя, потому что без гармонии невозможно полноценное отношение к миру, людям, неземным категориям, что делают нас людьми.

Зацепилось сердце за звезду на небе – // Ждет восток, покрытый бирюзью. // Словно парус, серебрится лунный гребень. // Звездный свет средь туч блеснет слезою...

Гармоничное слияние традиции и современности сразу обращает на себя внимание вдумчивого читателя. Владимиру Шугле свойствен редкий талант «трех Т» – труд, творчество и терпение. И еще та несуетность, что заставляет вспомнить большой стиль русской классики.

Мне дали морские писали стихи, // Водю соленой смывая грехи. // Играла лукаво со светом волна // И в брызгах нагая в глубины звала. // В песке исчезали слезинки воды, // На солнце блистая, как неба следы... // На рифмах, как будто на крыльях полет, // Вдруг сердце рванулось в синеющий свод. // И там, у границы небесной черты, // Осталось на небе до первой звезды.

Читаешь это стихотворение и воочию видишь прекрасную картину пространства, перетекающего во время... Сборник лирической поэзии «Шестое чувство», вышедший в 2019 году тиражом 800 экземпляров в типографии города Кургана, – это пример высокого поэтического несуетного созерцания. Эта книга у поэта Шугли не первая и дай Бог не последняя, ведь читая ее, понимаешь ее как продолжение разговора о жизни, когда есть о чем именно поговорить, а не посуесловить.

И надо ж такому случиться: // С высот, осторожно кружа, // Спустилась, как синяя птица, // Мне на руки чья-то душа. // Не просто, не ради забавы // Упала звездой в ночи, // В ночном шелестенье дубравы, // В беззвучном мерцанье свечи... // Кем посланы эти приветы, // Чьи жизни давно позади?.. // В мелодии лунного света // Я слышу земное «Прости...»

Синяя птица поэзии... Кто из нас не бегал за ней по молодости? Но не всем она дается в руки, не всем садится на ладонь. Можно высидивать ее всю жизнь, стараясь остаться «поэтом в чистом виде». А вот Владимиру Федоровичу синяя птица поэзии спускалась на ладонь даже несмотря на его вечную занятость жизнью общественной. Он является почетным генеральным консулом Республики Беларусь в Российской Федерации

в Тюмени, председателем Тюменской областной общественной организации «Союз-интеграция братских народов». Он же – член Общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, а потому проблемы сельской глубинки знает, как говорится, не теоретически, а нутром. За русскую сельскую глубинку сегодня особенно некому заступиться, потому что неотвратимо уходят из жизни последние «могикане», великие писатели, печальники и заступники русской глубинки, прозванные деревенщиками. Те писатели и поэты, которые свое родство с селом, деревней воспринимали не просто как географический факт биографии, но кровную родовую связь, прервав которую человек теряет в себе духовный фундамент. В творчестве Владимира Шугли этот фундамент – основополагающий:

Средь городского суесловья, // Сумятицы машин и гула, // Красною лет – забытой, вдовьей – // Притих старинный переулочек. // Как будто замер, правя тризну // По старине, по русским селам – // Не оскверненный урбанизмом // Веков пронзительный осколок. // Казалось, встретился не я с ним, // А он искал со мною встречи, // Ждал терпеливо и безгласно, // Молитв пасхальных теплил свечи... // Я окунулся в окон ясность, // В узоров старых чудо-завязь, // В резную русскую согласность – // Разладу города на зависть. // И незаметно стало чисто // На сердце в благодатной минуте... // Я видел Русь в молитвах истых, // В резных узорах вечной суги...

Ода русской деревне, воспетая Владимиром Федоровичем, не пафосная. Проникновенная до слез, она вправе стать песней, срываться с уст под переливы гармоник и лететь по огромной России, омывая наши просторы светом:

Люблю я ровный шум мотора, // Когда машина мчится вдаль. // И позади остался город, // Большой и серый, как печаль. // А за стеклом то лес, то поле, // То русской деревеньки стать. // Какая ширь, какая воля, // Какая в сердце благодать!

Владимир Шугля – урожденный уралец. Родился в послевоенном 1947 году, то есть он человек одного со мной поколения, про которое говорят «поколение детей Победы». Детство провел не на асфальтах мегаполисов, а на родной русской земле... Видимо, эта земля и напитала поэзию Владимира Шугли эпическим духом.

Какая сила Русь нам сотворила? // Ее я в каждой чувствую версте, // Высоких душ божественная сила // В ее сибирской дикой красоте! // Объять ее бы мне не понарошку, // Поля и доли, синий окоем... // Вот промелькнула за окном сторожка – // И снова лес, таежный лес кругом... // Летит навстречу рельсам полустанок. // Стоит с флажком в руке Сибирь-краса. // Ее зовут, быть может, Марья, Анна... // И дальше вновь леса, леса, леса...

В юности Владимир Федорович окончил Свердловский институт народного хозяйства, много позже, в 1991 году, Уральский социально-политический институт. По второй специальности он политолог, а по внутреннему духу – поэт лирического склада. Но будучи лириком в стихах, в жизни он человек весьма деятельный и успешный. Является президентом крупной тюменской компании с русским казачьим названием – «Мангазея».

Довелось ему быть депутатом Тюменского областного и Тюменского городского советов, председателем правления Тюменской областной

общественной организации «Национально-культурное общество «Беларусь», членом городского Общественного совета администрации Тюмени... В общем, жизнь Владимир Шугля вел и ведет насыщенную, вроде бы для поэтического созерцания не очень подходящую. Однако книга стихов «Шестое чувство» - свидетельство того, что русская натура способна гармонично соединить высокое созерцание и активную деятельность.

Литературная жизнь Владимира Шугли тоже богата на события. Он – автор многих поэтических сборников на русском и белорусском языках. Член Союза писателей Союзного государства России и Беларуси. Член Союза писателей Беларуси. Отмечен рядом престижных публикаций во все-российских московских журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Великоросс», российских журналах «Второй Санкт-Петербург», «Врата Сибири», «Дон», «Невский альманах»... Его произведения печатались в белорусских журналах «Немига литературная», «Неман».

Владимир Федорович награжден орденом Дружбы Российской Федерации, медалью и орденом Франциска Скорины Республики Беларусь. И в некотором роде Владимира Шуглю можно назвать полпредом русской литературы в Беларуси и белорусской литературы в России:

Душа, как космический ветер, // Гуляет в далеких мирах, // Незримой звездой на свете – // Прозреньем – горит в небесах. // И пусть пролетают столетья - // Поэты бессмертны в стихах! // Стихи прорастают в поэте // Подснежником желтым в снегах.

Душа поэта... Она способна соединять разные времена, разные пространства, разные стихии. Ведь поэзия – таинственная машина времени, где все эти категории живут одновременно, не противореча друг другу, но дополняя друг друга в вечном человеческом стремлении к гармонии.

Поэтов не зря называют детьми и рыцарями гармонии. К гармонии стремился Пушкин. По гармонии русского мира тосковали Есенин, Блок, Дмитрий Кедрин, Николай Рубцов... Потому что гармония, не побоюсь этого определения – праматерь поэзии и мать поэтов. И когда поэт пишет о матери, это даже не со времен Есенина повелось, он в образе матери видит исконный образ русской гармонии, что родом из детства. В нем есть незримое присутствие рая, как в стихотворении Владимира Шугли о матери, где яблоневый сад выглядит поистине райским садом.

Сколько недосказанного мамам, // Сколько беззаботной той вины, // Сколько жизни всяческого хлама // В дни порой бездумно вплетены. // Слов души, не сказанных бывало, // Встреч под грифом вечным «на потом» // Не прощу себе... С зарею алой // Вижу яблонь сад, отцовский дом. // Копошится в огороде мама... // С нею часто за одним столом – // С папой, братом – ночью лунной самой // Говорю о трудном... О своем. // И она в ответ прощальным словом // Занебесья свет несет в горсти // И назад уходит звездным зовом // Огоньками Млечного пути...

Лиричны по сути и гражданские стихи Владимира Шугли. Они не грешат избытком патриотического митингового пафоса. В них есть понимание, что Россия – великая страна, и мы можем спасти это величие лишь будучи под стать своей стране. Изменившись внутренне и не ища виноватых вовне:

Кричали: «Жаждем перемен». // И вот уж нет запретных тем, // Но больше прежнего грешим, // Тепло сердце уходит в дым. // И Бог

*оставлен на потом // В земной погоне за рублем: // Быстрее, быстрее
набить суму... // О путь! Без разума во тьму... // Возводим дом, а в
нем нет стен, // Бурьян на пашнях, свалок тлен. // Святыни – в дым,
и в душах – дым. // Туманит время злом земным... // А жизнь-то
в сущности проста: // В ней детский смех – она чиста.*

Россия Владимира Шугли – это израненная нежность души, тема со-
кровенная и даже личная. Потому и нет в книге «Шестое чувство» среди
стихов о России никакой лозунговости, никакой баррикадности. Есть
исповедальное понимание, что Родина начинается с боли за Родину:

*О Русь! О Родина моя, // Моя израненная нежность. // Всегда в душе
ты для меня // Как сон, как утренняя свежесть. // Как полыхание
огня, // И как восхода неизбежность, // И радость солнечного дня, //
И неба вечная мятежность...*

Книга «Шестое чувство» – это проникновенно доверительный мужской
разговор с читателем. Без рванья рубахи на груди. Без поучений и безо
всякой опаски – а поймет ли меня читатель. Исповедь русского поэта –
светлая в стремлении к свету и чистая в стремлении к чистоте.

*За все плачу земную цену: // За счастья дни, что не ценил, //
За чувств возвышенных поэмы, // За боль, что близким причинил...
// А мог бы, глупый, по-иному - // Не по стремнине... И не в омут... //
Сейчас бы чувствовал покой, // Но то б не я был... То другой.*

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр МИЩЕНКО

Хозяева земли

К одному из них еду из Сладково с Александром Павловичем Шиловым. Сильный боковой ветер, заснеженная равнина вскипает от белых бурунчиков. Курс наш на Александровку, в крестьянское хозяйство «Роса», которое основал и возглавляет около двадцати лет Багытжан Хайрулович Исильбаев. Шилов работает у него агрономом.

Александр Павлович, для меня в простом общении Саша – фольклорная личность в этом углу области. Сторонка-то эта вообще фольклорная. Рыбная, песенная и степнистая. Тут придумали даже, чтоб коровки на «матрасиках» почивали (знай наших!). Но мы о Шилове.

Самородный талантливый агроном несколько лет работал в районной газете, куда его затащил дружок, член Союза писателей России Валерий Страхов. Тогда и прославился его протееже. Не заметками, над которыми он пыхтел-корпел до пота (не его это была нива), а историей одной. Знают ли читатели, что такое уловка? Темнить не буду, а скажу сразу: уловка – петля на глухаря, особенно на токующего. Охотники, слава богу, знают, как брать его, когда щелкает он и будто нож точит на токовище.

Два охотника со станции Называевской попали на какой-то официальный прием. Один, старый охотник-жиган – теплотехник, прошедший огонь, воду и медные трубы, другой, молодой и довольно деликатный – банкир. Случилось так, что во время фуршета соседом его оказался мой друг – корреспондент районной газеты Шилов. Истинный глухарь, он в общении с другими впадал в состояние токования. Как примется за какую-нибудь тему, так не то что выест ее до мосла, но и мозги собеседника. Насядет на тебя – хоть караул кричи. Рта не раскроешь. Самое разумное в такой ситуации – немедленно от него смываться. Так вот затоквал он банкира, задолбал какой-то местной проблемой. Банкир извелся от его атаки, уже кричал глазами, ища спасения.

Ситуацию просек товарищ его, старик-называевец. Он скорострельно помараковал мозгами и придумал уловку, какой можно б отвлечь «глухаря» от банкира. А ты, мол, имярек, спросил он бесцеремонно журналиста, знаешь, куда вчера поехал Абульфас Эльчибей? Журналюга смолк, завращал колесами выпуклых глаз, соображая, кто ж таков Эльчибей (может, слышал звон, что он какой-то азербайджанский политический лидер, да забыл). Жиган по охотничьим уловкам наводяще добавил:

– Его ведь ставят главой администрации у вас.

– Эва! – воскликнул вождь глухарей района, зацепив памятью некую параллельную Эльчибею звучность. – Он же в Каменке напротив моей мамы живет.

Журналюга молча расправил плечи, в глазах его вспыхнул огонь, да такой, что даже зазаикался:

– К-как это так, что ставят его главой района? Да он же браконьер дичайший и с властью такой все изведет в районе.

И радетель экологии района заглох, углубившись в какие-то свирепые свои думы. А приятели-охотники благополучно дофуршетили вечер и,

разомлев от водочки, благостно попылили на выдавшем виды «жигуленке» до родной Называевской.

Уловка ж с Эльчибеем начала свою фольклорную жизнь среди западно-сибирского лесостепья. Что же касается Шилова, то он вернулся в свою родную агрономию, и я теперь не страдаю от его напорного многословия, а наоборот, вслушиваюсь в каждое словечко товарища. Любуюсь, как играют жилочки на улыбчивом его лице, а улыбка самородно живет в нем и вспыхивает внезапно, будто чертик какой зажигает ее.

– Почвы у нас какие? Солонцы, тяжелые земли. Но мы их в «Росе» на службу урожаю поставили. Используем набор культур, которые улучшают структуру почв, разрыхляют их. Сеем люцерну, клевер, донник, тимофеевку, горох, вику, подсолнечник, суданку, просо, овес. В соответствии с севооборотом удается получать зерновые хорошего качества. Повышается плодородие почвы, сняли проблемы со злостными сорняками на полях.

– Расскажи, Саша, немного об Исильбаеве.

– Люди у него проверенные. Братьев пристегнул к своему делу. Управляющий Бауржан Хайрулович, жена Гульнар Вахитовна, учительница. Механик Даулетжан Хайрулович. Жена Роза Райсовна, рабочая фермы. Работает в пару с ней и жена Исильбаева Роза Касымовна. Агроном – аз емь Шилов. В обиходе зовем мы хозяина нашего Борисом. Жива мать его Рахила. Воспитала она и вырастила 9 детей.

– Что Борис, как казах, любит?

– Простор любит, – говорит Шилов. – Да ты глянь-ка из машины. Куда голову ни повернешь – везде свободное пространство, – и Саша зыркает глазами, вбирая его словно бы в себя. Вспышки улыбки много говорят о его состоянии.

Доехали быстро. Хозяйство Исильбаева на краю села, рядом с безбрежными полевыми просторами. Борис, мне так сподручней его называть, встретил нас радушно. Зашли в большой его просторный дом. Он уединился с Розой на кухне, и вскоре на низеньком казахском столе появилось большое блюдо вроде противня с разваристыми кружочками деликатесной конской колбасы. Только куснул я ее – слюнки потекли. Не без «рюмки чая» стол оказался. Сам хозяин не стал пить.

– Не болен ли ты, Боря?

– Не пью просто-напросто. Но пил и неплохо. Бутылкой не ограничивался. Теперь ссылаюсь на большую печень, чтоб не приставали. Печень, по большому счету, заезженная отговорка. Здесь надо остро держать себя. Тут и финансовые вопросы и пр. Вообще нет у меня к вину никакого интереса. Да и пример для подчиненных важен.

Выяснилось, что учился Исильбаев в Москве, в Высшей партийной школе. Это рядом с издательством «Молодая гвардия», где я печатался и нередко захаживал в ВППШ к товарищам-тюменцам. Мог видеть там и Бориса. Приятель мой, журналист из Челябинска, с которым учились вместе на факультете журналистики МГУ, подался на партийную работу, попал в ВППШ. Обалдел, когда узнал, что я самостоятельно осваиваю уже 45-й том полного собрания Ленина, прочел многие произведения Карла Маркса и Ленина. В ВППШ ребята учили классиков по программе. Приятель восторженно стал представлять меня своим товарищам, восклицая: «Вот какие люди в глубинке живут!» К похвале этой я отнесся

спокойно: жил ведь по своему естеству, читал то, что мне было интересно. С Борисом за столом общался я как со старым товарищем. Лучилось добротой интеллигентное умное его лицо. «Красивый казах», – так я определил его для себя.

– Организовались мы в 1993 году, – начал рассказ свой о хозяйстве Исильбаев. – С 13 га пашни. 2 коровы было. Один трактор Т-40. Один домик и один пригон. Чистое было поле.

– Как ты отважился на это дело?

– Деваться некуда было. Закончил я ВППШ, направили меня в Казахстан, в Петропавловск. Приехал в 1992 году, когда там главным был уже не первый секретарь обкома партии, а аким Гартман. Он сказал: «Ваше время вышло. Дайте нам, демократам, поуправлять».

– Он тебя выпнул?

– Почти. Мы остались не у дел, – сказал он, пырснув смешком. – Остались не востребуемыми. Начали все с нуля. Детей двоих с Розой нажили. Приехали мы к отцу моему, он здесь в Александровке жил. Говорю ему: у меня вот так и вот так. Отец меня поддержал, и затырловал я здесь свое хозяйство.

Слово новое в лексиконе Бориса меня не удивило: гонял я в Прихो-перье некогда стада крупного рогатого скота на мясокомбинат. Тогда узнал, что затырловать бычков – спешиться со стадом, остановить его.

Перекусив с дороги, пошли смотреть базу хозяйства.

– Вот здесь на этом месте отцовский дом стоял, – пояснял Исильбаев. – Сейчас мастерская, здесь ремонтируется техника наша. Специалист Павел с соседней деревни, с Рождественки. Много сделал, у него руки золотые. Вот его плющилка. Зерно плющит и смешивает с премиксами. Таких спецов в деревнях мало, все уехали в город. Мы выискиваем. Зарплата мала, вдвое меньше, чем в городе.

Павла этого увидел я через несколько месяцев по телевизору. Репортеры побывали у Исильбаева. Павел из разобранной списанной техники собрал кормозаводик. Если новый купить, потребовалось бы 300 тысяч рублей, заводик же собственной конструкции обошелся в 10 раз дешевле. Лишний раз убедился я в рачительности главы крестьянского хозяйства «Роса».

– Самусенко, слесарь животноводческих ферм, – представляет он другого своего работника. – Закончил СПТУ, учился на тракториста.

Доярка назвалась сама:

– Светлана Викторовна Клепинина. Замужем, но детей пока нет. Муж работает.

– А так-то, – допытываюсь со своим умыслом.

– Пьет.

Глаза умные и печальные.

На бытовом не стала акцент ставить, а повела нас мимо черно-пестрых племенных коров.

– Малышка ты моя, – сказала она одной из них ласково. Потом о себе:

– 9 классов окончила в Казахстане. Беженка. Там ни воды, ни света не было, ни денег. Зарплата здесь хорошая, 5-6 тысяч. Аванец дают. Кто хочет, тот работает.

– Но счастье личное тоже важно, – замечаю я.

– Не пил бы муж – все хорошо было бы.

Переключаюсь на разговор с Шиловым.

– Я послевоенный, – заявляет он без обиняков с играющей на его лице улыбкой. – До меня дети не рождались. Шутка ли в деле. Все мужики были на войне, а бабы тут пахали. И на кладбище не хоронили никого. Могил не было, все кресты попадали. Два инвалида войны осеменяли всех местных баб. Парень в 13 лет у нас уже считался мужиком. Бригадир приходил в школу и выбирал работных мальцов, как племенных баранов. Я с 46 года рождением, помню, как хлеба не было, как крутили зерно на крупорушку. Она спасала от смерти, от голода. Хлеб из комбикорма. Сейчас самое главное, чтобы всем можно было покушать. Чтоб все были здоровы. У меня вот дома мясо свое. Кролик, говядина, свинина. Я могу не ходить в магазин.

– Ку-л-аа-ак!

Лицо Шилова осветило будто салютное зарево улыбок – своя у каждой жилочки.

– Сено взял в «Росе» своей вместо зарплаты. И зерно так же. Денег у меня гулевых нету. На сберкнижке тысяча рублей. А на хрена они мне? – и тоненько засмеялся. – Хи-хи-хи. Мы гости на этой земле.

– Ладишь ты с Исильбаевым?

– Путем все. Весной только 20 дней я хочу быть диктатором, еще 30 дней осенью. Вот в чем моя власть.

– Почему тебя заинтересовал Боря?

– Почувствовал я в Исильбаеве сразу же жизненный опыт, рассудительность.

Ознакомившись на первый запал с делами на ферме, возвращаемся за стол, и вновь продолжается наш разговор с Исильбаевым.

Выяснилось, что Борис – родственник Оскара Хабиденова из Казанки. Учитель литературы, тот отменно знает русский язык, любит литературу, давно стал героем моей прозы. Оскара я люблю. Он мой названный брат.

– Каковы у тебя отношения с Александром Палычем, Боря? – допытываюсь я.

– Мы друг в друге нуждаемся, и не больше. Мне он нужен как специалист. По плечу друг друга не хлопаем.

Рассказываю собеседникам об астрофизической направленности моего повествования, о выдающемся физике современности, открывателе «черных дыр» Стивене Хокинге, мечтах человечества, начиная с Блаженного Августина, о «граде Божиим», то есть о золотом веке.

Александр Павлович молча переваривает свое и вдруг заявляет:

– Из общества выпадает голодный...

– Прав ты, друг дорогой, – подтверждаю я и рассказываю анекдот о встрече двух школьных друзей. Толстый, так назовем его, жалуется, что устал, то Гавайи, то Канары, то Куршевель. Тонкий о своем: я три дня, мол, не ел уже. Толстый проговорил озабоченно: «Это ты зря, надо себя заставлять». Не услышал сытый голодного, и о каком уж «граде Божиим» можно говорить тут.

Шилов вопросно глянул на меня.

– Зачем деревню так затоптали?

Нечего было мне сказать товарищу, и я о своем помыслил:

– Не чувствую я в Исильбаеве молодого капиталиста. Просто это человек новой формации на селе. Вот читал из поздней прозы Солженицына.

По косточкам разобрал он в одном из рассказов Перестройку. И заявил, что среди всех дурацких лозунгов близоруких, «социалистического рынка», «ускорения», потом «реформы» (неизвестно по какой программе) – один был пронизающе разумный, если его не упустить. Это призыв к директорам заводов: «Становитесь хозяевами производства». Его и на селе восприняли. И мало-помалу там стали появляться настоящие хозяева, такие как Исильбаев. Меня в моей прозе волнует толстовский вопрос: как жить человеку с человеком. Но я же больше, чем на сто лет старше Толстого, и есть своя прибавка: как жить в доме под звездами. А это – дом мира, звезды не воюют друг с другом. Я вижу в сельской глубинке, что народ в России нормальный. Вот хоть тот же Павел, местный Кулибин.

– Ты, кстати, Паша, пьешь или нет?

– Нет, – ответил он. – Мне это не интересно.

– Интересно с такими и жить, и работать Исильбаеву на родной его земле. Да, можно и нужно жить по-доброму, сочувствовать другому.

Шилов поворачивает разговор в русло своей агрономии. Он достает из кармана горсть пшеницы и взвешивает будто бы на ладони, как золото.

– Это пшеница семенная.

Выразительно взглядывает на меня:

– С одной полосы, и почти ни одного сорняка. Чистенькая. Сортовая, можно сказать. Поначалу на 50 тонн пшеницы было 15 тонн овсюга. Прошло 10 лет. Молотим. На килограмм зерна 0,0 десятых сорняков... Вот это и есть соль моей диктатуры в «Росе». Я не хочу, чтобы вокруг здешних могил рос осот с овсюгом. У соседей, однако, нет агронома, и не считают нужным его держать.

Любовно гляжу на вдохновенное лицо товарища своего.

– Почему у тебя, Палыч, небесно-голубые, как незабудки, глаза? Почему ты похож на Дерсу Узала с его доверчивой открытой улыбкой?

Шилов отшучивается:

– А я хлеб комбикормовый ел в детстве... Я в степи рос. Это богатые не улыбаются, они зубы только показывают. Раз у человека нет эмоций – нет у него развития.

– Ты о хозяйстве говори поподробнее, Александр Палыч, – прошу его. Внимая мне, тот продолжает:

– Коров в «Росе» много не держим. Но – хороших. Качество зерна – высшее на юге области.

Шилов вносит из коридора приготовленный мне для показа мешочек и объясняет:

– Вот полкилограмма зерна, татарская пшеница – 1 штука, один вьюнок, вот гречишка, а это овсюг. На полкилограмма 5 сорняков.

На лице Шилова написано простодушие ребенка, и я невольно соотношу его с таковым у героя чеховского рассказа «Злоумышленник», который болты откручивал на железной дороге. Товарищ мой поведал, что играл его в школе, когда ставили спектакль по Чехову. Здорово получался у юного артиста Шилова вопрос допросителям: «Чаво?»

– Еще чаво скажешь о своей работе в «Росе»?

– Если тут не материться в посевную и уборочную – дело станет. Утром как заверну... Мата тут не терпят...

– Расскажи, Боря, о матери, о детстве, – прошу я Исильбаева.

– Мать моя Вахила 10 детей родила, – эпически зачинает он. – В 1937 году родилась. Как я помню, жили в лесу, в землянке, дров не было. Пила

двухручка, мы в лесу пилили березы. Одежда – фуфайка, кирзовые сапоги, это в 60-е годы. Муку килограммами выдавали. Мама не кушала, пока мы не наедемся. Лампа семилинейка. Корова и лошадь. Отец на выпасах жил. За 40 быками ухаживал на откорме. Летом 100-120 коров пас. Залежные земли хотим обработать на моей родине. В Козловке. Там сейчас никто не живет. Лишь знакомые мои березы и тополя. Настроение плохое – еду в Козловку. К березам. Поглажу одну, другую – легче становится. И очень я понимаю Егора Прокудина в фильме Василия Шукшина «Красная калина».

Разбередил Исильбаев душу Шилова.

– В 46 году я родился, – тихо заговорил тот. – Засуха. Кожуры картофельной не было. Мука появилась – у мамы на глазах слезы. Одежонка ветхая. Калоши, одни сапоги на двоих. Глаза у нас, мальцов, загорались, когда видели муку и сахар... Сундуки были в избах, на них одеяла. Матрасы сворачивались. Соль, спички – это обязательно. Я знаю им цену.

– Я тоже знаю, – заговорил в подхлест Шилову Исильбаев. – Знаю, что такое мука-дробленка. Детей много, мать одна, отец попивал... Сочни делала мама из теста. Бульон варила. Лишнего не могла готовить. О соли у нас до сих пор спрашивает, есть ли, мол, она. Не терпит, когда к хлебу плохо относятся, бросают куски или не доедают. Трепетное отношение у стариков к продуктам питания. Это ж ощутимый недостаток. Не деньги, бумажки какие-то. Великая ответственность за нравственное здоровье своих детей была у мамы. Каждый шаг их под ее прицелом. В этом моем доме уже сотворила 3-4 молитвы. Успокоилась, когда увидела какие-то мои результаты в «Росе».

– Шилов, как я понимаю, человек принципиальный и за свое постоит. Ругаетесь?

– Иногда.

– Посевная – я диктатор, – вставляет свое агроном. – Мат, и все начинает крутиться, шевелиться. Сейчас, правда, редко до мата доходит. А с Борей большой скандал был, года два мы были в раздразе, почти не разговаривали. Он шел не по той тропинке, не по технологии работу строил. Я потребовал, чтобы по науке было и по здравому смыслу. Сейчас мы с ним самостоятельнее стали работать. В любом конфликте виноваты двое. За нервничает Боря – садится в машину и уезжает... А вообще он абсолютно бесконфликтный человек. Приходит к нему работяга как кипятком ошпаренный, через две минуты спокойный уходит...

– Я ни с кем не хочу ругаться, – соглашается Исильбаев, – я сильно ведь переживаю...

– Боря, ты достаточно перспективный тут хозяин. Как хочешь поднять район?

– Ну, район нам не осилить, Александр Петрович.

– Фирму «Маяк» в Казанке во главе с Владимиром Леонидычем Ташлановым знаешь? Он герой моей прозы. Ташланов поднял район. Что вам мешает?

– Весовые категории с Ташлановым у нас разные. Он глыба теперь. Был я в Огнево. Он энергичный. Методы работы масштабные.

Верно сказал Борис Исильбаев. Верно и то, что оба они с Ташлановым – знаковые люди новой деревни на юге Тюменской области. И того, и другого можно назвать истинным хозяином. Это то, от чего, по сути,

отучали селян при социализме, когда в деревнях правили бал больше иждивенческие настроения, баламутили производство разными неумными директивами. Но о Ташланове.

Маяковский любил давать на афишах анонсы своих выступлений на творческих встречах «компотом» из разных неожиданностей. Если бы я предварял беседу с Ташлановым, директором фирмы «Маяк» этим методом, то первой из них была бы такая:

Бывший председатель колхоза Ташланов возвращается к земле, которую он и не покидал никогда.

Приехав в гости к Ташланову в Огнево, посмотрел я видеоленту про собрание колхозников в соседнем селе Песчаном. Там создали агрофирму «Маяк-Песчаное», и Владимир Леонидыч стал хозяином в ней, приобретя 51 процент акций. Ветер перемен почувствовали песчановцы уже через несколько недель новой «эры»: был построен зерносклад, споро ремонтировалось родильное отделение для телят, заборонили на первый след всю посевную площадь, не стало хаоса, от которого взгляд мог ржаветь, на МТМ машины стояли по линейке. Успели спроворить крышу на складе, купить новый токарный станок. Впервые после полугодовой тишины в бухгалтерии, где слышно было лишь, как скребутся мыши, зазвенели денежки. Людям выдали зарплату, к тому же еще и полную.

Пересекши двор усадьбы Ташланова, я побывал с ним в тот вечер на «колбасном» заводе. Колбасный – условно: тут и рыбу коптят, и хлеб пекут, и макароны делают. Продукция заводикши, который принадлежал организованному Ташлановым хозяйству, – 500 булок хлеба в смену, 300 килограммов макаронных изделий шести видов, более полутонны копченой рыбы разного ассортимента да столько же колбасы. А завели в этом хозяйстве мельницу, где перерабатывали по 6 тонн зерна в смену. Для реализации своей продукции оно имеет в районе четыре магазина, собрались открыть еще два.

Разговор с Ташлановым продолжился за ужином. Снеди был полный стол, поблескивала и бутылочка.

– Спелый ты мужик, Леонидыч, – заявил я хозяину. – По горло мог бы накачаться деньгами, но вешаешь на себя заботы, занимаешься производством. Почему в него ввергся, а не ударился в торговлю колготками?

Оглаживая вниз кончики вислых усов, соседка мой за столом стал объясняться:

– Определенной стабильности можно достичь лишь тогда, когда торгуешь собственной продукцией. И любое производство, тем более сельскохозяйственное, важно в любую эру. Не знаю, будут там нужны танки или водка, а вот мясо, молоко, колбаска и хлеб необходимы любому правителю, при любой власти и во все времена года. Я вечный сельхозник, работал и шофером, и комбайнером, и механиком, и главным инженером, и председателем колхоза имени Черемнова.

– Ты ушел в новое производство, чтобы стать миллиардером, быть очень богатым? Или же припекло? Что, свободы тебе не хватало?

– Командная система – это уговаривалка. А я терпеть не могу уговаривать человека, чтоб зарабатывал он себе деньги. Поезжай-ка, мол, Ваня, на тракторе да сделай то-то и то-то. Уговаривалка – отвратное ярмо той системы, когда мы все были рабы общества. Меня одни строгают,

я – других, и не повернешь никуда, не отвернешь. Погонялой я был, а не руководителем. В «Маяке» я подбираю людей, которые сами работают, погонять их не надо. Главное в моей системе – рубль. И оцениваю работу я сам. Заработал 500 тысяч – они твои, миллион – получай, хоть дворник ты, хоть инженер. И ни перед кем не надо отчитываться. Полная свобода в экономическом и производственном плане. Как скажу, так и будет. Я хозяин, за все и за всех отвечаю.

– Владимир Леонидыч, а как совмещается зарплата твоя и что собственник ты всего «Маяка»?

– Условная она у меня. Я хозяин, хозяйствую, а не деньгую. На деньгах же многие руководители-частники чаще всего и прогорают. То жене золотые серьги подай в уши и в нос, то шубу самую-самую, то такой пундикшмундик, какого нет ни у кого. И уж конечно, как по велению золотой рыбки, – трехэтажный коттедж с балконом, откуда Канары видать.

– И все-таки немного странно мне, что живешь ты в весьма заурядном доме, хоть и просторном.

– Я все свои деньги, мил человек, в производство вогнал. Денег на жизнь хватает: не мот я, и жена не мотовка. Хорошие машины, правда, слабость моя, болезнь! А особняки на фоне развалин – пир во время чумы. Наша задача – помочь деревне, не ослабляя внимания к развитию переработки сельхозпродукции в «Маяке». Покупаем германское оборудование, смонтируем – станем производить цельное молоко в пакетах и сухое, кефир, йогурт в пластиковых стаканах, а также мороженое, сыр, творог, масло, сметану. Цивилизовать я хочу труд тех крестьян, которые впишутся в замкнутый цикл моего производства. Нелегко же ворочать при коровках лопатами и вилами. Нужно внедрять малую механизацию, облегчить крестьянам работу с навозоудалением, заготовкой кормов.

– Родился ты где, Леонидыч?

– В Огнево, напротив собственного нынешнего дома. Вот и больно стало мне, что до нищеты довели людей в нашем колхозишке.

– В Песчаном-то сильно все изменилось?

– Есть люди, у кого руки прямые, а у кого – кривые, кто был работягой – таким и остался. Этим жить лучше стало, почувствовали они, что чего-то стоят, если говорить без обиняков. Они улучшение ощутили. А те, у кого руки кривые, ленивые, находятся в том же положении, как пенсионеры: живут не очень-то, но и помереть им не дадим. Хотят жить хорошо – пусть работают, как все нормальные люди.

Сейчас многое на селе изменилось и меняется в лучшую сторону, как бы то ни было. В тот же вечер, когда гостил я у Ташланова, он заявил, послушав меня:

– Бывает в коня корм, а бывает – не в коня. Ума нет – никакие денежки не помогут. Изворотливо надо хозяйствовать, крутиться по 18 часов в сутки с заботой о себе, о ближних своих, о коллективе. Тогда и без дотаций можно обойтись, хотя с трудом при таком диспаритете цен.

– Ты хитрый. И от дедушки ушел, и от бабушки ушел, как колобок. От дедушки – от системы, в которой чувствовал себя подневольным, от бабушки – от фальшивых друзей. А капиталистом ты себя чувствуешь?

– Я чувствую себя воспитанником той старой советской системы, но жить при ней не хочу. Хочу свободно работать, быть свободным человеком. Обществу пользу хочу приносить, как делаю это сегодня. Я ведь тот же председатель, но вольный...

– Великое дело, Владимир Леонидович, жить и работать «с надеждою быть России полезным», как мог бы выразиться по этому поводу декабрист Иван Пущин.

О многом мы говорили в тот вечер с Ташлановым.

– Люди бают, что вы коровам на ферме ноги моете.

Ташланов расхохотался.

– Да, запланировали мыть копыта. А если без шуток, то любая корова требует ухода. В некоторых же хозяйствах животные утопают в навозе. И что о молоке говорить на навозофермах. Мы нынче даже в штормливое время больше всех молока надоили на фуражную корову. До 15 килограммов в день. У яровчан, к примеру, доят по килограмму на коровенку. Спускались даже до 833 граммов. Это бутылка шампанского. Смешное молоко, ни больше ни меньше. Хорошая коза и то дает по 2,5 литра. А руководители хозяйств митингуют на разных хуралах в районе. Я на их сходки давно не хожу. Вот орет некто: «Я своего красного цвета не меняю». Да ты будь хоть голубой или зеленый, но создавай людям условия для труда, выдавай зарплату. Иждивенческих настроений много. И бюрократов старой закваски хватает. До мозгов окостенели люди.

– В Песчаном теперь недовольных нет у тебя?

– Жизнь без них, как блюдо без соли. Есть такие. При социализме-то некоторым жилось лучше. Гвоздя, как говорится, не вбили сами за всю жизнь, а ели, пили, гуляли и деньги получали. Семерки в табелях всем ставили. А сейчас эти люди у нас работают. Занялись мы рыболовством – рыбачат, вкалывают. Трудное это дело, но зарабатывают люди законные деньги. Мы ж не выгнали никого, а ведь могли отобрать только трудяг качественных. Но это принцип фермерства. Остальные тогда куда? Воровать, убивать, грабить, бомбить? Воспитывать будем, работать заставим. Все должны жить. Но каждый по своему труду.

– Тебе только в делах не утонуть бы. А опасность такая есть, Владимир Леонидович: ты же трудоголик.

Ташланов вздохнул с протягом.

– М-да, два года я у тетки любимой не был, к брату путь позабыл. В дом родной два раза в год заглядываю, когда у мамы с отцом дни рождения. Это разве нормально? На хрен нужна тогда экономика и политика, если забываешь, для чего живешь, кто ты и откуда родом.

– Бросать все надо.

– Как бросишь? – с печалью разулыбался Ташланов. – Заварил кашу – не жалею масла.

– Вечная это проблема – жизнь на разрыв. Крест это, значит, твой, судьба, Владимир Леонидович!

Поговорили мы с Исильбаевым о Ташланове, ясно стало, что Владимир Леонидович для него маяк настоящий, на который и правит ныне путь своей «Росы» хозяйин ее.

Оделись и вновь пошли на базу. Теперь на новую. Подошли к коровам.

– Коровы Нижнетагильской породы. 110 штук. Мощные, как видите, сисястые. Продуктивность одной коровы составила более пяти тысяч килограммов молока. Покупали 30 коров. Развели за три года. Александр Павлович корма делал. Композиции разные придумывал. Тепло в базе, как видите, и светло. И аммиака нет. Денег немало вложили. Кредиты

не брали. Ни одного бюджетного рубля. Хотя только на стройматериалы истратили около двух миллионов. Работу мы не считаем. Дневали и ночевали тут. Это доильный зал. Здесь доярка вдвое больше обслужит коров. Сдаем молоко от этих коров и на эти средства строим. На молочные деньги. Рентабельное производство. Очень дешевые корма. Маслянский маслозавод берет молочко и Ялutorовск, половина идет на сыр. На отделку хорошие деньги вложили. Здесь будет белый кафель.

– Как выживаете?

– Молча, – улыбнулся Исильбаев. – По крайней мере у государства за все эти годы мы ни рубля не взяли. Растем сами из себя.

– Перспективы на взлет имеете, Александр Павлович?

– Сельское хозяйство даже у нас на солонцах может быть рентабельным.

– С таким агрономом тем более, – кивнул Исильбаев в сторону Шилова.

Потом Исильбаев подошел к емкости с кормами, силосом. Взял пучок и стал жевать. Я вытаращился на него и взял себе клочок силоса на понюх. Такой запашистый и ароматный, оказывается. Настоящий коровий деликатес. Жаль пожевать не удалось: с моими зубами теперь только манную кашку есть.

– Секрет у нас один, – стал открываться далее Шилов, – сначала корма, решили с ними, можно и поголовье скота заводить. Чтобы многолетние травы вырастить, требуется 2-3 года. Одна из задач – сделать корма дешевыми, второе – полноценными. 10 лет я уже занимаюсь этим. Корма готовим на самодельном оборудовании. Заводской комплект стоит полтора миллиона, нам он обошелся в 70 тысяч рублей. Братишка Бориса Даулетжан – инженер, он и маракует. Пилораму оборудовал, она – кормилица наша. В нашем хозяйстве работает четыре человека с высшим образованием. С большим опытом люди. Не дилетанты. Без высшего образования производство не поднять на нужный уровень. Дилетанты кроме горя ничего не дадут.

– Не специалист будет только шишки набивать, – дополнил Шилова Исильбаев. – Много подводных камней. Первый камень нестабильность в ценообразовании. С ценами на молоко прыжки большие. Дизельное топливо скачет. Не знаем, как угадать.

Шилов подвел нас к сеялке.

– Это золотинка для меня лично, – с восторгом сказал он. – Наточил слесарь часть шайб, нанизал, сейчас она высевает от полутора до 10 кг сыпучих семян. Тимофеевка, люцерна, мятлик. Для несипучих другая сеялка. Продали мы последнюю кобылу и купили ее. Для высевания костра, овсяницы и других семян. Сделали по-моему. Проблему со злостными сорняками в «Росе» мы сняли.

Шилов повел головой, слушая шум моторов. Это лучшая песня для него.

Слушаю Шилова и верю, конечно, его искренности, в чем не однажды пришлось убедиться. Гармонная душа у Александра Павловича. Гармошке поверяет он свои мысли и чувства, как солдат Иван Бровкин. Помню задушевный вечер дома у Шилова. Застолье с друзьями. Потом Саша по моей просьбе развернул меха старенькой своей гармошки и заиграл с акцентами, я лишь с эмоциями подбодрял его, раскручивай, раскручивай, мол, огонь. И звучала бередящая душу песня про очи жгучие, что скатерть

белая залита вином. Мне лишь оставалось отмечать про себя: хорошо ведь поет Шилов, душевно, с цыганскими всхлипами. Потом был Есенин, «тот вечерний несказанный свет». Выводил далее гармонист наш: «Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом». И были в этот момент у певца глаза цвета свежего ветра, зовущие в какие-то дали. А продолжилось все разговором о жизни. Тревожило Сашу в свое время увлечение дочки Интернетом, другим чем-то поверхностным. «Задумаюсь, – говорил он, – и страшно мне становилось. Отвоевывал дочку у жизни для литературы, умных серьезных книг. Слово печатное – не анекдот протрекать». Слушал я в тот вечер не только Шилова, но и Страхова и философическую душу Васю Степкина. У всех прорывалась явная озабоченность за судьбу молодого поколения. Вася горячо поддержал Шилова насчет литературы:

– Сейчас издаются книжки. Курортный роман. Вагонный роман. Ресторанный роман величиной с Устав КПСС. Они ничему не учат, там описание эротических сцен, до того описали физиологию, что проснись Сеченов и Павлов, они бы свою науку не узнали б и умерли б с горя... Я о внуке Илюше думал. Его отвоевывал дедушка для неба. Купил телескоп, и сколько восторгов вызывали на даче совместные наши наблюдения за луной. Соседи дачные толпились у телескопа. Важно мне было, что осознавал внук: мы живем в доме под звездами...

Шилов тем временем продолжал мысль о молодежи и делах в «Росе»:

– Пьяного на производстве я ни одного не видел. Запах у кого появился – Борис подгоняет машину и отправляет его домой, баиньки, жене в белые ручки или маме, а завтра быть на работе как стеклышко. 100 граммов попало в рот человеку – не работник он. Так, по крайней мере поставлено у Исильбаева. Садят парня на переднее сиденье как министра. К пожилым тот же подход. Руки трясутся – домой. Нельзя, техника баловства не любит. Вот на этом мерседесе с дизельным мотором развозят тех, кто с запахом обнаружился. В Омскую область даже везем. У нас есть кадры оттуда. В деревнях разор. Собак уже там поели. Наш-то приедет домой с денежками, месяц гуляет. Деньги кончились, пишет Исильбаеву, чтобы на работу приняли. Борис не отказывает. Мы человека уважаем. Вот Олег, самый забулдыга у нас, а я приезжаю и бегу к нему. Узнаю, как у него здоровье, как семья, как он себя чувствует. Он – человек! Мы выросли вместе. Господи, главное, чтобы человек был накормлен. Общежитие у нас в «Росе» – тепло там, чай, кормежка. Питание в столовой у нас бесплатное. Свежее мясо всегда. Омские приезжают как в санаторий, отъездают с голодухи. Вахтовым методом, на месяц к нам прибывают, потом домой.

Труд единит нас со всей предметностью мира, эмоциями человека, умом его завязана она в общий смысл, целенаправление действий. Где труд хорошо организован, там люди не стонут. Труд – это святое, та каурка русская, которая вывезет из любых хлябей жизни. Хорошо прочувствовал его в архангельской ссылке, когда крестьянствовал там, Иосиф Бродский и высказал свое отношение к нему чудной этой строкой: «В деревне Бог живет не по углам». В этом я убедился и в Огнево, и в Александровке. Потому что живут и правят там хозяева земли.

ДЕСЯТАЯ МУЗА

Наталья СЕЗЕВА

Юрий Юдин Город детства

«По знакомым местам ходил, где детство прошло. Дома, улочки интересные искал, связанные с детством, ощущения знакомые».

Ю. Юдин

Тема города проходит через все творчество Юрия Юдина. Объяснение такого тематического постоянства кроется прежде всего в своеобразии его поэтической личности. Художник обладает долгой эмоциональной памятью. Его детские годы прошли в одном из старинных живописных уголков Тюмени – у реки на тихих и уютных прибрежных улочках: Пароходской, Пристанской, Причальной, Водников, с их одно- и двухэтажными домами, окруженными густыми купами деревьев. Колорит этого уголка Тюмени с его размеренным ритмом, особыми звуками и запахами навсегда останется в памяти художника, чтобы спустя десятилетия вспыхнуть с новой остротой.

Город детства – такова главная тема ранних живописных работ и серии поздних монотипий Ю. Юдина. Но вначале были годы занятий в Тюменской изостудии у И. Некрасова, учебы в Свердловском художественном училище (1967–1971), а позднее – долгий период самообразования – изучение русского и западноевропейского классического наследия. Французская живопись конца XIX – начала XX века, русские «сезанисты», фантастические пейзажи итальянского художника XVIII века Ф. Гварди, пространственные опыты К. Петрова-Водкина – вот источники, которые не напрямую, а опосредованно читаются в живописных пейзажах художника середины 70-х годов, объединенных им в серию «Старый город». В этот период Тюмень стремительно меняла свое лицо, сносились целые кварталы старого города. Это послужило толчком для того, чтобы оживили детские воспоминания.

«По знакомым местам ходил, где детство прошло. Дома, улочки интересные искал, связанные с детством, ощущения знакомые», – вспоминает художник. Картины Юдина тех лет носят историческо-ландшафтный характер; они «портретны» и узнаваемы. Созданию каждого пейзажа предшествовала работа на природе: тщательно выбирался понравившийся и наиболее характерный мотив, делался подробный рисунок, который уже в мастерской слегка перекомпоновывался, дорабатывался и ложился в основу будущей картины.

Особой поэтичностью и тонкостью письма выделяется пейзаж «Старый город. За рекой» (1978), изображающий заречную часть города с тесно обступившими Вознесенскую церковь XVIII века небольшими деревянными покосившимися прибрежными домиками. Ю. Юдин пишет пейзаж с противоположного берега Туры, с высокой точки, отчего он приобретает панорамный характер.

Внимательно, с любовью художник тонкими лессировочными мазками серебристо-серого цвета передает заброшенные дома, зияющие пустотой окон, живописную фактуру облупившихся стен церкви, деревья и кустарники в осеннем наряде, пасмурное небо в облаках, отражающееся в зеркале воды. Пейзаж исполнен покоя и печали, чарующей гармонии увядания. Все формы предметов словно окутаны дымкой, истаивают и растворяются в пространстве картины. Этому впечатлению способствует единая тональная цветовая гамма, построенная на сочетании серебристо-серого, охристо-розового и зеленоватого тонов.

С начала 80-х годов Ю. Юдин начинает работать над графической серией «Старая Тюмень». Город детства оживает в его монотипиях «Мальчик и змей» и «Август. Старый город» (обе – 1982). Вибрация и некоторая шероховатость красочной поверхности листа бумаги, размытость контуров рождает ощущение зыбкости, изменчивости изображенного. Тюмень увидена как бы сквозь призму времени, глазами подростка. Эти листы буквально пронизаны чувством исповедальности, они во многом биографичны.

В поздних монотипиях Ю. Юдина Тюмень предстает в разных ликах – город как воспоминание, мечта, сон, сказка... Она как бы дает художнику повод для размышлений на сложные философские темы человеческого бытия: добра и зла, жизни и смерти, молодости и старости...

Ассоциативность, метафоричность отличают работы 80–90-х годов. Цвет, линия, пятно, силуэт, фактура – весь спектр изобразительных средств Юдин использует, чтобы заполнить условное пространство листа. Небо и земля, божественное и земное не разделены, и то и другое переведено в общий, несколько сказочный, фантазийный план. Художник стремится изобразить пространственно единую и единую временную среду. Ангелы-хранители, горящие и несгорающие деревья, летающие дома, светящиеся лики старцев, детское лицо... – эти знаки как навязчивые видения, грезы наяву присутствуют во многих его графических листах. Нужно заметить также, что у художника сложился определенный тип композиции с изображением в нижней центральной части листа лица подростка, как бы увенчанного домом, каких много еще можно увидеть в старом районе Тюмени.

Спустя годы Ю. Юдин вновь вернулся к живописи. С начала 2000-х из года в год он с неизменным постоянством пишет город. Пишет то, что хорошо знает и любит. Вдохновение художник находит в старых заповедных районах города. В любое время года его можно встретить на тихих живописных улочках зареченской слободы или городищенского лога: Заозерной, Береговой, Большой Зареченской, Щербакова, Орловской, Герцена, Тургенева, Семакова... Бережно и с любовью художник пишет деревянные домики, выступающие на улицу из-за дощатых, посеребренных временем заборов и палисадников. Художник изображает их то утопающими в пене цветущих яблонь, черемухи и сирени; то освещенных солнцем, среди буйных зарослей трав и зеленой листвы вековых деревьев; то в пасмурный ветреный день на фоне серебристо-серых грозных облаков... Тонкое тщательное письмо, сотканное из нежных валеров, лессировок, определяет живописные особенности этих пейзажей.

Любопытно отметить, что в небольших по размеру рисунках из «Дорожного альбома» художника, которые, как правило, предшествуют

написанию этюда, часто можно увидеть изображение городских улочек, которые в своей перспективе замыкаются башнями, куполами, колокольней Вознесенско-Георгиевской, Михаило-Архангельской или Спасской церквей. Изменился и сам творческий метод работы художника над «пейзажными этюдами», которые он теперь пишет от начала до конца на пленэре.

«Этюд пишу быстро, с большим напряжением и максимальным вниманием – от получаса до двух часов. Сама природа подгоняет, ведь все меняется, глядишь – а через час и небо иного цвета стало, и тени перебежали на другое место». В мастерской художник, как правило, лишь слегка их дорабатывает. По форме и духу они напоминают лирический дневник, в котором можно найти свидетельства того, что он любит, что заставило его взяться за кисть.

По работам Ю. Юдина можно долго зрительно «путешествовать», не уставая, открывая все новые подробности.



Церковь Петра и Павла. 1979



Апрель. 2007



Золотой вечер. 2009



Городской вечер. 2009



Дом на Береговой. 2009



Старый город. Дворик. 1979



Август. Старый город. Из детства. 1982

НАШИ ГОСТИ (ЖУРНАЛ «ТОБОЛ»)



Дорогие тюменские читатели!

История создания и появления на свет литературно-публицистического альманаха «Тобол» Курганской области начинается в далеком 1993 году. Станные, непонятные и неудобоваримые то были времена... Распад Советского Союза породил хаос в литературе и, прежде всего, в издательской деятельности. «Толстые» журналы, существующие практически во всех областях, краях и даже городах стали закрываться один за другим без государственной финансовой поддержки.

В те суровые для писателей годы в Курганской областной писательской организации появилась мысль: на фоне общей сумятицы и неразберихи создать собственный литературный журнал. И вот, летом 1993 года, за счет средств администрации области выходит первый номер. И все... Денег на дальнейшую публикацию самых свежих произведений зауральских авторов более не нашлось.

Тогдашний руководитель писательской организации Иван Павлович Яган обращается за поддержкой к своему другу и наставнику Виктору Петровичу Астафьеву, участнику Великой Отечественной войны, русскому писателю и Герою Социалистического Труда. И известный всей стране писатель не отказывает. Он обращается к руководству Курганской области. Вот слова из его обращения: «Накормить народ важно, но важно напитать его и духовной пищей...»

К чести руководства области, с 1995 года альманах выходит более-менее регулярно. Всякое бывало... Последовательно главными его редакторами были Александр Букреев, Геннадий Устюжанин, Валерий Портнягин. С 1 января 2015 года довелось и мне поучаствовать в этом благородном деле.

Представляю на ваш литературный суд произведения зауральских авторов. Не судите строго. Ведь мы такие же как вы: любим Родину, пишем от души, а темы наших произведений совпадают с вашими - любовь, природа, человеческие взаимоотношения. И нежность ко всему, что представляет собой этот мир, такой хрупкий и ранимый.

*Владимир Филимонов,
редактор литературно-публицистического
альманаха «Тобол» Курганской области*

Александр ВИНОГРАДОВ

В День Победы

Как будто от черемухи
Опять светлеет ночь.
Грозы далекой отзвуки
Как в первый раз, точь-в-точь.

В знак скорбной вечной памяти
Ночь явно холодней.
Вы все переупрямите –
Полки военных дней.

Над бедами безбрежными –
Святой Победы День.
Цветами белоснежными
Салют, Земля, воздень!

Во спасение

Выжигали
горючие слезы глаза,
Голод, горе давили,
как тяжкие камни.
Жить, казалось, нельзя!
Как последнее ЗА –
Мамы, сестры сажали
картошку – глазками...

Во спасение вырос
такой урожай,
Что его через силу
пришлось собирать им.
Все для фронта!
Врага побеждай, сокрушай!
Выжил тыл!
И полегче
Отцам, старшим братьям.

Вроде ранние годы
забыть мы должны,
Детских лет
не тускнеют, однако, детали:
Ждали как
Треугольники писем с войны,
Как на тощих коровах
земельку пахали...

Как тревожно всю ночь
грохотала гроза,
Как с утра ослепило
победное солнце,
Как сияли в слезах,
как смеялись глаза...
Этой памятью живы –
и этим спасемся!

Память сердца

Не срубило дней зубило
И неровной жизни швы,
Живо все, что в детстве было.
Сердце сберегло, увы!

Чем и кем душа ведома
Ни была б в потоке дней,
Отчего родного дома
Отчего-то нет родней.

Золото державы

Светлой памяти тысячника
Ф.П. Попова
и тысяч труженников –
детей войны*

Вы на золотом
на крыльце не сидели.
В годы военные
счет не таков.
Вы непременно
были при деле,
Прямо из детства
встав у станков.

И повсеместно,
и в Златоусте,
Было, конечно, не до игры.
В детство уже
никогда не отпустит
Хватка стальная
грозной поры.

Необходимы
фронту снаряды,
Каждая пуля
там дорога.

Что фронту надо,
выполнить рады,
Лишь бы громили
наши врага.

Сметкой, смекалкой,
ловкой сноровкой
Норму превысили
аж в десять раз.
Стала работа
вашей винтовкой,
«Все для Победы!» –
Сердцу приказ.

Так впереди –
всю войну до конца вы.
И по-другому вы не могли.
Вот оно – золото,
гордость державы,
Вечная память
Русской земли!

* Так называли передовиков, выполнявших план на 1000%

Победы праведное да!

Блокада – блок ада.
Беда навсегда.
Тогда, как награда,
Лишь снилась еда.
Пожарища складов –
Взамен холода,
Дровишки – из сада,
Вода – изо льда.
Да жизни Дорога –
Над бездною путь,
Во многом подмога –
Надежду вернуть.

Что в пищу б годилось –
Не видно следа...
Но разве не милость
Весной лебеда!
А всходы по грядкам
Не вещей ли знак?
Спасение рядом
Растет как-никак.
От смерти ограда –
Отрада труда.
Да Вера! Да Правда!
Да высшее ДА!

Вкус беды

Голодный день
казался длинным,
Мы узнавали
вкус беды:
Чуть сладковатый –
белой глины,
Из трав –
паслена, лебеды.

От МТС*
был лес далеко,
А под рукой –
одна трава.
Воистину:
хоть близок локоть,
А вот куснешь
едва-едва.

* Машинно-тракторная станция

Встречая новый 1945-й

Мифы бывают
крутого замеса.
Торт, например,
из военных времен –
«Степка-растрепка»,
Но из ГЕРКУЛЕСА,
А именуемый
«НАПОЛЕОН»!

Словно Победу
предвидела мама,
Чтобы подобное
изобрести,
И в Новый год,
Фантастически прямо,
Преподнести
это чудо почти.

Коньки-снегурки

Старались время торопить,
Чтоб позабыть про холод, голод,
А чтоб силенки укрепить,
Звал на коньки зимою город.

У огольцов был свой закон:
Коньки-снегурки, точно птицы,
К машине прицепись крючком,
Чтоб поскорее прокатиться.
Чтоб не казались дни длинны
Среди пустынных скучных улиц,
Чтоб наконец отцы с войны
И братья старшие вернулись...

Но на Земле и тут, и там
Не перечеть отцов polegших.
И вдовам их, и сиротам
Уж никогда не станет легче.

Виктор ПОТАНИН

Мои пророки

*Из дневника писателя
(Публикуется с сокращениями)*

– Почему я жива до сих пор? Почему Бог не прибрал? И зачем я живу так долго, зачем? Как бы хорошо закрыть глаза навсегда, чтобы не видеть этих бесконечных унижений, чтобы не слышать этого слова «совок», чтоб... Но не продолжаю – иначе остановится сердце. Ведь все эти плевки прямо в наше поколение, прямо в меня...

(Из давнего разговора с матерью)

Дорогой читатель! Позволь так обратиться к тебе, мой незнакомый друг. И не сердись, прошу, на мое старомодное, провинциальное обращение. Я и сам чувствую, что от него несет нафталином, но как выразиться иначе – не знаю и не приучен. Ведь мне уже перевалило за семьдесят – и этим все сказано. Я, как и многие из вас, дитя своего времени, к тому же еще дитя сельских учителей. С таким прошлым я и пришел в литературу. И потому многие мои повести и рассказы посвящены этим людям – моим любимым учителям, моим наставникам и пророкам. В каждой книге моей, на каждой странице – этот учительский смысл... Впрочем, не буду об этом. Зачем везде и всюду искать какие-то подтексты и смыслы. Ведь лучшие наши минуты все-таки те, когда в душе – полное бездумье и тишина.

И потому вспомни сейчас, как ты возвращался однажды домой тихими осенними полями, как шел тогда и ни о чем не думал, наслаждаясь полным покоем и тишиной. А потом стало темнеть прямо у тебя на глазах. Осенью быстро темнеет. И вот уже почти не видно дороги, и сразу же сжались нервы, пришло беспокойство. Но вдруг впереди, за березовым колочком, мелькнул костерок. Маленький костерок, чуть заметный. И беспокойства как не бывало. И вот ты уже вглядываешься без усталости, оторваться не можешь от этого огонька. А в груди поднимается уже что-то бесконечно родное, щемящее, – и ты чуть не плачешь и почти уже счастлив, но отчего? И какой тут смысл?

А то вспомни, как тихо, таинственно горит свеча на иконостасе, зажженная твоей рукой в память о всех погибших, умерших и убиенных, а за церковным окошком метет метель над родным селом, и снег летит ослепительно белый, дрожащий, как будто во сне. Но нет, нет, это не во сне, это в жизни, – и так же дрожит, колеблется от дыхания твоя свеча. И в этом дрожании, в этом таинственном и непрочном – наверное, тоже какой-то смысл? Но какой?

О Господи, как порой хочется ответить на эти вопросы.

Чтобы сосредоточиться, я закрываю глаза. И сразу же слышу ее голос, до боли знакомый, родной голосок. Вы уже догадались, вы поняли? Да, это мама. И я продолжаю с ней очень важный для себя разговор. Точнее, говорит она, а я только перебиваю вопросами, а потом снова она:

– Ну зачем я живу так долго, зачем?

– Но почему ты терзаешься?

– Я не терзаюсь, я просто чувствую, вижу, что мы, старичье, кому-то надоели, мешаем. И потому нам говорят, что мы старые козлы, моралисты, и всем нам место на свалке. Да, да, это правда. Ведь все эти господа либералы давно заменили душу на рынок.

– Зачем ты так жестоко о них? Я же с тобой серьезно.

– А если серьезно, сын, то все уже было. Я отлично помню, как начинался НЭП... Помню, и как его схоронили. Как потом начались аресты. А потом мы совсем забыли про совесть – и грянула катастрофа.

– Что ты имеешь в виду?

– Тридцать седьмой год. И виноват, я думаю, не только Сталин. Ведь каков народ – таковы и пророки...

– Но народ надо воспитывать.

– Конечно, сын, надо! И мы, учителя, это делали. И в войну сорок первого года и после... Писатель Василь Быков сказал как-то, что войну выиграли не солдаты и полководцы, а сельские учителя. А сейчас в России снова тревожно. И помочь могли бы учителя, но их не туда толкают наши доморощенные либералы. Я их давно зову – гайдаристы...

– Куда же они толкают?

– Это грустная история, сын. Ты же сам видишь и слышишь, как самые большие чиновники почти хором вещают, что современный учитель обязан научить любить деньги, акции, бизнес. Ведь об этом почти все фильмы и книги. А слово «доллар» какое-то священное слово...

– Но это же крайности, разве не так?

– А на крайности и равняется середина. Так и рождается захудаленькая философия, где на одном полюсе – господин, а на другом полюсе – нищий. Все это пахнет обыкновенной колонией, такого еще не бывало в России...

– Что же делать?

– Нужна мораль, нужно сильное государство. А можно переставить местами – вначале – сильное государство. Людское согласие в таком случае возникает как бы само собой, стихийно, как из волн древнегреческая богиня... Но чтобы это случилось, нужны учителя и наставники. Очень умные, честные, бескорыстные.

Она замолкает и грустно покачивает головой.

Помолчим и мы с тобой, дорогой читатель. Ведь поколение, к которому принадлежит моя мать, предано нынче повальному осуждению. В каких только грехах его не обвиняют: и не за те идеалы боролись, не в той партии состояли, не в тех университетах учились. Но давайте скажем честно, признаемся, что в этих обвинениях проглядывает или чистая демагогия, или самое откровенное желание бросить тень сразу на несколько поколений людей, выросших при советской власти. Хотя и не во власти здесь дело. В конце концов, после октябрьских дней семнадцатого года прошло уже сто с лишним лет. Разве отвечают дети за отцов, а внуки за дедов?

А теперь вспомним о главном: сила нашего народа всегда была в том, что он ставил перед собой великие духовные цели. И добивался их, хотя и большой ценой. Но эту цену ведь платил не кто-то со стороны – какой-нибудь щедрый дядюшка из Техаса. Нет! Эту цену платили снова наши отцы и деды – наше старшее поколение. Да, цена была велика, было

велико напряжение. А сейчас мы упрекаем этих людей за то, что они не думали о таких понятиях, как комфорт, достаток, деньги, богатство. Эти слова в их душе начисто вытесняли другие – любовь к ближнему и самопожертвование, великая стойкость характера и терпение. В России были закрыты храмы, но народ все равно жил по-христиански, достойно. Эти честь и достоинство и были тем объединяющим стержнем, который нынче опять в дефиците.

Еще недавно, в молодости, мне казалось, что в обществе все движется по какому-то кругу, то есть, ничего до конца не исчезает и не теряется. А если сказать совсем просто, то наступает какой-то новый момент, все вновь повторяется, только в новых условиях... Повторяются люди, события и даже целые поколения...

Так я думал когда-то, но сейчас в это не верю. Наверное, виновата моя рано поседевшая голова, мои внутренние мучения. И потому все прежде розовое и голубое превратилось в другие краски... А может быть, в этом виновато и знание, что никогда-никогда в наших земных катаклизмах уже не появится вновь ни древняя Эллада, ни Спарта... Не повторится и то поколение, к которому принадлежат мои мать и отец – рядовые сельские учителя, и десятки, тысячи на них похожих. И потому мне сегодня так горько, что от таких людей часто мы отворачиваемся, обвиняя их во всех смертных грехах и в несуществующих преступлениях.

Но только ли государство здесь виновато? Но тогда кто же?

Чтобы разобраться во всех этих вопросах, я поворачиваю сейчас свою лодку как бы против течения. Я хочу поклониться в пояс этим людям и сказать, что без них Россия наша будет неполной, без них невозможно понять наш сегодняшний день и день будущий. А если сказать совсем точно, то люди эти – наш золотой запас, от которого мы почему-то пытаемся отказаться, побыстрее избавиться. Или смешнее того, что хотим их запрятать подальше или обозвать как-нибудь посмешней, пообидней. Вот так, например, – это, мол, отпетые консерваторы, это династия шариковых... Как после этих слов иметь дело с такими – еще, мол, запачкаешься, а то и снизишь свой рейтинг.

Иногда мне в голову заходит одна странная мысль: а возможно ли было такое, к примеру, в Америке или в благословенной Европе, чтобы десятки миллионов людей, к тому же самых старых по возрасту, были бы запечатаны в некую духовную резервацию? Кому была бы польза от этого, какой смысл подобных ограничений? А самое главное – как назвать такое общество, которое для родителей своих придумывает разного рода непотребные прозвища, отрекаясь тем самым от них или почти отрекаясь. Конечно, странно это, необъяснимо. И нет в этом ни логики, ни морали. Ведь любому студенту ясно, что общество – это же единый живой организм с разветвленной кровеносной системой. А мы, люди, всего лишь нервные клетки. Оттого и непосвященным трудно сказать, где в этом организме главная клеточка, а где – второстепенная. Наверное, никто с этим не будет спорить. А потому я не завидую тем людям, которые берут на себя роль счетчика Гейгера, и этот счетчик должен уловить, в каком человеке бьется демократическая жилка, в каком, наоборот, присутствует социалистическое начало.

И все же подобное разделение у нас существует. А раз оно началось, то одних надо поддерживать и возвеличивать, а других же – унижать.

Горько, конечно, что среди последних оказались многие из моей дальней и ближней родни, и потому я имею, наверное, право на свое мнение.

Впрочем, я не философ и не прорицатель, мое оружие – слово, литературное слово. Настоящая литература всегда начиналась с любви к человеку, с доверия. Потому в моем монологе много будет объяснений в любви и прямых признаний.

Мое первое признание в том, что «отпетые консерваторы» – самые лучшие из нас. Потому что они – ветераны. Но с чем их сравнить, с кем рядом поставить? Поэт бы сказал, что такие люди – как родниковый колодец. Чем больше черпаешь из него, тем глубже он, тем больше у него силы. А может, он сравнил бы их с древним могучим дубом. Все прошло над ним: и бури, и грозы, а он стоит и стоит себе, как символ вечной жизни, вечной весны. Помните: точно перед таким дубом замер однажды Андрей Болконский. Он вглядывался в его могучую крону и мечтал, и надеялся...

Впрочем, хватит глаголов. И вообще мне кажется, что такие люди даже выше всяких сравнений. Ну, на кого, к примеру, походила моя мать Потанина Анна Тимофеевна – сельская учительница из моего родного села Утятского? Она проработала в одной школе свыше сорока лет. Все эти годы от нее шел неугасимый свет жизни, и свет этот разливал вокруг чистоту и благородство. Но тогда как объяснить мне ее слова, то ее состояние:

– Почему я не умерла раньше? Почему Бог не прибрал? Как хорошо было бы умереть, чтоб не видеть этих постоянных унижений...

Вы слышите, – унижений?! И я согласен с ней. Я ее понимал. Ведь сельский учитель и поныне как бы существо третьего сорта. Факты? Их море. Представьте, к примеру, приемную главы любой районной администрации. Там всегда много людей. И вот сидят рядом на стульях предприниматель, фермер, врач местной больницы и учитель из какой-нибудь отдаленной деревни. Кто первым войдет в «высокую» дверь? Конечно, предприниматель, а за ним – фермер, а потом, может быть, врач. А учитель? На него, как правило, времени у начальства не будет. Хорошо, если еще глава района обладает общей культурой. Тогда он соизволит извиниться перед учителем. Но такое – редкость. Чаще же и руки не подаст...

А вспомните, как к учителю относились в прошлом веке. Каким быть учителю в деревне – думал весь сход. На хорошего учителя все село собирало деньги. Больше того, сход доплачивал ему. Ну а теперь? Давайте вспомним нищенские учительские зарплаты. Потому в голове у меня опять мамин голос:

– Почему я не умерла раньше? И не защищай, сын, этих гайдаристов. Они без сердца...

Какие горькие слова. И такие же глаза – уставшие и потухшие, без желаний. А ведь я знал ее другой. Энергичной и веселой, нужной каждому человеку из нашей деревни. Но особенно нам, ее ученикам... Вот сейчас вижу ее руки. Она пишет на доске мелом: «Родина-Мать всегда с нами», «Жизнь – книга с чистыми листами», «Моя учительница как мама», «Хлеб – это звучит гордо», «Самый дорогой человек на селе»... Это – темы творческих сочинений. Наша учительница обращалась прямо к детскому сердцу. Чуть ли не на каждой неделе мы писали на уроках сочинения – короткие исповеди, мальчишечьи клятвы. Мать учила нас по своей особой системе – она никогда не давала заданий на дом, а все, буквально все успевала закрепить на уроке. Она хотела сохранить наше детство, что-

бы мы больше бывали в лесу, на природе, больше читали книг и больше размышляли. Говорят, что так или почти так работал великий Константин Дмитриевич Ушинский. Но мы об этом не знали. Зато мы знали другое: нашу учительницу часто ругали строгие люди из районного отдела образования, даже пытались отстранить от занятий. Я их сильно не осуждаю. Ведь педагогика – наука давняя, строгая, она любит точность. Так думают многие, но все же не все. И среди последних была моя мать. И потому в душе моей гордость...

Теперь я хочу отвлечься. Хочу сделать еще одно признание, потому опять волнуюсь. Хочу признаться в том, что лучше педагога, чем моя мать, я так пока и не встретил. А ведь я учился в трех школах и двух институтах. Один из них – педагогический, где преподают всегда самые опытные, корифеи... И я знаю, почему так случилось. Даже самые хорошие мастера работают всегда спокойно, логично, сказать точнее, – ритмично. Пришел к девяти утра, а ушел в шесть – и так ежедневно. А сейчас еще примешиваются вопросы: а правильно ли мне заплатили? Может быть, мне из обычной школы перебраться в гимназию, где зарплата чуть-чуть побольше? Если честно, то я за подобное никого не осуждаю. Избави Бог, впадать в какое-то менторство, я не имею на это право. Единственное, что меня беспокоит, а иногда просто удручает, что из денег мы стали делать некий культ, даже религию, и под обаяние этой религии стали попадать даже уважаемые педагоги.

Недавно один опытный педагог с большим стажем признался мне, что он уже второй год не ведет в школе литературный кружок, потому что за это не платят. Перестал он давать и творческие задания на дом, потому что за дополнительную проверку нет доплаты... У меня много и других подобных фактов, но я не продолжаю. Хочу только заметить, что этот процесс разрастается и скоро захлестнет нас, как половодье.

Помните библейское: «И объяли меня воды до души моей...» И если это случится, то наше общество медленно, но верно начнет превращаться в общество мелких торгашей и спекулянтов со своими неповторимыми убеждениями и со своей моралью, в которой не останется места для энтузиазма и самопожертвования, для любви и милосердия. К счастью, не все приветствуют такие взгляды. Для многих людей труд все еще остался вечным праздником, наслаждением. И пусть таким уже часто не двадцать лет и даже не тридцать, а уже шестьдесят и даже побольше...

И вот я снова вижу наш класс, вижу наших мальчишек. Они сидят в лесу, на поляне. Да-да, по весне мы часто занимались в лесу, уроки были среди природы. Но вы чувствуете, я снова немного нервничаю, потому что боюсь, что мне не поверят. А ведь так и было: цвела сосна в канун Троицы, пахло близкими пашнями, а на поляне – наш седьмой класс. И учительница рассказывала нам о Гоголе и Некрасове, читала стихи и отрывки, а потом мы сами читали стихи и фантазировали о деревьях, птицах, об облаках и звездах – и все это было вместе, рядом – и стихи, и солнце, и деревья, и небо, и грачи над соснами. И наше смятенное сердце – рядом с ее большим сердцем. Как же мы любили тогда нашу учительницу! Как же нам хотелось, чтобы эти уроки в лесу никогда не кончались... Никогда, никогда! И она это знала и понимала, потому в следующий теплый весенний день у нас все повторялось – и наши стихи, и беседы... Но педагогично ли это? Опять говорили, что нет, а мама не спала ноча-

ми, все думала, как угодить РОНО и не потерять нашу любовь. Но эти две вещи не совмещались, и мама страдала. Страдала она молча, как все сильные люди...

Но откуда у них силы, откуда? Ведь длинна была жизнь и вся в заботах, в работе. И почему этот путь не согнул таких людей, не отчаял, к тому ж они часто были самые первые, первопроходцы. И в педагогике, и на хлебном поле, и в медицине... Вот и снова эти вопросы не дают мне покоя.

Ну откуда, к примеру, брались силы у моего земляка Терентия Мальцева, которому был девятый десяток лет, а он все еще не мог расстаться с любимым делом. Признаюсь, за свою долгую жизнь мне не раз приходилось слышать его нравственные беседы. Я бывал на его встречах с молодыми хлеборобами, с выпускниками средних школ, со студентами. Он всегда говорил о доброте, о самоуважении, о любви к земле... И никогда не говорил о деньгах, о заработках, о сиюминутной выгоде. И это было совершенно естественным, закономерным для всего облика Терентия Семеновича Мальцева. Как закономерны, к примеру, цвета в рублевской «Троице» – васильки среди спелой ржи. Как закономерны и естественны простор и протяжность в русских народных песнях. Как естественна безлизна у чаек, реющих часами над морскими просторами...

А теперь прервемся, мой дорогой читатель. Надеюсь, я не утомил тебя таким старинным чопорным обращением. А если не утомил, то давай снова вернемся на ту поляну в лесу, где собрался наш седьмой класс... Давай зададимся вопросом: а зачем это нужно было учительнице? Может быть, ей за это больше платили? Может, пообещали какую-нибудь медаль или орден, а может быть, посулили что-то ее семье? Нет, конечно, ничего не пообещали и не наградили. Даже наоборот – жестоко приструнили эту учительницу строгие люди из РОНО. Приструнили и сказали, что так работать непедагогично, что нужно вести уроки по правилам. И вообще, мол, педагогика – наука древняя, точная, со своими канонами. Но моя мать им возражала: «Нет, дорогие инспекторы, вы абсолютно не правы! У педагогического дела – тысячи вариантов, тысячи бликов и озарений. Да, тысячи! А может и больше. Их, наверное, столько же, сколько вокруг человеческих судеб, характеров...» И мать отстояла свое мнение и доказала. Она тогда не сломилась, а выстояла и победила. Даже получила звание – «Заслуженный учитель Российской Федерации». Жаль одного, что признание пришло на закате дня. Но нет, нет, я снова неточен. Для таких людей нет заката и нет угасания. Для них солнце никогда не заходит, для них жизнь всегда утро, всегда начало их бесконечных дел и надежд. А раз утро, то забудем глаголы прошедшего времени. Давайте вернем себя в настоящее. Давайте даже заглянем вперед...

А я вспомню сейчас, что среди учеников моей матери есть и городские люди – инженеры, врачи, строители. Когда мать приезжала в Курган и направлялась по центральной улице, ее все время останавливали прохожие. Она вглядывалась в их лица и вдруг узнавала: «Так это же наши, утятские!» И говорили они с ней вначале об одном – о работе. Говорили с радостью и часто преувеличивали свои успехи, достоинства. Что это – поза, рисовка? А может, мальчишество? Нет! Это гордость трудового человека перед своей любимой учительницей, один вид которой сразу воскресил и детство, и родную сельскую улицу, и весеннее половодье, и клин диких гусей над озером, и ту поляну в лесу, где проходили наши

уроки. Но в этой гордости было и другое: «Смотрите, я вырос! Смотрите, теперь меня уважают!»

Человек вырос, получил уважение... А началось все с той далекой полянки, где этот человек записал в тетрадку сочинение о родной улице, о родном отце фронтовике, о чудесной сельской природе. Да, он вырос и получил уважение, но истоки этого уважения все-таки там, в нашей деревенской, простенькой с виду школе, там, где звучало слово любимой учительницы. И это слово никогда не старело. Никогда!..

Но почему все-таки так изменилась мать? Почему в глазах у нее постоянная боль и недоумение, – что же вы, мол, с нами сделали, с ветеранами? Почему постоянно высмеиваете, издеваетесь? Неужели только потому, что мы работали в те годы, когда командовал обществом «Моральный кодекс строителя коммунизма»? Или потому, что наша юность совпала с эпохой Сталина, а наше детство – с трагическим тридцать седьмым годом?

Да, много вопросов в этих глазах, а еще больше печали и боли. Но, говорят, что время отвечает на любые вопросы и лечит любую боль. Все это правда, но все равно такая правда не утешает, потому что эти люди – наши ветераны – подошли сегодня к своей последней возрастной черте. Они напоминают, наверное, тот весенний лед, который мгновенно тает, исчезает прямо у нас на глазах. И мы оглянуться не успеем, как он совсем исчезнет. Вот тогда, видимо, мы и вспомним про них добрым словом, а заодно и покаемся в своем тяжком грехе – мало, мол, ценили их и мало уважали. В конце концов, это родители наши...

Да, родители наши! Вот на этом слове я остановлюсь, успокою дыхание. А заодно и спрошу себя: а может, и сам я впадаю в грех – я их защищаю, а они меня не просили. К тому же защищаю их неуклюже, потому что не могу сдержать нервов. Ох, эти нервы, нервы! Но ведь эмоции нынче не в моде. Мы же с вами решили, что входим в рынок и туда же тянем за собой культуру и народное образование... И тянем так сильно, что уже изнурили себя, а заодно и душу свою. К тому же, согласитесь, это занятие не из легких. Конечно же, не из легких, если нравственность нынче пытаются разменять на коммерцию. Хорошо еще, что у нашей нравственности крепкие корни и такая же крепкая память. А память всегда толкает нас к прошлому, заставляя оглянуться на пережитое...

Да, оглянуться, задуматься. Сознаюсь, такое часто происходит со мной в последнее время. И помогает в этом бессонница. Лежишь с открытыми глазами и перебираешь, как четки, прожитые годы. И поднимается в памяти далекое, сокровенное. Недавно вспомнился и первый юбилей моей учительницы истории Ивановой Варвары Степановны. В тот день ей исполнилось пятьдесят. В ее доме собралось много народа. Приехал и я из Кургана, студент-первокурсник пединститута. Помню, разговор за столом начался о возрасте. Кто-то стал утешать хозяйку бойким, уверенным голоском:

– Пятьдесят лет – это ерунда. Только-только все начинается...

– Ну почему же? – возразила хозяйка и сразу же заговорила о другом – о самом заветном и наболевшем. – Вот прожил человек долгую жизнь и оставил после себя добро: и детей воспитал, и сад посадил, и дорожки провел, и сыновьям построил по дому... А ведь был в деревне только плотником, только одно умел – хорошо топориком тюкать... Но вот подросли его дети и по другой ударились линии – стали механизаторами

и агрономами, попали на стройку. А у этих детей – снова дети. Вот теперь примечайте: этим внукам-то уже труднее будет представить работу деда. Как он топориком своим тюкал...

– Что же делать?

– Вот угадай-ка, студент! – Она смотрит на меня хитровато, глаза улыбаются. И я тоже улыбаюсь, потому что знаю отгадку...

Задумала моя учительница Варвара Степановна создать сельский музей. На одном из собраний так и заявила народу: музей, мол, не роскошь, а большая необходимость. Нужно, чтобы внуки наши знали, как мы жили, боролись, как воевали, какие песни пели, как выращивали хлеб, как воспитывали детей. И как в войну победили, как одолели разруху...

И взялась за работу. В сельских домах нашлись и старинные книги, и разная утварь. Разыскали даже героев Порт-Артура и портреты первых земских учителей. С особой любовью оформили стенд ветеранов Великой Отечественной, отразили и современный день. Нашлись и добрые помощники: кто-то принес выдавшую виды солдатскую фляжку, другой разыскал пробитую пулями гимнастерку, а давний мой друг Илья Лукич Галактионов принес в музей даже свой дневник жизни, озаглавленный «Моя жизнь с рождения и по сие время». Вот однажды мне пришлось дописывать этот дневник вместе с Ильей...

Однажды... Какое это легкое и мимолетное слово, точно пух с тополей, точно крылья весенней птицы. Только тень по небу – и вот уже нет ничего. Так и время летит – всего лишь вдох-выдох, всего лишь... И вот уже уехала от нас Варвара Степановна Иванова. Она еще успела увидеть, как музей перевели в новое светлое помещение – теперь бы развернуть новые стенды, увеличить экскурсии, но за это отвечали уже новые люди, другие хозяева. А старой хозяйке музея по семейным причинам пришлось переехать в Курган.

Этот переезд и стал роковым для музея. Варвара Степановна оказалась неповторимой. Из музея ушла душа, остановилось дыхание. Вот уже метнулись письма во все концы с просьбой о помощи. Пришлось и автору этих строк участвовать в спасении музея. Помню, как обращались мы во многие районные, областные инстанции. Просили мы и молодых учителей возглавить совет музея, обновить его экспонаты, возобновить экскурсии. Но они отклонили эту просьбу. Отклонили по той причине, что очень заняты в школе и во внеклассной работе, да и домашнее хозяйство, мол, разве забросишь? И при этом смотрели на меня с каким-то непонятым упреком и говорили: хорошо было вашей матери с Варварой Степановной «пахать» с утра и до вечера. Ведь их ничего не отвлекало. Они же не знали другого, кроме своих учительских обязанностей. У них и коровы-то даже не было, и ни гусенка, ни поросенка... Фанатики они были, ну, если хотите, герои. Последнее слово произносилось с каким-то особенным придыханием, за которым было нетрудно услышать иронию, осуждение...

А ведь они и на самом деле – герои. Но если бы я назвал их так публично, то они бы жестоко обиделись, потому что ни о каком героизме никогда не думали. Да что тут! Просто эти люди не могли жить иначе. Такая жизнь для них была как бы запрограммирована с рождения. Так же, как течение у рек, синева у неба, зеленый цвет у растений... Да и разве замечает человек, как он дышит. Разве понимает птица, какая сила поднимает ее на крыльях.

И все-таки у тех героев, о которых я говорю, были свои предшественники, свои истоки. Среди них – знаменитые люди России: земские врачи, учителя, народники. Но если уже быть совсем точным, то я убежден – их корни запрятаны еще дальше, поглубже. Помните у Пушкина: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье...» Это о декабристах, но разве только о них? Помните у Чернышевского: «Таких людей мало, но они в ней – теин в чаю, букет в благородном вине: от них ее сила и аромат». Эти слова, конечно же, о Рахметове, но и не только... Эти слова из века минувшего перешагнули в век нынешний. Они стали как бы эталоном, эпиграфом к судьбам большим и значительным. К судьбам трудным и даже трагичным...

Но, может быть, я тоскую об исключительном, идеальном? Но почему же тогда это идеальное мы видели в самые тяжелые военные годы? Было оно и в моем родном Утятском, и в моей родной школе, и в моих школьных тетрадках... Все эти вопросы для очень долгих ответов.

Я же продолжаю о музее. Мы остановились на том, что этот культурный очаг остался без хозяев, точнее – без хозяйки. И музей стал погибать. Но он погибал медленно, не торопясь, и напоминал крепкого, сильного человека, которого подтачивает болезнь. У этой болезни был и диагноз – равнодушие и коммерциализация культуры. Но равнодушие – это понятно даже ребенку, а вот второе – понятие из новых. Оно заключается в том, что музею, чтобы жить, развиваться, нужно было самому зарабатывать деньги. Это означало вести коммерческую деятельность, развешивать какую-то куплю-продажу. Но это смешно и нелепо, ведь речь идет о сельском народном музее. Конечно, все это смешно и непродуктивно, но если больного не лечат, то он умирает. Так и случилось – наш музей вскоре умер, а его экспонаты стали разбирать по домам. Я тоже взял школьные тетрадки и записи. Помните, мы писали творческие сочинения о любви к Родине, патриотизме, о лучших людях села. Эти тетрадки тоже в свое время угодили в музей. А еще я взял на память дневник жизни Ильи Лукича Галактионова «Моя жизнь с рождения и по сие время». Автора этого сборника уже нет на свете, но я в это не верю, потому что сильные, одаренные люди никогда не умирают. Они навсегда в нашей памяти, потому что они наши учителя и наставники, наши пророки...

Но я прерываюсь и снова обращаюсь к тебе, мой дорогой читатель! А пока, на всякий случай, даю совет – не ищи в моих словах каких-нибудь наставлений, морали. Я и сам не люблю этих задумчивых и умненьких моралистов. Жизнь всегда сама подскажет, все расставит по полочкам, только не торопи время. Наоборот, почаще закрывай глаза и уходи в свое прошлое, постарайся понять его, не судить. Пусть в твоём понимании будет больше правды, больше жизни и света... Вот такого же, как сейчас за окном...

Да, есть такие дни, такие минуты – сразу после теплой снежной метели – когда природа точно сияет. Еще вчера кружил мокрый снег, хмурилось небо, и птицы печально кричали, а сегодня – настоящий праздник и на земле, и на небе. Даже бор наш утятский стоит, точно умытый: каждая сосенка плывет перед глазами отдельно. И крыши домов тоже выглядят по-молодому, точно протерты тряпкой. И дорога тоже блестит и сияет от наледи. А солнце, какое солнце! Разве его выразишь, разве опишешь!

И все вокруг радуется, приветствует солнце, этот синий небесный свет – эту надежду. Потому и громко гогочут гуси, мычат телята. И на нас, грешных, в такие минуты тоже находит какое-то оцепенение, задумчивость, а часто и беспричинная радость. Да, да, радость, волнение, нам уже начинает казаться, что мы в мире не одиноки, что есть, есть еще где-то под небом такая же жизнь, такие же люди. И что в самом нашем рождении есть еще другой, непостижимый, тайный смысл, и этот смысл никому неподвластен. Но все равно от этого – успокоение и надежда на новые дни...

Вот на этих добрых словах мне бы и закончить свое послание к тебе, дорогой читатель. Но это еще не конец, я всего-навсего пересек экватор. Сейчас душа моя снова и снова зовет назад. И мне ничего с ней не поделать – не приказать, не унять. Видно, моя лестница в будущий день упирается в прошлое. Чтобы угодить себе, я открываю дневник старого Ильи Лукича Галактионова. Я его часто открываю и перечитываю, хочу набраться сил, кислорода на новые трудные дни. А ведь я хорошо помню, как впервые увидел эту заветную тетрадь...

В тот день я отправился к нему пораньше, чтобы подольше посидеть и попить чайку. И меня легко понять, ведь Илья – самый мудрый из наших стариков, самый добрый, сердечный. Домик его стоял в конце улицы. Я постучался – никто не ответил. Тогда я без приглашения прошел прямо в горницу и сразу же глаза уперлись в большую кровать, а на ней – сам хозяин. Под головой куча подушек. Он с трудом повернулся на мои шаги, лоб сморщился, точно бы вспоминал...

– А-а-а, это ты... Ну, беседуй...

– Заболели, значит, Илья Лукич?

– Хуже, батюшко мой. Вроде бы вовсе кончаюсь. И уже врачи отказались...

– Не может быть!

– Ну как же! Если не лечат...

– А вы были в больнице?

– Зачем, батюшко мой, это мне ни к чему. Я уж пожил свое, покружал, теперь пора на покой. – Он замолчал, потом поднял руку, как бы призывая к вниманию. – Вон на полочке книжка лежит. Достань-ко.

Я подал ему толстую тетрадь, прошитую у закромок суровой ниткой.

– Открывай тетрадь-то.

Я открыл и сразу вздрогнул от удивления. На первом листе стояло: «Моя жизнь с рождения и по сие время». Потом я стал вчитываться в эти пожелтевшие от времени страницы. Автор настойчиво, порой – день за днем, описывал все большие и малые события своей жизни. Из дней слагались месяцы, из месяцев – годы. События перемежались с описаниями друзей и врагов Ильи Лукича. Он делился своими надеждами и даже мечтами...

– Помогите мне, Федорович, видишь – кончаюсь. А тетрадь надо бы дописать. Пустых мест больно много.

– Сейчас что ли записывать?

– Почему? Зайдешь завтра. А сегодня я сильно устал.

Наутро я снова был у него. Он лежал почти неподвижно. Кожа на лице потемнела, точно ее обдало дымом, а из глаз ушел блеск. Я тотчас понял, я догадался – это глаза умирающего. Но, увидев меня, он приподнялся на локтях и немного приободрился:

– Давай начнем сразу... Открой чистый лист и запиши оглавление: «Моя жизнь с 1923 по 1926 год».

Я записал оглавление, и он стал диктовать. Сил у него не хватало: Илья умирал у меня на глазах, и все последние силы вкладывал в слова, которые я заносил в тетрадь...

На другой день я снова пришел к нему. И странное дело: голос его уже звучал громче и уверенней, и чуть стало проясняться лицо. Илья рассказывал мне о своей мужицкой молодости, о любимой жене – первой деревенской красавице, о первом ребенке... Глаза его уже блестели и ожили, но все равно часа через два он устал. И я попрощался...

На третий день я снова был у него. Он рассказывал мне о своем бригадирстве в годы войны. Горькие и тяжелые были годы, я их сам испытал.

– Вот умру, а тетрадь мою школьникам отнеси. Или лучше – учителям. Я ведь тоже когда-то хотел учить ребятишек. Но не хватило моих институтов...

– Вы и так учитель, Илья Лукич. Ваше слово для всех – закон.

– Ну-ну, не перехвали...

Он улыбнулся. Лицо стало доброе, хорошее, и до смерти ему теперь, видно, было уже далеко. Эта тетрадка вернула жизнь.

На четвертый день мы записали, как на нашу утятскую землю пришел День Победы. Илья Лукич уже прохаживался по комнате и пил чай маленькими осторожными глотками. А в нашу тетрадь ложились все новые и новые строки. Он рассказывал мне, как после войны руководил колхозом, как появились первые твердые трудовые, как заново построили ферму, как пришли в деревню новые трактора, как впервые после тяжелой военной годины повеселели мои земляки... Повеселел, окреп духом и сам Илья, а ведь еще несколько дней назад погибал.

Потом прошли еще сутки, и он позвал меня за ограду. Помню, как мы шли по улице, какой теплый и благодатный был день. Илья смотрел на солнце, щурился и без конца повторял: «Жить! Надо жить! Любymi силами, любymi путями, но надо жить!»

А теперь я прервусь, дорогой читатель, и не буду больше приводить цитат из той сокровенной тетради. К тому же самого Ильи Лукича уже нет на свете. Нет в живых и многих моих земляков из славного племени ветеранов, но самое горькое для меня, что нет уже на земле моей мамы – сельской учительницы из села Утятского – Потаниной Анны Тимофеевны.

Вот на этом, видимо, и закончу свой монолог. Впрочем, кому я его адресую, точно не знаю. Как не знаю и того, как вы его оцените, продолжите ли со мной разговор. Но хотя бы в сердце своем, хотя бы в сердце...

И вот сейчас какой-нибудь строгий мой оппонент нахмурит сурово брови и спросит: ну а какой же здесь смысл? Какие выводы вы делаете, товарищ писатель, какие итоги? Ну что на это ответить. Да и надо ли отвечать. Зачем везде и всюду искать какие-то подтексты и смыслы. Я уже говорил об этом вначале, теперь повторяюсь. Просто я хотел этим людям сделать последний поклон, признаться в любви. Только признаться – и все... Но если кто-то из вас решится на то же самое, буду бесконечно взволнован. Я буду даже счастлив, честное слово...

Николай КЛИМКИН

Навстречу шли веселые цыганки,
Цветные юбки, как колокола,
А я гулял по скверу на Таганке,
И вдруг одна мне руку подала.

Она смеялась, что-то говорила
И карты тасовала на ходу,
Она уже моею жизнью жила,
Глаза ее горели, как в бреду:

«Не вешай носа, не грусти, соколик,
Вся жизнь твоя, похоже, впереди.
Отбрось все мысли и пошли за столик,
А на меня так больше не гляди».

Ложились карты, дамы и валеты,
Звучали ясно имена друзей,
А на плечах ее полураздетых
Играли тени черные с ветвей.

Я положил рублевую монету
В раскрытую, красивую ладонь.
И, сжав запястье теплое, как лето,
Услышал фразу: «Жизнь не проворонь».

Какая осень на дворе!
В глазах рябит от неба серого.
И колокольчиком звенят
Колосья хлеба перезрелого.

А над землей плывут дожди,
И плачут листьями березы,
И ветер бьется без нужды,
И тает дым от папиросы.

Еще вчера было тепло,
Играли звезды за оконцем,
Но утро холод принесло,
И в тучах схоронилось солнце.

Какая осень в октябре:
Порой то холодно, то жарко.
И я, проснувшись на заре,
Ворую воздух твой украдкой.

Смотрю на небо – журавли
Плывут, мою тревожа душу,
И ночь, растаявши вдали,
Скользнет, дождем упав на лужи.

Весь день я буду сожалеть
О том, что пролетело лето,
И в небо серое смотреть,
И ждать из вечности ответа.

Года прошли мгновенно, без возврата,
Лишь тишь в ночи, голубизна полей...
А ты стоишь, Россия, необъятна,
Любовь моя, ты мать своих детей.

Бреду я полем, лесом или лугом,
Вдыхаю воздух Родины моей,
Мне не забыть могилы, что под Бугом,
И слезы горькие на лицах матерей.

Клин журавлей летит своей дорогой,
А я иду, и мир – он весь во мне.
И, помолившись перед храмом Богу,
Нелегкий путь продолжу по стране.

Что нас ждет за поворотом?
Старый дом, родной до боли,
Приоткрытые ворота,
Нераспаханное поле.

В белом облаке тумана
Клен лохматый у калитки,
И березка с тонким станом
Распушила свои ветки.

И церквушка на пригорке,
Ей сто двадцать лет от роду.
Здесь на праздник дед Егорка
Наливал святую воду.

Здесь встречали мы рассветы
С петухами под гармошку,
И, нагрянув к бабе Свете,
Пили брагу на дорожку...

И пошли своей дорогой,
Кто в Афган, а кто на зону,
И девчонки-недотроги
Зря рыдали у вагона.

А теперь, спустя полвека,
Я иду тропинкой узкой,
По мосточку через реку,
По земле исконно русской.

Снега, снега, кругом бело,
Искрится снег на лапах елей.
Сугробов горы намело
Метлой бушующих метелей.

Калина красная в лесу
Мне повстречалась на рассвете,
И гроздья ягод на весу
Ее горели в бледном свете.

А в это время снегири
Батагой шумной прилетели.
И снег стал розовой зари
От ярко-красной карусели.

Святая Русь! Вовеки и в веках!
Твоя звезда тебя не покидает.
У верноподданных вся грудь в крестах,
А подлость? И она средь нас витает.

Ты зло отринь из жизни наших дней!
Мы за Россию-Матушку в ответе.
Ты сделай все, что можешь, для людей,
Твоих детей, в годину лихолетья.

И мир придет, наступит твой черед.
Сквозь тернии умчатся злые силы.
И на борьбу поднимется народ,
Уже стоящий на краю могилы.

И вновь луга наполнятся травой,
И конь, заржав, замрет на водопое,
А старец с непокрытой головой
Твоих скитальцев вечных успокоит.

И ты вздохнешь, поднявшись в полный рост,
Святая Русь! Великая Россия!
И улетит из глаз печальных грусть,
И станешь ты сильнее и красивей.

Владимир ФИЛИМОНОВ

Однокласснику Пете Емельянову

Старый домишко под толевой крышей,
Темные сени и пол земляной,
Где-то под печкою шепчутся мыши...
С кем это было? С тобою? Со мной?

И прилегло почти вровень с землицей
В трещинках древних седое окно,
Глядя на озеро. Русские лица
Ближих твоих позабыл я давно.

Но, прорываясь сквозь годы упрямо,
Снова у дома стою твоего,
Ломоть ржанухи несет твоя мама,
Сахаром щедро посыпав его:

«Кушайте, детки, ведь в хлебушке сила,
Боженька видит, за вас помолюсь...»
Сколько б по жизни судьба ни носила –
Помню из глаз ее тихую грусть.

Вторит ей верно отцова гармошка,
Падают звуки в незрячую тьму...
...Светит за озером в детство окошко,
И никогда не погаснуть ему.

Непрощенная вина

Коль моя глупость с возрастом прошла,
Покаюсь я хотя бы на закате:
Прости меня, околица села,
За то, что так легко себя утратил.

Но за тобою был такой простор,
Такие звездочки сияли без изъяна,
Что ранним утром, как последний вор,
Ушел я вдаль сквозь облако тумана.

Ругались вслед мне третьи петухи,
Шумели возмущенные деревья,
И мною сочиненные стихи
Стирала в памяти обиженно деревня.

Прошли года... И я осилил брод,
Полвека заняла дорога к дому,
Такой же у околицы зарод,
И мышка порскает под ржавую солому.

Но поредел домов неровный строй,
Венцы подгнили, покосились прясла,
И солнышко за дальнею горой
Осело и уже чуть-чуть погасло.

Смотрю я с неизбывною тоской
На умирающий труд старших поколений...
Ведь долгий мой душевный непокой
Не стоит даже запаха сирени.

Гудет во мне зов преданной земли,
Зудит в руках крестьянская забота...
Пусть строчки необходимые мои
От глупости удержат хоть кого-то.

Жене

Все крепче нить, связующая нас,
Сердца все больше веруют друг в друга,
Энергия произносимых фраз
Пульсирует в нас дерзко и упруго.

Все больше чувств, что говорятя вслух,
И выщерблены взгляды ножевые,
И даже те слова, к которым глух
Я был – звучат, как будто бы впервые.

И тает перед пропастью наш страх,
И разгорается в глазах живое пламя,
И замирает ругань на устах,
Когда соприкоснемся рукавами.

Мой верный друг, жена и в чем-то мать –
Мы – двухсторонний щит от бед и хвори,
Нам врозь за хвост удачу не поймать,
Не влезть на кручу, не осилить море.

И – снова в путь по жизни, по судьбе
Рука в руке, а в них – одна котомка.
Уверенность, рожденная в тебе,
Во мне находит отклики негромко.

Мы не долдоним о любви большой,
Когда одна семейная забота,
Когда душа сливается с душой –
Уже притормозим у поворота.

Усталая, приляжешь на плечо,
Знакомая и вроде незнакома.
Спокойно, лепо, нежно... Что еще
Нам нужно всем для ощущенья дома?

Гордитесь малой родиной своей
За то, что несмотря на передраги,
Она жива среди родных полей
И никогда свои не спустит флаги.

Ей все давалось: радость и печаль,
Которыми делилась без остатка,
Бывало, что и била от плеча,
Но и любила искренно и сладко.

А как сынов и дочерей ждала –
Не вспенится ли пыль за поворотом?
Посаженная в юности ветла
Распахивала ветками ворота.

Колодец детства... Дед его копал,
Не допуская в мелочах изъяна.
А вот твоя заветная тропа
Не заросла крапивой и бурьяном?

Околица и сумрачный погост,
Травинки каждой неземное чудо...
Здесь самый первый, самый важный пост,
Россия начинается отсюда!

Апрель 1990 года. Киев

*Изречение из книги Тревора-Рупера «Застольные разговоры
Гитлера 1941–1944 гг.: «Мы тогда победим Россию, когда украинцы
и белорусы поверят, что они не русские».*

Степан Бандера: «Наша власть будет страшной...»

Я был частицей рідного народа...
Цвели садочки в белом до колен,
Украинская мягкая природа
Без выстрела захватывала в плен.

По граду шел я молодой и дерзкий,
Казалось, что знаком любой порог,
И щекотал мне ушко чей-то женский
Приманчивый певучий говорок.

Похрустывали рельсами трамваи,
Сквозь зелень пробиваясь меж кустов,
И через Днепр рядком торчали сваи
От некогда разобранных мостов.

Тогда над Киевом дождем пролились тучи.
Я помню четко, будто бы вчера:
С приятелем любимы мы с кручи
Величием и плавностью Днепра.

И русский глас звучал легко и гордо...
Но мальчик, проходящий королем,
Вдруг Левку обозвал жидовской мордой,
Ну, а меня поганым москалем.

И убежал, как будто бы и не был...
Я наши чувства описать боюсь.
Не полыхнуло молниями с неба,
Не содрогнулась Киевская Русь.

Сиреню пахло, а не Алькатрасом,
В едином Гимне жило торжество,
Ничто не предвещало злого часа.
А мальчик? Может, не было его?

И мы пошли, движимые желаньем
Утишивать сомнения свои.
У Богдана Хмельницкого на длани
Стихи читали громко воробьи.

Но незаметно, невесомо даже
Между домами, в глубине дворов
В одну сливались тени в камуфляже
И прикрывали блики топоров.

Вспомни и ты сейчас, Украина-мати,
Легучее предвестие беды,
Когда рвались на солнечный Крещатик
В полувоенном стройные ряды.

Оцепенел великий русский город –
Шли отпрыски оуновских бойцов,
И золото Софийского собора
Тускнело от сиянья трех зубцов.

И барабанов дрожь уже звучала,
Торилась в хаос новая тропа,
А по бокам смотрела и молчала,
Молчала! Ошалевшая толпа.

И мальчик был. И звали его Женя,
И взгляд его был злобен и блудлив:
«Ми відзначаємо у фіурера рождення,
На шибеницю клятих москалів!»

И вновь не содрогнулась Украина,
Когда сопливый нравственный урод
Витиевато, грязно, мерзко, длинно
Крыл матерками собственный народ.

И кто был тот, кто выпестовал веру
Советского по жизни пацана,
Что был героем изувер Бандера
И знаменем была «Галичина»?

...Лелеки вились у напорных башен,
Клубники первой наступал черед.
Тогда, в апреле, было мне не страшно,
Я не умел заглядывать вперед...

Алькатрас – собственно тюрьма на острове в штате Калифорния
Відзначаємо – отмечаем (укр.)

На шибеницю – на виселицу (укр.)

«Галичина» – немецкая дивизия СС, набранная из украинских добровольцев

Лелеки – аисты (укр.)

Сергей КОКОРИН

Блаженный Юм

Петька Чертилов, тощий юркий мужичонка лет пятидесяти, вышел из небольшого двора своего пятистенного дома на улицу. Не просто так вышел, а поработать. Около палисадника лежали березовые дрова, привезенные две недели назад. Дрова эти давно ждали хозяйского настроения, потому что без настроения он колоть не мог. Машину дров расколотить – это вам не кошку погладить. Тут с духом собраться надо.

Сегодня Петька собрался. Поэтому в руках у него было два колуна. Один был кованый, полегче и поострее – им хорошо колоть вязкие свилеватые комли, другой литой – потяжелее и с более тупым углом, который легко разбивал поленья, ровные и без сучков. Но любая работа начинается с перекура. Чертилов смахнул рукавицей с лавочки сухой и пушистый ноябрьский снежок, уселся, поставив инструмент рядышком, достал из кармана телогрейки пачку папирос «Прибой». Курил только их, они позлее и подешевле «Беломора» будут. Закурил, с удовольствием вдыхая вместе с дымом свежий морозный воздух. «Нет, не будет здесь пяти кубов, – думал Петька, оглядывая припорошенную снегом горку чурбаков, – может быть, четыре, от силы – четыре с половиной».

Докурив, растоптал окурки кирзовым сапогом, не спеша начал работу. Колот сначала тонкие дровишки, справедливо решив, что нужно организм сперва разогреть, а после и тяжелые поленья легче пойдут. Чертилов злым на работу не был, поэтому расколов десяток чурок, решил перекурить. Только об этом подумал, как услышал над ухом голос:

– Драстуйте, дединька!

От неожиданности Чертилов вздрогнул, услышав в тишине морозного утра незнакомый бас. Он повернулся, и взгляд его уперся в огромный ватник, перепопоясанный солдатским ремнем с бляхой. Поднял голову. Перед ним стоял здоровенный детина, в плечах шире Петьки в два раза и выше на полметра. Кроме ватника и солдатского ремня на молодце была солдатская же шапка-ушанка, которая, казалось, треснет по швам, так трудно ей было обнимать большую голову незнакомца. Обувь у него была не по сезону – резиновые сапоги. Он поздоровался и смотрел на Петьку лазоревосиними глазами, которые никак не вязались с круглым небритым лицом из разряда тех, что «кирпича просят». Чертилов вспомнил, что вчера ему Зинка, баба его, говорила, дескать, к соседям привезли племянника из деревни, дефективного сироту. «Ничего себе, сиротинушка!» – подумал Петька. А вслух сказал:

– Здорово, коли не шутишь!

Получив ответ, детина сказал следующую заранее приготовленную фразу:

– Бог в помощь!

– Бог-то в помощь, да и сам не будь овощ! – Петька присел на чурбак и предложил сесть незнакомцу. Ему казалось, так будет удобнее разговаривать – уравниются в росте. Тот, однако, продолжал стоять.

– Как зовут? – спросил Петька.

– Климущка, – ответил тот.

– Клим значить, да... Вот вишь ты, Клим, Бог-то высоко, а мы с тобой тут. Так взял колун-то бы да помог! – полушутя сказал Чертилов. Но Климушка молча взял колун и, поправив ближайший чурбак, с маху развалил его надвое. Петька аж крякнул от такой сноровки. Клим поставил следующую чурку, и она разлетелась с первого удара. Чертилов решил, что Бог действительно сегодня решил ему помочь, раз послал такого кольщика. Он вскочил и стал поднимать березовые чурбаки, устанавливая их вертикально, себе выбирая потоньше, Климу – потолще. Сам колоть не спешил – больше наблюдал за новым соседом. Заметил, что тот грамотно колет. Не просто так лупит, куда ни попадя, а повернет полено так, чтобы удар пришелся по трещине, что уже начала рвать подсохший торец, и чурбак разлетается с первого раза. «А ну-ка, – подумал хитрый Петька, – как ты это расколешь, Климушка?», – и подставил ему толстый свилеватый комель. Клим сперва отколол от него несколько поленьев с краев, затем также развалил его напополам. «Здорово колет, бродяга!» – отметил про себя Чертилов. И поскольку половина дров уже была расколота, командовал:

– Ну все, Клим, перекур! Отдохнем маленько. Айда в избу, водички поьем. А может, и не водички. У меня и водочка есть – можно дерябнуть по сто. Работа не волк, а, Клим!

Климушка распрямился и загородил Петьке дорогу:

– Нельзя, дединька! Водку пить – черта тешить, мама говорила.

– Ты че, Клим? Пошли, чаю хоть поьем. Нельзя же без роздыху работать – кони от этогодохнут!

Клим стоял на своем:

– Нельзя, дединька, уходить! Работа не кончена.

Петька рассердился:

– Какой я тебе дединька? Ну че ты ко мне привязался? Здесь, считай, кубов шесть будет! Где же за раз расколешь? Хошь коли, а мне домой зайти надо!

Климушка по-прежнему стоял на дороге, держа колун в обеих руках – не обойти, не объехать. «Повернешься, пойдешь, – подумал Петька, – а этот дефективный как жажнет колуном по башке и расколет как полено до самой земли. Послал же черт помощника!»

Сержант Ефрем Смирнов прошел с гаубичной батареей от Москвы до Польши и демобилизован был после тяжелой контузии, за три месяца до Дня Победы. А через год у него родился сын, которого он назвал Климом в честь первого красного офицера Клим Ворошилова. Климушка рос парнем здоровым и спокойным. Только слова выговаривал плохо вплоть до самых школьных лет. Имя свое он произносил так – «Юм». Оттого ребяташки его так и прозвали.

Когда Клим пошел в первый класс, отец его умер. Не выдержало здоровье могучего когда-то батарейца последствий военных ран и контузий. Поплакала жена, погоревал Климушка, похоронив батьку на деревенском кладбище. Стали жить вдвоем. В нужде большой, но в ладу семейном.

Клим был послушным сыном и матери во всем помогал по хозяйству. Только вот после похорон отца странный стал какой-то. Как уже потом врачи сказали – задержка в развитии. Если первый класс он закончил

вместе со всеми, то во втором его оставили на второй год. В третьем – то же самое. Причем дисциплину он не нарушал, учительницу слушал внимательно, а вот урок ответить не мог. Спросит она его, а он молчит и смотрит на нее своими большими синими глазами, как будто в мыслях своих детских вовсе и не в классе находится. За это и называла его учительница блаженным. Когда перевели Клим в четвертый класс, ему уже четырнадцать лет было. А по физическому развитию он мог любого двадцатилетнего в баранку согнуть. Только не задиристый был. Никогда не лез в драку, даже если сильно сверстники докучали. Посмотрит на них осуждающе, погрозит огромным указательным пальцем – нехорошо, мол, делаете, и на том все. Из четвертого класса маманя его и забрала. Решила, хватит парня мучить – все равно не идет учеба. Лучше пусть дома по хозяйству помогает, ведь в основном за счет домашнего хозяйства они с матушкой и жили – корову держали, кур, овец, огород соток в тридцать.

Клим в работе спорый был. Что мать скажет, то и сделает. И обязательно до конца доведет. А уж если задание не дали, то сам ничего делать не начнет. Сядет на лавочку и будет дожидаться, пока матушка выйдет из хаты и распорядится, куда идти и что делать.

Мать умерла, Климу уже девятнадцать было. Председатель колхоза хотел отправить его в интернат для инвалидов, но приехал дядька Клима – брат матушки – и забрал его к себе жить, в районный центр. Далек – аж за сто двадцать километров от родного села. Клим никогда так далеко не ездил, да и вообще никуда он не ездил. Похоронили они мать в начале ноября по первому снегу и уехали.

– Тьфу! Твою мать... – махнул рукой Петька в бессильной злости. – Вот же навязался, иксплотатар!

Взял снова в руки колун и нехотя поднял чурбак. Не привык он работать в таком темпе. Все удовольствие от работы именно в перекурах. А этот, видно, и в самом деле дурачок. Ничего не понимает. Клим между тем продолжал методично, как автомат разбивать все поленья подряд. Через два часа работа была закончена.

– Вот и все, Климушка! – у Петьки настроение поднялось. Ему хотелось зайти домой – поест свежих щец, что Зинка, наверное, уже наварила. А больше хотелось выпить с устатку. Замаял его новый сосед. – Спасибо тебе! Слава Богу, закончили.

Клим раскрасневшийся, с капельками пота на носу поставил инструмент к забору и довольный показал рукой на гору колотых дров:

– Складывать, дединька!

Петька перепугался, замахал руками, затараторил:

– Ты что!? Какое складывать! Потом, завтра складывать! Сегодня нельзя, место надо подготовить. Домой иди, Клим, домой!

– Домой, – согласился Клим и вразвалочку пошел к своей калитке, шаркая огромными резиновыми сапогами.

Так началась новая жизнь Клима у дядьки – Федора Ивановича и тетки Дарьи. Работы для него здесь было меньше, чем дома, потому что родственники скотину не держали. Был только огород да несколько куриц. Зимой Клим очищал двор от снега, ходил на колодец по воду, дрова в дом заносил к печам. Растоплять печь Дарья ему не доверяла. Еще приспособо-

била она его за хлебом ходить в ближайший магазин. Даст ему двадцать копеек, чтоб без сдачи было – Клим и принесет булку. Продавцы с ним обходились ласково. Жалели. Еще Клим письма относил в почтовый ящик. Тетка писала много писем и открыток, особенно к праздникам.

В своем околотке он быстро стал не то чтобы знаменитостью, но достопримечательностью, благодаря своим размерам и отличительному поведению. И удивительное дело, откуда ни возьмись, прилетела за ним из родной деревни кличка – Блаженный Юм. Бывает ведь так, дадут пацану сверстники кличку. Уедет он за тридевять земель в армию служить или в институт поступит учиться, а и там его кличка найдет. Опять прилепят ему ее, как будто на лбу была написана. Клим, конечно, на прозвище не обижался, тем более, что взрослые его так в глаза не называли – обычно ребятишки. Те вообще проходу не давали. В родной деревне ребята подсмеивались над ним, но беззлобно. А здесь как привяжутся, так не отстанут, пока из прохожих кто-нибудь не шуганет. Особенно Клина доставал Васька Клюев – одиннадцатилетний хулиганистый парнишка. Ладно снежками с друзьями закидают, так иногда и камнем швырнет или из рогатки выстрелит, чуя свою безнаказанность.

Наступил март. Тетка Дарья, написав поздравительные открытки, вручила их Климу. Вместе с ними подала и красивый конверт, на котором было написано «Авиа». Клим посмотрел на необычный конверт, ткнул в него пальцем и уставился на тетку:

– Красиво!

– Не для красоты это, Клим, – пояснила тетка, – а самолетом повезут это письмо. Все письма машиной возят, а вот где так написано – «Авиа», эти письма в самолет грузят. Понял?

Клим закивал головой. До этого он видел, как к почтовому ящику подъезжает легковая машина, из нее выскакивает шустрый паренек в темной драповой куртке и, забрав письма в мешок, уезжает. Самолета ему видеть не приходилось, только на картинке. Поэтому, когда опустил письмо и открытки в ящик, сел на лавочку напротив и стал ждать – интересно было посмотреть.

Самолета все не было, но синий «Москвич» подкатил как обычно. Почтовый инкассатор, лихо задвинув спецмешок под ящик, принял почтовые отправления. Собрался было вернуться в автомобиль, вдруг ощутил, что на плечо ему легла тяжелая, как ковш экскаватора, рука, буквально придавив его к земле. Ему с трудом, чуть не вывернув голову, удалось оглянуться и рассмотреть «экскаватора».

– Ты что, Юм? – спросил удивленный сотрудник почты.

– Самолет прилетит, – объяснил Клим причину задержания должностного лица...

Пока почтовый служащий объяснял Климушке, что письма сортируются в другом месте, а самолеты летят только из областного центра, вокруг них собралась средних размеров толпа. Узнав в чем дело, некоторые прохожие стали сочувствовать почтарю и убеждать Клина, что его письмо улетит обязательно, другие шутники, наоборот, подначивали: «Не отпускай его, Клим, пусть объяснительную напишет, на каком основании мешает письмам летать!» Клим не верил ни тем, ни другим – он верил своей тетке.

Неизвестно бы чем это кончилось, если бы мимо не проходил милиционер. Представителю власти удалось убедить отправителя письма отпустить

сотрудника почты. Ему Клим поверил – погоны и портупея произвели на него впечатление. Особенно ему понравилась шапка с кокардой.

Когда Клим отправился домой, невесть откуда взялся его преследователь – Васька Ключев со своим приятелем и принялись опять его изводить:

– Юм! Юм, где твой ум? – затеяли они старую песню. – Блаженный Юм продал свой ум!

Климушка повернулся и стал грозить им пальцем. Пацаны чуть отбежали, Васька достал рогатку и, вложив в кожанку шарик от подшипника, выстрелил Климу в голову.

Домой Клим пришел с оплывшим, окровавленным глазом. Тетка только руками всплеснула:

– Где тебя угораздило?!

– Ребята обидели, – только и вымолвил Клим.

Дарья промывала глаз марганцовкой и ругала ребятишек:

– Вот ведь паразиты! Чуть глаза не лишили! Я до них доберусь – завтра же пойду к этим Ключевым, пусть уймут своего хулигана, а не то – в милицию пойду...

Вечером Клим ужинать не стал, чего с ним никогда не бывало – сильно болел глаз, а сам он нервничал. Тетка, конечно же, никуда не пошла, поостыв немного – авось со временем и так уладится.

Прошел месяц. Под апрельским солнцем стремительно исчезали остатки сугробов. Лед на реке посинел, освободившись от снега, местами на нем блестели лужи.

Клим, щурясь на солнышко и шаркая резиновыми сапогами, шел в магазин за хлебом с черной кирзовой сумкой и «двадцатчиком» в кармане. Дорога проходила мимо ключевского дома. Из двора выбежали двое его обидчиков, завидев его, покривлялись, подрались и рванули прямо на лед, решив, видимо, перебежать на другую сторону речки. Может быть, и не провалились бы, если бы шли потихоньку и не топались. Но еще с утра крепкий лед после обеда здорово подтаял и, начав трещать под ногами бегущих, не выдержал. Оба оказались в ледяной воде.

Клим смотрел, как они хватались за кромки льдины и, вытаращив глаза, испуганно кричали и звали на помощь. Кто знает, может быть, в эти минуты они ему напомнили котят, которых топили в луже ребята постарше, когда Климушке было всего пять лет. Он тоже тогда вот так же стоял и смотрел. Котята высовывали головы из воды, чтобы хватить глоток воздуха и жалобно пищали. Ребятишки развлекались и палками прижимали котят к самому дну лужи, не давая им поднять голову. Маленький Юм тогда не мог понять, зачем это все происходит, но потом решил, что если так делают старшие ребята, то значит так надо.

Пацаны уже слабели и кричали все тише, но головы их по-прежнему были над водой, они упорно барахтались, цепляясь за жизнь. И Юм, легко как ледокол проламывая лед, двинулся в густую ледяную воду. Ему было по грудь, когда он добрался до пацанов и протянул огромные руки к их головам.

Васька Ключев был моим одноклассником. Парнишка из числа тех, что называли «отпетыми». Отец его работал в райпо грузчиком и пил по черному. Мать шила на дому, одна поднимала большой огород и троих

ребятишек. По всему было видно, что Васька останется на второй год в четвертом классе, потому что по весне связался с компанией постарше себя, начал курить и пропускать уроки. Учительница не знала, что делать. Вызывать родителей в школу было бесполезно. Отец был либо пьян, либо зол оттого, что не пьян. Когда ему сообщали о Васькиных школьных «успехах», он в школу не шел, а отлупив старшего сынка чем попало, шел в магазин, чтобы там «сообразить на троих» и успокоить нервы.

Мы с Васькой не то чтобы большими друзьями были, но время вместе проводили частенько. Когда он заходил к нам в гости, моя бабушка жалела его и, накормив нас чем-нибудь вкусным, считала своим долгом хоть немного его повоспитывать:

– Ты, Вася, ежели будешь хулиганничать да школу пропускать, плохо кончишь! В тюрьму попадешь, как Шурка Зуев, или сгинешь под забором, как тезка твой Васька Закомалдин. Давай, берись за ум, мать слушайся и учителей. Счувать-то тебя боле некому!

Приятель мой из благодарности за угощение бабушку молча выслушивал, глядя в пол или в сторону, а выйдя за порог, снова брался за свое, посмеиваясь над ее наставлениями.

Блаженный ухватил пацанов за шкирки и легко, как котят, поднял их над водой. Не спеша повернулся и пошел к берегу. Когда он выволок их на берег и поставил на землю, ребятки сразу же рванули по домам, хлюпая носами, слезами и водой в сапогах. Только Васька на секунду остановился и, оглянувшись, сквозь слезы посмотрел на Юма виновато и удивленно.

Климушка вылил воду из сапог, постоял в задумчивости, потоптался на месте. Потом, вспомнив, что его ждут с хлебом, отправился в магазин. Студеная апрельская вода с мокрого ватника и штанов стекала ручьями.

Домой он пришел через час и подал тетке чуть подмокшую булку серого хлеба. Та выспросила, где он так вымок, отругала его и, напоив чаем с малиновым вареньем, велела лежать. К утру у него поднялась температура.

Умер Климушка через две недели в районной больнице от воспаления легких. Похоронили его тихо и незаметно в углу огромного кладбища. Дядька – Федор Иванович – поставил сосновый крест, а больше ничего.

Василий Ключев закончил школу, отслужил в армии. Работал в областном центре на заводе «Стройжелезобетон», вырос до главного инженера. Когда началась перестройка, его выбрали директором завода. Каждый год он приезжает на свою малую родину и идет на кладбище. Прежде чем идти на родительские могилки, он идет на могилу к Климушке и кладет два цветочка к мраморной плите – он поставил ему памятник и железную оградку.

Виктор ВОИНКОВ

Опрокину себя в это небо,
В белый бисер на черном сукне,
Что сыпается в звездную небыль,
Подмигнув на прощанье Луне.
Пусть ничтожными кажутся метры,
Что в дороге отмерил за жизнь,
Я б еще пошагал против ветра
Вдоль непаханой Млечной межи...

Ах, если бы небо охапкой дарить
С дурманом цветов полевых,
В алмазах росы на истоке зари,
Струящейся в мир синевы.

С красивой птицей, что вольно парит
Над вечностью белых вершин.
С последней звездой, что на своде горит
Лампадой славянской души.

С пьянящим простором, что бьется внутри
Сердец и больших облаков...
Ах, если бы небо охапкой дарить,
Чтоб всем нам дышалось легко...

Льется в небо песня журавлиная,
Оглашая сполохи зари,
Грустная, красивая, былинная
Прорастает Родина внутри...
В поле собираю сердца части я,
Лишь услышав птиц весенний зов.
Русь во мне не может без причастия,
Истиной растерянных азов...

Мне хочется землю сердечно обнять,
Прижаться и грудью согреть,
И память ее на себя перенять,
И тысячу раз умереть...
Подняться и, гильзы вокруг подобрал,
Запрятать подальше от глаз,
А поле войны семенами добра
Засеять весной еще раз...

Печенки

Говорила с улыбкою бабушка мне,
Из печи вынимая картошку:
«Можно биться с голодным теперь наравне...
Век живи, век учись понемножку...

Не пугайся, что с виду комок-уголек,
Дуй сильней, а ломай осторожно»...
Никогда не забуду я руки ее –
Лишь в таких все на свете возможно!..

Развалились два клубня на старом столе,
Поднялись завитки паровые.
С ароматом известным уже сотни лет
Я знакомился в жизни впервые...

Отворили солонку, приправили чуть
И, смакуя, поели неспешно.
Было вкусно...
Но только теперь, зная суть,
Я слова ее понял, конечно...

В разноколесой шаткой тележке
Бабушка воду натужно везет.
Раннее утро. Звездные вешки
Вместе с Луною в бидоне ее...

Плещется небо на кромку дороги.
Лязгает ржавый замок по ведру,
В тертой веревке запутались ноги.
Слезы в глазах на студенном ветру...

Шаркают старые мятые чуни,
Мокнут седины под сбитым платком.
Верит она: не растратится втуне
То, что дается ей так нелегко.

Зорька село поднимает без спешки,
Щедро суля, что изменится все...
В разноколесой шаткой тележке
Бабушка воду натужно везет...

Пальцы – плетеные корни
С детской привычкой к земле,
Что за усердие кормит
Сладкой картошкой в золе...

Жатым папирусом кожи
Память затянута жил,
Что напрягались до дрожи,
До исступленья души...

Линии жизни военной
Эти ладони хранят.
Праведно, самозабвенно
Вы поднимали меня...

Все повидавшие руки
В мире простого труда
Вновь возродятся во внуке,
Может быть, хоть иногда...

Обнимает небо белый яблонь цвет,
Вешними ветрами гладит лепестки.
Я своей глубинке признаюсь в родстве,
К дереву прижавшись сединой щеки...

Над заросшей тропкой пеночка кружит,
Гнездышко былинкой самой тонкой вьет...
На земле огромной край моей души
В старом палисаде дичкою живет...

Белые туманы ковыля
На волнах качают мою душу.
Я судьбу напрасно не понужу
На пути к погосту сквозь поля...

Гладит ветер локоны травы,
Шепчется, о предках памятуя,
И рождается чувство, что иду я
По сединам древней головы...

Иван ЯГАН

Кочерга-Кочергин

Меж березовых рощиц, меж распаханых полей лежит прямая шоссейная дорога, выпуклая, словно горбыль от прямой, без сучков сосны. Комель этого горбыля начинается перед глазами шофера, а вершина тоненьким, как у иголки, концом упирается в дальний горизонт. И никогда не доедешь, не дойдешь до того конца...

По дороге идет бензовоз. Едет из города в степную деревеньку Лопуховку. В кабине – шофер Иван Сапанько и парень в форме младшего лейтенанта милиции. Подсел он в машину в райцентре. Это Григорий Кочерга, бывший лопуховский. Хотя сидящие в кабине – одногодки, но шофер выглядит старше. Это если смотреть на его обветренное крупное лицо, на его большие руки. Может быть, это кажется оттого, что младший лейтенант одет в новенькую форму, чисто выбрит, подстрижен под «молодежную», белокур. У шофера глаза синющие, как небо на рассвете. Ресницы длинные и черные. Кажется, они такие длинные для того, чтобы регулировать смехом, которым полны глаза Ивана.

– Ну вот, товарищ Кочерга, скоро довезу я тебя до своей Хохляндии. Знаешь, сколько осталось до Лопуховки? Поди, забыл, не определишь, в каком мы месте едем...

Младший лейтенант вздрагивает и, слегка покраснев, говорит:

– Знаешь, Иван, я теперь не Кочерга, а Кочергин.

– Как «не Кочерга»? Коров мы с тобой пасли – ты Кочерга был, в школе ты был Кочергой, в армии тоже так звали. Батьку твоего у нас Кочергой зовут...

– Сменил я эту противную фамилию. Понимаешь...

– Ну ты даешь! – Иван негромко свистнул. Несколько минут он неотрывно смотрит на дорогу, сделав губы трубочкой для свиста, но свиста не слышно. Он так всегда делает, когда думает о чем-то серьезном. Сейчас Иван думает о человеке, который сидит рядом, который вдруг показался ему непонятным, даже чужим. Иван теперь не знал, как ему вести себя с Григорием после его сухого и вполне серьезного ответа по поводу фамилии. «Кочергин! Вот дает! Чего это ему вздумалось! Узнают деревенские, смеху будет – не оберешься. Хотя бы уж молчал. Ну дает!..»

Иван никогда не был в больших друзьях с Григорием. В армии в одной роте служили, а не сошлись как-то. Вспомнилось, как спали рядом, ели за одним столом. Григория Кочергу назначили командиром отделения. На второй день он стал называть Ивана на «вы», а через неделю, объясняя какое-то задание, вдруг сказал: «Рядовой Сапанько, как вы стоите!?» Иван попытался отшутиться: «Да ты что, Гришка? Разве нельзя без этого, я ведь пойму...» Но Григорий в ответ объявил ему наряд вне очереди. Тогда Иван не совсем понял, кто был прав. Служба есть служба... А после службы не сошлись, потому что Григорий, пожив с полмесяца у родителей, уехал в город. Иван остался в колхозе. Так за многие годы Григорий и не приезжал в Лопуховку. Слышали лопуховцы, что он работал в милиции, а потом говорили, что учится в школе милиции. И вот теперь, как видно, закончил учебу.

С Ивановым характером тяжело молчать. Когда едет один, так хоть песни напевает, насвистывает. А теперь как-то неловко.

– Так закончил, значит, учебу?

– Закончил.

– И куда теперь?

– В наш район.

– А заработок какой у вас?

– Это от должности зависит, от звания...

Опять замолчали. Иван посвистел минуты две и опять:

– Сколько лет ты, Гриша, не был в Лопуховке?

– Лет пять, наверное.

– Ну ты даешь!..

По кабине застучал мелкий дождь. Совсем захмарилось, да и солнце, видимо, уже зашло. Стало быстро, по-осеннему, темнеть. Иван включил фары, стал внимательней смотреть на блестящую от дождя дорогу.

– Не пойму тебя, Гришка, то ли ты умный такой стал, то ли прикидываешься...

– А в чем дело?

– Да ни в чем. Ты же домой, в свою деревню едешь, к матери с отцом. Спросил бы хоть что.

– А что спрашивать...

– Ну, спроси, кто женился, кто разошелся, кто умер. Спросил бы, накосил ли твой отец сена на зиму. А может, у него и коровы нет.

– Приеду, узнаю.

– Ну ты даешь!.. – Иван покачал головой, умолк и больше не заговаривал с Григорием.

В Лопуховку приехали уже поздно вечером. Иван остановил машину возле дома старого Кочерги. Григорий вылез из кабины, захлопнул дверку, осмотрелся в темноте и снова открыл дверку кабины.

– Слушай, Иван, ты куда меня привез? Что-то в темноте не разберу. Дом будто не наш.

– Дом ваш, да он новый. В прошлом году отцу колхозом построили.

– Да?.. Ну ладно.

Зло рыкнуло в коробке скоростей, бензовоз фыркнул и рванул с места.

Ни сном ни духом не ведали о приезде Григория старые Кочерги. Около двух лет от него даже писем не было. О сыне знали только из случайных разговоров лопуховцев, видевших Гришку в городе. Промеж себя как-то старались не говорить о нем. Больше вспоминали Илюшу, погибшего на войне. Когда Григорий в армии служил, первый год пописывал письма, а потом заредил и на последнем году службы ни одного письма не прислал. Соседи советовали написать в часть командиру: дескать, пусть взгреют его за это, но они не написали. Потом Гришка с другими ребятами вернулся в Лопуховку, стройный, с нежным лицом, с белыми руками. На третий день после приезда демобилизованные ребята уже толкались в конторе, в гараже, на скотном. Приглядывались к работе. А Григорий сидел дома у окошка, скучал и все время чистил ногти, разложив на подоконнике набор для ухода за ногтями. Вечером шел на квартиру к учительнице, которая недавно приехала из города по направлению. Говорил Григорий только по-русски и чувствовалось, что следит за собой и боится, как бы не «забалакать», как «балакал» все девятнадцать лет до службы, как «балакает» и сейчас вся Лопуховка.

Лопуховцы и теперь еще помнят выходку Григория на вечере, когда его встречали из армии. Отец с матерью позвали соседей, родню. Выпили по первой, по второй. Еще и закусить как следует не успели, как Григорий встал из-за стола и говорит: «Вы как хотите, а я – баста! Больше двух рюмок не пью». Прошел к матери, потряс двумя руками ее руку и сказал: «Благодарствую, мамаша!» Подошел к отцу и – то же самое: «Благодарствую, папаша!» Гости переглянулись, посидели немножко и начали расходиться. И Игнат Кузьменко, выходя, скопировал Гришку: пожал руки хозяевам и ехидно сказал: «Благодарствую, мамаша! Благодарствую, папаша!» Когда гости разошлись, старый Кочерга подошел к жене, пожал ей руку и кисло ухмыльнулся: «Благодарствую, мамаша!» Она ему ответила тем же, заплакала и стала убирать посуду.

С тех пор прошло пять лет. И вот их Гришка снова дома. Снова слышалось сухое, как скрип снега в мороз: «Здравствуйте, папаша! Здравствуйте, мамаша!», «Не беспокойтесь, мамаша...» А как не беспокоиться, ведь сын как-никак. Обрадовались старики и растревожились. На вид посмотришь – орел, интеллигент. А как слово скажет – холодом повеет. Даже о здоровье справился, а как ногтями по стенке: «Как здоровьице, мамаша?»

– Ну, рассказывай, сынок, надолго к нам, что и как? – просит отец.

– Сравнительно ненадолго. На пару дней.

– А потом?

– Потом буду приступать к своим непосредственным обязанностям.

– К каким, каким?

– Непосредственным. Соблюдать советскую законность. Порядки будем наводить.

– Это хорошо. Порядки наводить надо.

Мать уже захлопотала возле керогаза. Отец говорит: «Ты, сынок, поговори с матерью, а я быстренько смотаюсь...» В ответ услышал: «Ни к чему беспокоиться, папаша». – «Как так ни к чему...» – И старик вышел на улицу. Было уже поздно, в редких домах светились окна. Кочерга направился к дому продавщицы: она всегда держала у себя на дому несколько ящиков водки, чтобы не бегать в магазин по такому случаю, какой случился у Кочерги. Дом продавщицы оказался на замке. У соседей еще в окнах горел свет. Кочерга постучал, надеясь, что продавщица с мужем, возможно, здесь, в лото играть пришли. Но ему ответили: «А они еще за-светло все уехали в райцентр, в гости к кому-то».

Кочерга почесал затылок, задумался. Так хотелось посидеть ему с сыном за бутылкой, расшевелить Гришку, расковырять его до самой души, выведать, что все-таки он такое. Может, они, старики, и все деревенские чего-то не могут понять в Гришке. Не может быть, чтобы он в самом деле такой сухой был, такой непонятный... Нехотя старик двинулся к дому. На полпути остановился, хлопнул себя правой рукой по бедру: придумал! И свернул в проулок, к дому Савелия Лиходида. Постучал в окно, в хате зажегся свет. Минут через пять он уже шел домой резво и удовлетворенно. Шел, а сам думал: «Ну, сынок, брешешь! Сейчас я у тебя все выведаю, разговоришься. Не в кого тебе быть таким сухарем. Сейчас мы – один на один с тобой...»

Стол уже был накрыт. Гришка сидел в брюках и майке, в одних носках. Мать на кухне над тазом отмывала грязь от его сапог.

– Мать, бросай мытье, давай к столу! – весело scomандовал Кочерга.

– Сынок, давай поближе!

На середину стола водрузилась откупоренная, без этикетки, бутылка. Отец налил из нее в два граненых стакана, матери плеснул в чашку. Плеснул на самое доньшко: знал, все равно не пьет. Наткнул на вилку скибку упругого огурца, разрезанного по-украински – вдоль, подал его вместе с вилкой сыну. Подняли стаканы, чокнулись.

– Ну, с приездом, сынок, что ли!

– Благодарствую, папаша...

– Ты пей, потом благодарить будешь.

Григорий поднес стакан ко рту, понюхал и поставил на стол.

– Это что такое, папаша? – показал он глазами на стакан.

– Как что? Выпивка, сынок...

– Я вижу, что выпивка. Сами производите или... Я пить не буду... Не ожидал...

– Сынок, да я... Понимаешь, такое дело... Брось ты, Гриша! Какой-то ты прямо, я не знаю... Продавца дома нет... Понимаешь?

– Можно было и без этого...

Григорий придвинул к себе сковородку с яичницей и принялся есть. Отец поставил стакан на стол, достал кисет, начал сворачивать сигарку. Руки его дрожали, рассыпая махру. Мать сидела окаменело. Потом она поднялась, пошла на кухню, принесла кружку молока и молча поставила перед Григорием. Тот отодвинул сковородку, выпил молоко, достал из кармана четверо сложенный носовой платок и ласково промокнул им губы.

– Благодарствую, мамаша... А теперь постелите мне, я буду спать.

Мать двигалась по комнате, словно глухонемая, словно в доме был покойник. Молча постелила в комнате кровать, на которой спали со стариком, а себе постелила на кухне, на полке за печкой. Старый Кочерга, не раздеваясь, завалился на полку. Глядя в потолок, он соображал: «Черт его знает, что за человек! Не пьяница какой-нибудь, грамотный, культурный вроде, а вот воротит от него. Хуже чужого. На что обижается – не пойму. Мелкий какой-то он, трюхлявый сердцем».

Проснулся Григорий рано. Отец с матерью вовсе не спали, но подниматься не стали, хотя слышали, что сын поднялся, одевается. Григорий вышел на кухню, умылся. Подошел к плите, взял со сковороды кусок яичницы, съел. На лавке взял бидончик, налил в кружку молока, выпил и стал надевать шинель. Делал все так, словно в доме кроме него никого не было – хладнокровно, уверенно, даже чуточку обиженно. Отец с матерью так и не поднялись. Григорий покосился за печку, ничего не сказал и потихоньку вышел.

К девяти утра он уже был в райцентре. Начальник милиции майор Буденко, войдя в коридор, удивился:

– Ты чего это, Кочерга... прости, Кочергин? Я же тебе разрешил отдохнуть три дня, а потом – за дела. Что такое?

– Обстоятельства, товарищ майор...

– Какие еще такие обстоятельства? Отец выгнал или принял плохо?

– говорил майор, вставляя ключ в дверь.

– Угадали, товарищ майор. Вернее, я сам ушел.

– Ты серьезно? А ну-ка, рассказывай.

– Разрешите в кабинете доложить.

Майор внешне был спокоен, но в глазах его появилась тревога. Он изумленно смотрел на младшего лейтенанта.

– Так что стряслось? Докладывай.

– Дело в том, товарищ майор, что я обнаружил очаг самогоноварения. И где вы думаете? Как ни удивительно – в доме собственных родителей. Я считаю своим долгом...

Майор, не глядя на Григория, хлопнул ладонью по столу.

– Так, так... Значит, в доме собственного отца? Напиши-ка об этом в письменном виде. – Буденко достал из стола листок бумаги и протянул Григорию. Тот взял и начал писать. Майор, стоя у окна, наблюдал за ним. – Написал? Ну, добро. Теперь иди, занимайся пока своими личными делами. Я тебя вызову, когда будет надо.

Григорий вышел. Буденко сел за стол, прочитал то, что написал Григорий, отложил листок в сторону. Посидел несколько минут, еще прочитал «докладную», положил ее в карман пиджака и снова задумался. «Антон Кочерга, лучший комбайнер района, и вдруг – самогонщик. Не может быть! Вот так ситуация...» Потом он вызвал следователя, велел ему собираться в дорогу. Оделся сам и вышел во двор, где стоял «газик».

– Куда? – спросил шофер.

– В Лопуховку...

Кочерги были дома. Буденко и следователь, постучав в дверь, вошли, поздоровались. Им никто не ответил. Майор по-свойски снял шинель, его примеру последовал лейтенант.

– Ну, Антон Семенович, правда или неправда? Я не верю.

– Неправда, Николай Петрович. Неправда.

– У кого взял?

– Не скажу.

– Почему же?

– Не знаю почему, а не скажу. Этот грех мы своими силами задавим.

Не всякому грешнику – ад, не всякому праведнику – рай.

И тут старика прорвало. Он решил вылить всю боль и обиду, все пережитое за эти несколько часов. Но не было подходящих слов. Может быть, от этого из его глаз брызнули откровенные, как у ребенка, слезы. Он их размазывал кулаком, а сам говорил, говорил...

– Нет, Николай Петрович, не дело – так жить людям, так поступать. Не тому вы моего Гришку научили...

– Мы не учили его, Антон Семенович.

– Так в городе научили, или где там – не знаю.

– И в городе его не учили плохому.

– Так почему же он такой, скажите? Почему?

Майор потер ладонью лоб, закурил. Протянул пачку папирос Кочерге.

...Выпал первый снег. Вокруг бело до боли в глазах. Глаза Ивана Сапанько щурятся от непривычной белизны. Отдыхают они тогда, когда смотрят на темную ленту дороги, на которой не удерживается снег: она осталась единственной черной полосой в безбрежной белой шири. Иван о чем-то думает, сделав губы трубочкой, потихоньку насвистывает. Машина идет из города в Лопуховку. В кабине, как и пять дней назад, сидит Григорий Кочергин, молчит, ни о чем не спрашивает. Сидит, насупив белесые брови. Одет он в пальто, на голове милицейская шапка с пятном от кокарды. Сапоги тоже, видать, милицейские остались. Ивану, как и всем лопуховцам, известно все, что произошло в эти дни с Григорием: его уволили из органов милиции.

- Ну что, Гриша, думаешь теперь делать?
 - Пока не знаю.
 - А сейчас к отцу или куда?
 - А куда же еще...
 - А не стыдно тебе на глаза ему показываться? Вдруг не пустит в дом?
 - Куда он денется, пустит.
 - Ну, а не стыдно тебе людей?
 - А чего стыдно-то?
- Больше Иван не заговаривал с ним. А вскоре и Лопуховка показалась...

Николай АКСЕНОВ

Падение

Из недавних съемок Первого канала в Тульской области, говорит последняя жительница села: «Было у нас 80 дворов, а осталась я одна. Света нет, дорог нет, продуктов нет...»

На коне – и опять без коня...
Не готов был я к этой угрозе,
Вновь судьба уронила меня,
Снова больно ударила оземь.

Мой испуганный конь ускакал,
Ускакал сумасшедшим наметом,
Дробный топот копыт среди скал
Смолк за дальним крутым поворотом.

Я встаю, потираю ушиб,
Низко кланяюсь каменным глыбам:
Слава Богу, что я не погиб,
А отделался только ушибом.

Я с надеждой на небо смотрю:
Там, за серой завесой дрожащей,
Вижу я золотую зарю
И сияющий день приходящий.

Я повержен, но верится мне –
Жизнь не вечно горька и убога:
Буду в будущем я на коне,
И счастливою будет дорога.

Разговор на тему поддержки сельхозпроизводителей

Змеи

Проползли подколодные змеи
По полям величайшей страны,
То же солнце и небо синее,
Но следы их движенья страшны.

Опустели деревни и села,
По ночам в них крошечная тьма,
Онемели шумливые школы,
И ослепли пустые дома.
Раскулачено снова крестьянство:
Ни машин, ни скота, ни земли,
Где есть люди, там бедность и пьянство –
То, к чему господа привели.

Не растут ни овес, ни пшеница
На дерновинах бывших полей,
Все угрюмей крестьянские лица,
И характеры тоже все злей.

С каждым годом деревня нищает,
Копошится без толку впотьмах,
Ей счастливую жизнь обещают
Те, кто в барских домах-теремах.

Нелегка у народа стезя,
Но они в своем алчном угаре
Забывают о том, что нельзя
Любоваться огнем на пожаре.

Берег в тумане

Что было – ушло и быльем поросло...
Плывет моя лодка в печали,
Не знаю, где ветер обсушит весло,
На чьем обомшелом причале.

И кто меня встретит, кто голос подаст,
Кто крепкую руку протянет?
Свинцовой рябью покрыта вода,
И берег далекий в тумане.

А там, за туманом, куда ни взгляни,
Все речи правителей лживы,
Безликие люди, бесцветные дни
И страшная жажда наживы.

Она проникает змеею в сердца,
Красивых и умных калечит,
Она превращает творца в подлеца
И камнем ложится на плечи.

Так хочется больше и больше нажать,
По трупам добраться к богатым.
И делят свирепо наживу ножи,
И мечут свинец автоматы.

Холодное небо клубит облака,
Им нет ни конца, ни начала.
Несет мою утлую лодку река,
И нет этой лодке причала.

Владимир БРОЗИНСКИЙ

Я лишь фрагмент, лишь эпизода часть,
Беды осколок и крупица счастья.
Я изучаю сфер небесных части,
На собственных несчастьях учась.

Мой частный случай разорвет на части
Слепых времен безжалостная пасть...
Что из того? Ведь я по сути – часть
Погожих дней и хмурого ненастья.

И капля, что с карниза сорвалась,
И смерть Вселенных, и мои напасти –
Всего лишь составляющие части
Той Истины, чья непреложна власть.

На Чумацком Шляхе посыпаны солью звезды,
Остывают в воздухе ночных поездов голоса,
Из темноты всплывает, рождается слово

«остро»,

Жалобно скулит и жметя, заглядывает в глаза,
Делает все остальное расплывчатым, лишним.
Лишь на реке буксир ноту протяжную длит,
А слово

«далекий»

сидит на краешке крыши,

За мной, не мигая, круглым оком следит.
Вот уже улицы шум, усталый и бледный,
Затихает, как после долгой горячки – больной,
И ни с того ни с сего появляется слово

«последний»

И осторожно дышит в ночи

у меня за спиной.

Хочу быть краток, словно малый мах
Крыла синицы, словно приговор в умах
Достойных судей, охранителей Парнаса.
Увы и ах! Не повинуется рука,
И жаждет бреда многословного строка,
Как будто кости обрастать стремятся мясом.

Хочу услышан быть, но в ватной пустоте
Не слишком звучным голосом не те
Пою псалмы и ошибаюсь в главной ноте.
Я сонных взглядов лед проламывать ленюсь,

Не в тему каюсь и не в том клянусь,
Да жемчуга свои ищу в помете.

Хочу быть ясен, словно мудрый Мономах,
Но слог ползет в кромешности, впотьмах,
В сутулых, исковерканных потемках.
И я, как ренегат и формалист,
Мараю все похотливый лист.
Что ж, остается лишь надежда на потомков:

Быть может, только в их далекий год
Приобрету солидности налет,
Как слепок важных древностей унылых.
Но здесь мне этот мед не пригубить,
И поделом! Ведь, если честным быть,
Я сам ценю пророков лишь в могилах.

И, как дурак, упрямо продолжаю жить.

Ты говорила: «Напиши мне что-нибудь такое...
Особенное – чтоб и смех, и слезы, шум и гам –
Такое-этакое... вот...» – и делала рукою
Абстрактно-круглый жест – мол, понимаешь сам...

А я был глуп и нем, недвижим и бессилён
От плавающей жары июльской, плавающей любви,
А мир вокруг был весь – твои глаза и губы...
И – белое на белом, черное на синем...
И «что-нибудь такое» – на лету попробуй назови.

Как написать про пульс, не понимающий покоя?
Про воздух, на лету сменивший вкус и цвет?
Про то, как сходят улицы с ума порой ночью,
И смотрит бог в глаза, и что-нибудь такое,
Чему у наших мудрецов во сне названья нет?

Сжигала жизнь мосты и возводила стены,
Июльский жар сбивал дыханье в декабре...
Движение руки... Загадка странного рефрена...
На синем черное и киноварь на серебре...

Уж двадцать лет тому, как я, под тихим небом стоя,
Пытался уловить бессильной сетью слабых слов
Хмельную птицу, что летела над рекою
И пела жизнь, и смерть, и что-нибудь такое –
Все, что вместиться может в слово краткое «любовь».

ТРИУМВИРАТ



Сергей НИКОЛАЕВ

История одной любви

Я расскажу вам историю, историю одной любви. Любви, которая вызвала бурю чувств и эмоций. Любви, которая привела одного из двоих на край, и только огромная сила воли заставила его остановиться на этом краю. И пусть любовь была неразделенной, безответной, я был счастлив и не жалею о прожитых днях.

Мы познакомились с Таней в автобусе. Как-то вот так, сразу. Автобус тронулся с места, а мы взглянули друг другу в глаза – и все, и больше ничего не надо. И хотя дорога была длинной, для меня в этот день она оказалась короткой.

Мы ехали и болтали обо всем, что приходило в голову: о погоде, работе, общих друзьях и знакомых. И только к середине пути вспомнили, что так и не знакомы друг с другом. Рассмеялись и решили познакомиться.

– Таня.

Я перевернул ее имя, и вышло янаТ. У меня была тогда такая привычка, оставшаяся с детства.

– Не звучит, – сказал я.

– Что не звучит? – не поняла она меня.

– Таня наоборот.

Она рассмеялась.

– Зато твое звучит благородно – ажореС.

Так мы и ехали: болтали и смеялись. Но вот показался вокзал. Автобус остановился, мы вышли.

– Когда встретимся? – задал я свой вопрос, чисто из вежливости.

– Сереж, а я ведь замужем.

– Ну это не страшно.

И я еще как-то пошутил на тему о неверных мужьях и женах.

Я шел домой, а на душе было светло, чисто и легко. Я не знал тогда, какое значение будет иметь для меня эта встреча.

Через неделю в автобусе, когда, измученный бессонными ночами и думами, сгорая от нетерпения, ехал к ней, я и написал это первое стихотворение из истории моей любви.

*Мне бы тебя обнять,
Закрыть от беды и забот,
Как девочку, на руки взять,
Баякать всю ночь напролет,*

*И сказки чуть слышно шептать,
И песнь колыбельную петь.
Пусть день твой уляжется спать,
Как старый, добрый медведь.
Чуть слышно, одним ветерком,
Коснусь я губами волос,
Пусть легкий, бархатный сон
Уносит тебя до звезд.*

всей своей огромной любви помочь тебе. Ты сама должна найти ответы на них. Каждый преодолевает свою гору сам. И эта гора – твоя. Я могу быть лишь тем далеким светом в заброшенной хижине, который согреет тебя и даст отдых и покой в конце долгого и трудного пути. Лети, моя ласточка, лети. И да будет с тобой на твоём пути Господь Бог. А я? Я буду ждать тебя днем и ночью всю оставшуюся жизнь. Ждать и надеяться, что наступит тот яркий, весенний, солнечный день, когда ты прилетишь и скажешь: «Я вернулась к тебе, чтобы остаться с тобой навсегда».

Работа загнала меня в тамбуры вагонов и шум вокзалов. Я менял города и обгонял время, измеряя его часами прибытия и убытия. Но где бы я ни был, везде видел ее. Всегда она стояла рядом. Слышал ее голос, видел ее глаза, и эта фраза «При следующей встрече я дам ответ» как опухоль разрасталась в моем мозгу. Она согласится. Она не может не согласиться. Я же люблю ее. И я писал, писал, сидя на вокзале и в купе поезда, гостинице и метро. Я писал историю своей любви в стихах и прозе.

*Ты придешь, когда пройдут тревоги,
Пролетят растоптанные дни.
Встанешь молча на моем пороге,
Прошрое оставив позади.*

*Я навстречу выйду из бессонниц,
Из кошмаров одиноких дней.
Позабуду всех своих поклонниц,
Пусть исчезнут в круговерти дней.*

*Прошрое, как пыль, стряхнем у входа –
Чьи-то губы, слезы и слова,
Как гудок прощальный парохода,
Уплывает прочь пусть навсегда.*

*Ты придешь, когда иссякнут силы,
Ручейком, впитавшимся в песок.
«Господи, – скажу, – как трудно было,
Как сиротски был я одинок».*

*В паденье и на взлете,
В бреду и наяву
Лишь о тебе я помнил,
Тебя искал одну.*

*Лишь о тебе скучал я,
Тебя лишь звал во сне
И пьяный на изломе,
Я помнил о тебе.*

*И чтобы я ни делал,
Пусть грех или добро –
Твои глаза мадонны
Смотрели мне в лицо...*

*Вставала предо мною,
Как ангел из небес.
Твоею лишь рукою
Был отстранен злой бес.
В беде, в любви, в разлуке,
Чужой или своей,
Тебя лишь только видел
В расхристанности дней.*

*С тобою целовался,
Тебя лишь обнимал,
С тобою расставался
И лишь тебя встречал.*

*С тобой болел простудой
И в ЗАГС с тобой входил.
На пьяный выкрик «Горько!»
Тебя одну любил.*

*Другой в любви я клялся,
А думал о тебе.
С другою целовался,
Тебя прижав к себе.*

*Я так устал от жизни
Расколотой на две.
Прошу: приди, помилуй,
Соедини в себе.*

Но наконец-то кончилось это поездное безумие, это дорожное сиротство и одиночество в толпе. И вот наша встреча. Сейчас, сейчас она должна приехать. Я встречал ее. Светило яркое весеннее солнце, но в ее глазах я не увидел его отражения. Это было убийство...

- И ты сможешь вот так встать и уйти?
- Да. Смогу.
- Вот так просто встать и уйти?!
- Смогу.

Мой голос дрожал. Я был на грани срыва. А глаза, глаза смотрели на нее с такой болью, с таким отчаянием, что, казалось, стены комнаты не выдержат этой боли и рухнут...

Стены комнаты. Они много перевидали и услышали за эти полгода. Они были немыми свидетелями моего неловкого признания в любви. Ее робкого «не знаю». Моего единственного, неловкого поцелуя. Они старались согреть нас теплом, защитить от беды и холода, когда солнце скрывалось за тучами.

А она, она была все такая же холодная и недоступная, как и в первый день. Ни один нерв, ни одна клеточка ее тела не ощутила, не отозвалась на эту боль. Вся, вся – от кончиков ногтей до корней волос – она являла собой эталон, нет, не женского, не земного, а какого-то космического безразличия и бездушия.

В этот последний ее приезд даже солнце, увидев ее холодность, появилось лишь на миг и тут же скрылось, устыдившись, что бросило свой взгляд на ее лицо.

А она, она сидела, слушала, улыбалась дежурной улыбкой, словно отбывала вынужденное наказание, и поэтому смирилась с ним. Просто пережидала, как дождь в подъезде случайно подвернувшегося дома, не испытывая при этом ни грамма благодарности к этому дому.

Минута молчания, как на похоронах, тянулась бесконечно долго. И как на похоронах, ей хотелось поскорее закончить это неизбежное дело, а затем встать и уйти, покинув это унылое место.

А я, я не мог понять одного: как, как она может оставаться безразличной, когда, казалось, для меня весь мир утонул в слезах? Когда, казалось, я оглох от боли, и все вокруг стало приобретать розовый оттенок – оттенок цвета крови.

– Подожди. Хоть секунду, миг, молю, еще мгновенье подари мне.

Но она стала собираться – молча и уверенно.

От боли, от адской боли заломило виски. Я не верил, не хотел верить, что она не чувствует этого. Я ждал до последней минуты, секунды ждал. Нет, не ответного признания, я знал – это невозможно, я ждал, что она повернется ко мне, подойдет, обнимет и как-то облегчит, снимет с меня эту боль. Возьмет часть ее на свои плечи. Не оставит меня один на один с ней. Ждал, верил – не может, не может она уйти вот так, просто встать и уйти.

Я же люблю ее! И она это знает. Я не требую от нее ничего. Но жалости, обыкновенной человеческой жалости – сейчас, в эту минуту, я достоин.

– Ладно, я пошла.

И она быстро, словно боясь, что я ее задержу, вышла из комнаты.

Ее не стало. Она ушла навсегда, а на душе у меня, где-то там внутри, осталось чувство, что по ней прошлись грязными ногами, забыв убрать за собой.

*Все прошло, как белые метели,
Как гроза беспутною весной.
Отшумели листья, облетели,
И пахнуло раннею зимой.*

*Ты ушла – нетронутой губами,
Не дослушав и не долюбив.
Мокнет день, обманутый словами,
Лишь на миг мне юность возвратив.*

*Ты ушла – решеньем, словно камнем,
Стекла вдребезги и рамы вон.
Все пройдет, и мы в пустыню канем,
Вечность разделив с тобой вдвоем.*

*Поворот головки сердцу милой,
Локоны, струящиеся с плеч, –
С каждым днем туманнее картина
Одиноких, запоздалых встреч.*

*И мелькнут за далью и годами
Наши лица скорбные в ночи.
И горит в разбитой вами раме
Лишь огарок тоненькой свечи.*

Я был на грани срыва. Жизнь потеряла для меня смысл и цвет. Все приобрело серый, пепельный оттенок. И тогда в голову в одну из бессонных ночей закралась мысль – свести счеты с жизнью. Все было бесполезно и все было ненужной мишурой, бегом на месте. Работа, дом, друзья. И перо вывело на листе бумаги – УГОЛ.

*Угол –
жизнь загнала в угол.
Нет просвета,
не видать ни зги.
Тонкая нить вибрирует пулей –
Ж Д И!*

*Хочешь –
сейчас исчезнет мир для тебя.
Хочешь –
уйдешь в безвременье, в никуда.
Хочешь –
застывшую память
прикончишь, скорбя.
Хочешь –
любимую вычеркнешь
навсегда.*

*А мир, ты знаешь, –
все-таки так хорош.
А жизнь, ты знаешь, –
ее никогда не поймешь.
А друг, ты знаешь, –
он с тобой до конца.
А она, ты знаешь, –
не забудет лица.
А солнце, ты знаешь, –
будет ярко светить.
А птицы, ты знаешь, –
будут крыльями бить.
Другому, ты знаешь, –
будут клясться в любви.
А ТЫ?
А ТЫ?!*

*Назад не вернешься,
сквозь время закрыта дверь.
Руки не подашь ей,
упрешься в стену потерь.
Себя не зажжешь ты,
другу чтоб было светло.*

*Себя не взорвешь ты,
любимой чтоб было тепло.*

*Родные руки
тебя вдаль с собой не возьмут,
Родные губы
к вершинам не позовут.
Глаза родные
тебе не подарят любовь.
А слово ЛЮБИМЫЙ –
глухой –
не услышишь ты вновь.*

*Замри на время,
себя для нее сбереги.
Тяни мгновенья,
сквозь зубы скрипи и тяни.
Тончайшая нить
звонит, как тугая струна.
Держись, как можешь,
держись, старина.*

*Пусть жизнь –
это праздник
не для тебя.
Пусть жизнь –
это счастье
не для тебя.*

*А горе –
вот это
только тебе.*

*А слезы –
вот это
только в себе.*

*Годы –
вот это
твои рубежи.*

*Невзгоды –
вот это
твои мятежи.*

*Хоть знаешь –
улыбка не для тебя.*

*А слово
ЛЮБИМЫЙ
убило себя.*

Я нашел в себе силы больше не встречаться с ней. Но порой поздними одинокими вечерами мои мысли и думы складываются в строчки, которые горят на листе бумаги угольками выжженной души...

Владимир МИТЮК

Ворона и Лисицын

Так случилось, что Лисицын остался один в старой двухкомнатной квартире. В старом же трехэтажном доме, который тоже был старше него. Квартира давно не ремонтировалась, но Лисицын этого не замечал. Он привык к скрипу половиц под ногами, к свисту ветра в окнах, к тому, что иногда нужно выходить из дома за продуктами и в Сберкассах оплатить счета.

Целыми днями он просиживал перед телевизором или смотрел в окно. А там – зеленый двор летом, снежный – зимой, покрытый разноцветными листьями осенью. Деревьев во дворе было много, они охраняли его дом с трех сторон. Напротив – такой же дом, но четырехэтажный. Ближе к нему, под деревьями, стоял столик со скамейками. Некогда Лисицын сживал за ним с бутылочкой пива. Не с собутельниками, а такими же пенсионерами, забывающими от скуки козла.

Прошло время, естественная убыль – кто уехал в более престижный район, кто-то переселился к детям, а кто-то – в лучший мир. Лисицын смотрел в окно, и его обуревала тоска.

В один прекрасный день, когда солнце согревало уставшую за зиму землю и только что выросшую зеленую травку, раскрашенную одуванчиками и первоцветами, Лисицын оделся потеплее и вышел во двор. Медленно подходил к скамейке, опираясь на палочку. С каждым шагом сердце билось все отчаяннее, в памяти проступали воспоминания.

Сел на скамейку и заплакал. Остался один... Над головой каркали бездушные вороны, не замечавшие произошедших изменений. По земле лениво топали голуби, подбирая крупу, рассыпанную сердобольными старушками. Меж ними сновали шустрые воробьи, желающие ухватить свою долю.

Но жизнь продолжалась, и с этим ничего нельзя было поделать. На следующий день он заранее приготовил термос с чаем, бутерброды. Завернул в газету – местные ведомости ему доставляли регулярно, вышел во двор сел на скамейку. Тепло, солнце не обошло своим вниманием и сидевшего в тени Лисицына.

Он разложил бутерброды, налил чай в крышечку. Сделал глоток, второй. В чае – малина, черника. Летом Лисицын выбирался в лес, собирал грибы и ягоды, просто гулял по лесу. Спешить было некуда, и это давало ему силы. Он медленно старел, но хвори его миновали.

Откусил бутерброд. Сыр свежий, вкусный. Положил на место. Некуда спешить, и это самое страшное. Но не сидеть же перед телевизором в такую погоду! Он задумался и не заметил, как к нему на стол прилетела ворона и пристроилась на самом краешке.

Она тихо сидела и внимательно смотрела на Лисицына. «Странно, – подумал он, – ворона не пыталась украсть бутерброд – они же всегда хватают все, что плохо лежит. Или хорошо, но не под присмотром».

Эта же не пыталась ничего стащить, а только сидела и смотрела. «Да, у них же хорошая память, может, она и меня помнит?» – подумал Лисицын. А ворона переводила взгляд то на сыр, то на Лисицына. «А, сыру хочешь?» Он отломил кусочек и положил прямо перед вороной. Но та

только сказала: «Кар» и не притронулась к угощению. Лисицын покачал головой: «Уж ты, какая гордая!» Он немного подумал, взял кусочек, положил на ладонь и протянул вороне. Та, сделав шажок, аккуратно взяла сыр в клюв и полетела. «Наверное, деток кормить», – догадался старик, покачал головой и углубился в воспоминания.

На следующий день он нарезал несколько кусочков сыра специально для вороны, взял бутылочку с водой и старую пиалу.

И все повторилось. Только на этот раз, унеся сыр и выпив воды, ворона спустилась, сделала «круг почета» и снова прокаркала.

А Лисицын вновь обрел смысл жизни.

Так повторялось изо дня в день. Он уже ждал, когда прилетит его новый друг. Меж тем Лисицын слабел – возраст давал себя знать или притаившаяся хворь. Иногда ему было трудно даже встать с постели. Однако находил в себе силы сходить в магазин, купить неизменный сыр и хлеб. И ждал с нетерпением часа, когда вновь сядет за столик, разложит нехитрую снедь и предастся воспоминаниям. Привыкшая ворона прилетала каждый день в одно и то же время.

Иногда он что-то рассказывал вороне, та с пониманием качала головой, и ему казалось, что он возвращается в то время, когда напротив него сидели соседи, щелкали кости домино или стучали по шахматным часам. Но видения рассеивались, и он снова оставался в одиночестве. Допивал чай и медленно-медленно поднимался на свой второй этаж.

И однажды не вышел во двор. Ворона прилетела, прокаркала. Ходила по столику и смотрела вокруг. Но Лисицына не было.

Через несколько дней в яркий солнечный день к старому дому подъехала черная карета, два крепких санитара вынесли из открытых дверей упакованное в черный мешок тело.

Ворона, будто что-то почувствовав, полетела следом и сопровождала машину, пока та не остановилась возле приземистого мрачного здания, а черный мешок переместила за стальную дверь. Ворона же взлетела на дерево и стала наблюдать.

Удивительно, но проститься с Лисицыным пришло много народу: и живущие в городе племянники с детьми, и соседи, еще какие-то родственники. Немногие из тех, с кем он сидел за деревянным столиком...

Бросили горсти земли. Утерли слезы. И оставили на столике угощение – рюмку водки, хлеб и сыр. И никто не обратил внимания на кружащуюся над свежей могилой ворону...

Через несколько дней кладбищенские работники, пришедшие поправить могилу и вырыть новую, заметили лежащую на земле дохлую ворону. «Давай похороним и ее. Негоже оставлять неприбранной, все же живое существо было»... Лопата, земля.

И будто не было ни вороны, ни Лисицына. Только одна табличка в изголовье.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

Январь

В большом зале Курганской универсальной научной библиотеки имени А.К.Югова прошла презентация сразу двух литературно-художественных альманахов соседних областей: курганского «Тобол» и тюменского «Врата Сибири». В этом году издания опубликовали подборки стихов и прозу писателей-соседей.

В Кургане состоялась встреча тюменских писателей Леонида Иванова и Александра Новопашина с Митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом.

В ходе продолжительной деловой беседы с участием руководителя Курганского отделения Союза писателей России Сергея Кокорина состоялся разговор о сотрудничестве литераторов двух соседних областей и митрополии.

Во время встречи с митрополитом Даниилом тюменские писатели передали Курганской и Белозерской митрополии небольшую библиотечку произведений тюменских авторов и договорились о посильном сотрудничестве в деле восстановления сгоревшего в пожаре Чимеевского храма, который многие годы был местом паломничества большого числа православных из Тюмени.

В Международный День студента в Тюмени состоялось первое занятие в Литературном лицее.

Литературный лицей – это культурно-просветительский проект, позволяющий юным литературным дарованиям систематически повышать уровень мастерства, помочь в дальнейшем с выбором профессии, как это делают воспитанники детской студии «Вершок» под руководством члена Союза писателей России Антонины Марковой. Она является координатором литературного лицея и сможет использовать в его работе свой двадцатилетний опыт руководства детской поэтической студией, из стен которой уже вышло несколько членов Союза писателей России.

Занятия с лицеистами будут вести видные тюменские писатели – настоящие мастера слова, литературные критики и признанные педагоги.

Февраль

Первая виртуальная Международная конференция писателей и ученых Тюмени, Кургана и Казахстана с большим успехом прошла в онлайн режиме.

Благодаря возможностям Тюменского филиала Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова и Северо-Казахстанской областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова писатели и ученые соседствующих территорий смогли провести научно-практическую конференцию в режиме реального времени и обсудить тему «Деревенская проза: продолжение следует?».

Апрель

Не смотря на самоизоляцию, тюменские писатели продолжают встречаться с читателями, встречи эти организованы в интернете в режиме реального времени.

Этот совместный проект Ишимской городской библиотечной системы и Тюменского регионального отделения Союза писателей России обсуждался еще в конце прошлого года, а карантинные мероприятия просто ускорили его претворение в жизнь.

Июнь

В виртуальном режиме прошло очередное общее собрание членов Тюменского регионального отделения СПР. Главным вопросом повестки дня стал прием в члены Союза писателей Владимира Герасимова. Большинство голосов Владимир был принят с творческой Союз.

Июль

Тюменские писатели обсудили на общем собрании интервью Председателя Правления СПР Николая Иванова о создании Ассоциации писателей России.

Собрание это, так же, как несколько предыдущих, из-за ограничений по коронавирусу, прошло в виртуальном режиме. Сначала члены Союза детально изучили текст интервью, а затем высказали свои соображения о создании Ассоциации.

Август

В Тюмени наградили победителей литературного конкурса «Гришинские проталины».

Этот конкурс литературного творчества детей до 18 лет при поддержке Тюменского регионального отделения Союза писателей России проходил уже в восьмой раз и не смотря на проблемы с ограничительными из-за коронавируса мерами собрал без малого сотню участников.

Октябрь

На 1-м интернет-телевидении АНО «Тюменская область сегодня» состоялась премьера нового писательского проекта.

«Уроки родиноведения с Анатолием Омельчуком» - так называется новая передача Первого интернет-телевидения на сайте главной газеты региона «Тюменская область сегодня». Выходит она будет два раза в месяц в прямом эфире, чтобы зрители могли задавать свои вопросы по обсуждаемой теме, и адресована людям самого разного возраста, всем, кому интересна история родного края.

Ноябрь

В Тобольске прошла очередная 21-я конференция ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья. Она была приурочена к 400-летию Тобольской и Тюменской Митрополии и обсудила вопрос: «Православие и современная русская литература». На форуме очередным победителям литературной премии им. Мамина-Сибиряка были вручены медали и дипломы. В числе победителей был назван тоболяк Юрий Надточий (посмертно).

В Тобольске состоялось награждение победителей 1-го филофеевского литературного конкурса, учрежденного Тобольско-Тюменской митрополией, Правительством Тюменской области, АО «Транснефть – Сибирь» и региональным отделением Союза писателей России. 1 место жюри присудило Дмитрию Мизгулину (Санкт-Петербург), поощрительные премии достались Сергею Козлову (Тюмень) и Виктору Бакину (Киров). Им вручены медали Филофея Лещинского и дипломы.

Коротко об авторах

АКСЕНОВ Николай Алексеевич. Родился 18 декабря 1938 года в селе Митино Кетовского района в крестьянской семье. Автор сборника рассказов «Доброта», сборников стихов «Гармония души», «Колокола времен» и других. Печатался в журнале «Урал», альманахе «Тобол». Работал разнорабочим в колхозе, учителем в школе, слесарем, заведующим мастерской, заведующим сельским клубом. Лауреат литературной премии губернатора Курганской области. Почетный гражданин Кетовского района. В Союз писателей России принят в 2005 году. Живет в Кургане.

АНАШКИН Эдуард Константинович. Член Союза писателей России, прозаик и эссеист, литературный критик. Родился в 1946 году в Читинской области. Автор книг «Вовкин поцелуй», «Запрягу судьбу я в санки», «Ангел с огненным мечом», «Попавшие в переплет», «Под крылом Пегаса», вышедших в Самаре и Москве. Лауреат Самарской региональной премии им. Гарина-Михайловского. Лауреат Всероссийской премии «Имперская культура». Живет в Самарской области.

БЕЛКИН Сергей Васильевич. Окончил Литературный институт им. Горького. Работал журналистом, редактором Уватской районной газеты, затем долгое время – заместителем директора департамента информационной политики Тюменской области. В настоящее время – на пенсии. Член Союза журналистов РФ. Живет в Тюмени.

БОНДАРЕВ Евгений. Учится в общеобразовательной школе, активно занимается краеведением и литературным творчеством. Неоднократно становился победителем всероссийских и областных конкурсов. Живет в Тюмени.

БРОЗИНСКИЙ Владимир Леонидович. Родился в 1968 году в г. Оренбурге. После службы в армии (1986–1988) выбрал профессию художника-оформителя, с этим родом занятий так или иначе связана вся последующая жизнь. Начал писать стихи с 1999–2000 годов, с 2004 по 2011 год участвовал в работе литературной студии КГУ под руководством В.Ф. Потанина. В те же годы начал публиковаться в курганских литературных изданиях – «Тобол», «Огни Зауралья», «Сибирский край» и других. Издал две книги стихов – «Белые улицы» (2011) и «Средостение» (2013). В 2014 году принят в Союз писателей России. С 1982-го живет в г. Кургане.

ВИНОГРАДОВ Александр Михайлович. Родился 12 сентября 1936 года в Челябинске. С детства жизнь связана с Зауральем, а судьба с Шадринском. Жизненный путь от слесаря-ремонтника завода «Полиграфмаш» до доцента кафедры литературы Шадринского пединститута. Член Союза писателей СССР и России. Автор тринадцати книг стихов, восемь из которых состоят только из новых произведений. Дважды лауреат премии губернатора Курганской области, награжден Почетной грамотой областной Думы, почетный гражданин г. Шадринска.

ВОИНКОВ Виктор Павлович. Родился в 1981 году в г. Макушино. В 2003 году окончил Курганскую ГСХА им. Т.С. Мальцева по специальности «инженер-механик». Остался преподавать в вузе. Кандидат технических наук, доцент. С 2005 года трижды избирается депутатом Лесниковской сельской Думы. С юности занимается поэтическим творчеством. Автор двух сборников – «Сердце» и «Чистый лист».

ЗАХАРОВ Аркадий Петрович. Неоднократно публиковался в альманахе «Врата Сибири», автор нескольких книг по краеведению, в том числе

выпущенных в известных столичных издательствах. Член Всесоюзного Пушкинского общества, член Союза писателей России. Живет в Тюмени.

КЛИМКИН Николай Петрович. Уроженец Рязанской области. Член Союза писателей России, директор Курганского регионального отделения общественной организации «Литературное сообщество писателей России». Один из учредителей журнала «Сибирский край». Автор трех поэтических сборников и многочисленных публикаций в альманахе «Тобол», журнале «Сибирский край», а также лауреат и победитель ряда литературных конкурсов.

КВАШНИН Владимир Александрович. Окончил Тюменский госуниверситет, работал охотоведом службы Госохотнадзора ХМАО-Югры Тюменской области. Проживает в пос. Саранпауль ХМАО-Югры. В июне 2014 года стал победителем пятого Международного конкурса «Север – страна без границ» в номинации «Художественное слово» и победителем первой Международной литературной премии имени Игоря Царева. Автор сборников стихов «От сердца к сердцу» и «Синегорье» (2019), книги стихов и рассказов «Коготь Манараги» (2019).

КОКОРИН Сергей Аркадьевич. Родился в 1955 году в п. Мишкино Курганской области. В 1972 году окончил Куртамышскую среднюю школу, в 1978-м – Курганский машиностроительный институт, в 2000-м – Академию государственной службы, в 2005-м – аспирантуру КГУ. Работал на флоте, на заводе, в строительстве, органах муниципальной службы. Имеет научные работы по гражданскому воспитанию школьников. Автор двух сборников стихов и трех сборников прозы. Член Союза писателей России. С февраля 2019 года руководитель Курганской областной писательской организации.

КОНДАУРОВ Анатолий Алексеевич. Родился в начале войны в с. Чистоозерное Новосибирской области. Жил в Новосибирске, Средней Азии, Красноярском крае. Работал и учился. По профессии – юрист. Служил в органах внутренних дел: в уголовном розыске, начальником Пуровского и Тобольского ОВД Тюменской области. Затем – адвокатура, 17 лет был штатным охотником-промысловиком, живя в глухой тайге. Печатался в газетах, журналах «Охота и охотхозяйство», «Уральский следопыт», «Врата Сибири». Автор нескольких книг прозы, сборников стихов, трех персональных фотовыставок. Живет в Тобольске.

ЛУЧКИНА Наталья. Родилась в Ялуторовске в 1979 году. Окончила Тюменский государственный университет по специальности «Организационная психология». Работала на Севере, в Екатеринбурге и уже 8 лет живет в Подмосковье. Деятельность связана с темой стрессов и острых стрессовых реакций, сложным поведением подростков, депрессией. Психолог-консультант, автор региональных образовательных программ для школьных психологов. Публикуется в основном в сетевых изданиях.

МИЛОВАНОВА Ольга Эдуардовна. Родилась в 1969 году в небольшом промышленном городе Асбесте Свердловской области. Получила высшее музыкальное образование в Уральской государственной консерватории и 30 лет преподавала в системе дополнительного образования. Последние 10 лет живет и работает в городе Ханты-Мансийске, преподает в центре искусств для одаренных детей Севера. В 2019 году выпустила первую книгу «Бед нет». В 2020 году вышел сборник пьес для взрослого и детского театра «Добрые дела».

МИТЮК Владимир Владимирович. Родился 2 мая 1950 года в г. Липецке. Прозаик, поэт, редактор. В 1972 году окончил факультет прикладной математики и процессов управления ЛГУ. Специалист в области автоматизации сложных систем. Имеет более 50 научных трудов и изобретений, работает в различных жанрах – литература для детей, любовные и остросюжетные романы, рассказы и очерки, детективы и фантастика. Публиковался во многих журналах, основатель и редактор альманаха «Двойной тариф». С 2019 года – главный редактор сборника «ПроФан», а также один из редакторов альманаха «Невская перспектива».

МИЩЕНКО Александр Петрович. Окончил Саратовский геолого-разведочный техникум и заочно факультет журналистики Московского государственного университета в 1968 году. Работал топографом в Средней Азии, на Севере Тюменской области, помощником бурового мастера на Самотлоре. Литературным творчеством занимается с начала 1960-х годов. Известен как автор 50 книг документальной прозы. Член Союза писателей СССР с 1990 года. Действительный член (академик) Академии российской литературы (2018). Живет в Тюмени.

МУРЗИН Валерий Николаевич. Боевой офицер-пограничник в запасе. Занимается общественной деятельностью, военно-патриотическим воспитанием молодого поколения. Автор книг о пограничниках. Живет в Тюмени.

НИКОЛАЕВ Сергей Шамильевич. Родился в 1955 году в поселке Штеровской государственной районной электростанции имени Феликса Дзержинского (Ворошиловградской) Луганской области на Украине. Работал помощником мастера ткацкого производства, затем в учреждениях культуры и образования своего города. Писать стихи начал в седьмом классе. Живет в деревне Акульцево Ивановской области.

ПАНКОВА Анна Евтихьевна. Много лет работала журналистом, в том числе – в редакции газеты «Тюменская область сегодня». В настоящее время живет в Исетском районе, занимается общественной работой, пишет прозу духовно-нравственного содержания.

ПОТАНИН Виктор Федорович. Родился в 1937 году в семье учителей в селе Утятском Курганской области. В 1958 году окончил историко-филологический факультет Курганского педагогического института. С 1958 по 1967 год работал литературным сотрудником, ответственным секретарем в областной газете «Молодой ленинец». Член Союза журналистов СССР. Литературный институт имени А.М. Горького при Союзе писателей СССР окончил в 1967 году. В 1963-м вышел его первый сборник рассказов «Журавли прилетели». В 1966-м принят в Союз писателей СССР. Член правления Союза писателей России, член приемной коллегии Союза писателей России, член высшего творческого и координационного советов Союза писателей России. Почетный гражданин Курганской области. Награжден орденами и медалями. Живет в Кургане.

РАДАЕВА Светлана Андреевна. Окончила Ишимский пединститут им. П.П. Ершова, занимается литературным творчеством для детей, автор нескольких книг сказок. Была победителем областного конкурса молодых авторов, участником семинара молодых писателей в Каменске-Уральском, стала дипломантом Международного конкурса творчества для детей и подростков им. П.П. Ершова. Живет в Ишиме.

СЕЗЕВА Наталья Ивановна. Доктор искусствоведения, член Союза художников РФ, председатель Тюменского отделения ассоциации искус-

ствоведов РФ, была зав. отделом «Художественная культура и искусство края» Тюменского музея изобразительных искусств ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова». В настоящее время работает в Тюменской централизованной городской библиотечной системе. Живет в Тюмени.

СОЛОДОВА Татьяна Ильинична. По окончании Тобольского педагогического института работала преподавателем, активно занималась краеведением и родословием. Автор более двадцати книг в серии «Жизнь замечательных людей Тобольска». Награждена медалями Всероссийского родословческого общества, медалями «Акинфий Демидов» и «Николай Рубцов». Живет в Тобольске.

СОФРОНОВ Вячеслав Юрьевич. Коренной сибиряк, сын репрессированных и правнук ссыльных, обосновавшихся несколько веков назад в Тобольске. Возможно, потому его проза посвящена в основном историческому прошлому страны Сибири, «где так вольно дышит человек». По первому образованию – преподаватель физики, но со временем переквалифицировался, много лет снимал документальные фильмы, писал сценарии, а став доктором исторических наук, больше двадцати лет преподает в Тобольском педагогическом институте имени Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ). Член Российского родословного и геральдического обществ, член Союза писателей России. Живет в Тобольске.

ТРЕТЬЯКОВ Владимир Николаевич. Родился 12 апреля 1950 года в с. Кутырлы Тюкалинского района Омской области. Окончил Уральский государственный университет и Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ. После училища работал рулевым-мотористом, помощником капитана, штурманом, журналистом. Работал заместителем председателя Тюменской областной Думы, заместителем губернатора. В настоящее время на пенсии. Член Союза журналистов. Живет в Тюмени.

ФЕДОСЕЕНКОВ Михаил Алексеевич. Родился в 1957 году в Кемерово, окончил Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, служил в армии. Работал инженером, литконсультантом, художником. Автор более десятка книг стихов. Прозу публикует с 2010 года. Член Союза писателей России. Живет и работает в Тюмени.

ФИЛИМОНОВ Владимир Иванович. Уроженец поселка Мишкино Курганской области. Автор нескольких сборников стихов. Член Союза писателей России. С 30 мая 2008 года по 5 января 2019 года руководил Курганской областной писательской организацией. Редактор альманаха «Тобол». Живет в Кургане.

ШАЙХУЛОВ Рамазан Нурисламович. Родился 14 декабря 1961 года в деревне Худайбердино Белорецкого района БАССР. В 1984 году, получив квалификацию художника-педагога на художественно-графическом факультете Аркалыкского педагогического института им. И. Алтынсарина Казахской ССР, стал работать преподавателем кафедры рисунка на родном факультете. Занимал должность заведующего кафедрой живописи, декана факультета. С 2001 года проживает в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Преподает в Нижневартовском государственном университете. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства, член Союза дизайнеров России.

ЯГАН Иван Павлович. Родился 30 сентября 1934 года в деревне Байдановке Таврического района Омской области в крестьянской семье.

Трудовую деятельность начал мальчишкой в годы войны. С 1948 года жил в Омске, работал землекопом, кочегаром, каталем на пилораме, рабочим консервного завода, матросом на речном теплоходе. Стихи стал писать с 13–14 лет. В Кургане с 1974 года. Более 30 лет руководил областной писательской организацией. В Москве, Омске, Новосибирске, Свердловске, Челябинске вышло больше 20 книг. Лауреат премии Союза журналистов СССР (1968), журнала «Аврора», премии губернатора Курганской области, городской премии «Признание». Заслуженный работник культуры РСФСР.

ЯКИМОВА Ксения. Окончила МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, неоднократный победитель литературного конкурса «Гришинские проталины», становилась победителем Всероссийских литературных конкурсов. Живет в Тюмени.

ВРАТА СИБИРИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

На вклейках: работы художника Юрия Юдина

На обложке:

картина «Мальчик и змей. Из детства», 1982 г.

Художник: Юрий Юдин

Альманах зарегистрирован
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01429 от 10 февраля 2017 г.

Журнал издается при финансовой поддержке правительства Тюменской области.
Выходит два раза в год. Издается с 1999 года.

Адрес редакции:

625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81

тел./факс: (3452) 49-00-18

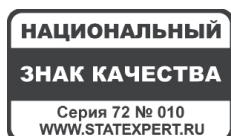
e-mail: ivanovlk@yandex.ru

Учредитель и издатель: АНО «Тюменская область сегодня».

625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81, 4 этаж, оф. 410

Директор-главный редактор Шестаков Сергей Александрович

тел. (3452) 49-00-18, e-mail: editor@tumentoday.ru



Подписано в печать 15.11.2020 г.

Дата выхода номера в свет 15.12.2020 г.

Формат 70x108¹/₁₆. Бумага ВХИ.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,85.

Тираж 2 000 экз. Заказ № 2896. Цена свободная.

Журнал отпечатан в типографии АО «Тюменский издательский дом».

625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.

Верстка номера: Павлова Александра Павловна.

Корректоры: Рыжкова Елена Александровна, Ишимцева Оксана Ивановна.

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. По желанию автора рукопись может быть возвращена, если ее объем не менее: проза – 10 а. л., поэзия – 5 а. л., публицистика – 3 а. л. Вместе с текстом просим присылать краткую биографическую справку, данные паспорта, ИНН и номер страхового свидетельства.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Перепечатка материалов и их распространение, в том числе в электронной версии, допускаются только с разрешения редакции. Ссылка на «Врата Сибири» обязательна.

